

## Марина Дяченко Сергей Дяченко Дикая энергия. Лана

Сканирование, распознавание, вычитка — Глюк Файнридера

### Аннотация

*Здесь люди работают пикселями. Энергию жизни получают по проводам. Существа с огромным ртом подстерегают самоубийц. На вершинах покинутых небоскребов вьют гнезда бунтари, глубоко в заброшенном метро живут люди-кроты, и каждый день вагончик канатной дороги отправляется на Завод — легендарное место, где, как говорят, все счастливы...*

*«Дикая энергия» читается на одном дыхании и обращена в первую очередь к юному поколению. Вместе с тем это роман-метафора, который будет интересен читателям любого возраста.*

*На международном конгрессе фантастов «Еврокон-2005» (Глазго, Шотландия) Марина и Сергей Дяченко признаны лучшими фантастами Европы.*

*Известная певица Руслана, победитель «Евровидения», создает новый стиль-проект в жанре фэнтези по мотивам этого романа.*

*Посвящается Руслане, которая стала Ланой.*

**М. и С. Дяченко**

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Я работаю пикселем.

Каждый день за час до заката прохожу через большую проходную у подножия единственного в городе холма. Прикладываю к сенсору удостоверение личности. В потоке других работников шагаю к раздевалкам. Номер моей ячейки — 401/512, он же — номер моего рабочего места в самом центре экрана. Я — хороший, квалифицированный пиксель.

В шкафчике хранится моя роба, подогнанная точно по росту — до пяток. Я надеваю робу поверх плотного черного трико. Застегиваю сзади липучку. Застежка на робе должна лежать точно на четвертом позвонке. Миллиметр влево или вправо — свет упадет под другим углом, и вот уже брак в работе. За это штрафуют.

Одевшись, беру с полки наушники и черные очки. Босиком выхожу из раздевалки и вслед за другими пикселями поднимаюсь вверх по лестнице. Идти очень долго, но я привыкла. Отсюда, с лестницы, отлично виден город.

Я иду, подобрав край робы и стараясь не наступать на чужие подола. Город остается внизу, темный, ошетилившийся башнями. В это время дня люди обычно выходят на улицы — смотреть энергетическое шоу. А кто живет в невысоких домах — те, бывает, укладываются на плоские крыши, чтобы удобнее было смотреть в небо.

Я иду, пока не добираюсь до отметки «401», и тогда сворачиваю налево. Пробираюсь по узкому проходу, по дороге здороваюсь с другими пикселями. У Евы пятьсот тринадцатое место, у меня — пятьсот двенадцатое. Она говорит, что я счастливая, потому мне достался счастливый номер. С удовольствием бы с ней поменялась, но это строго запрещено правилами. За это могут оштрафовать так, что навеки ноги протянешь.

Ева всегда приходит раньше меня. Когда я добираюсь до места, она уже сидит, скрестив ноги, на своей платформе и хрустит чипсами. Я усаживаюсь рядом, и она меня угощает. Всегда угощает, пусть даже у нее останется последний ломтик.

Холм справа и слева от нас — плоская площадка на склоне холма — полностью заполняется людьми и гудит, как улей. До заката остается минут пятнадцать. Край неба на юго-западе все ярче. У нас над головами — низкие, плотные, серебристые тучи.

В наушниках начинается отсчет: пятьдесят семь... пятьдесят шесть... Мы встаем, надеваем очки, проверяем застежку робы на четвертом позвонке и поворачиваемся лицами к юго-западу. Ветер покачивает тяжелые полы нашей рабочей одежды.

Платформа под босыми ступнями — гладкая и шершавая одновременно. Продолжается отсчет: пятнадцать, четырнадцать... пять, четыре, три, два, один... начали!

И приходит *ритм*.

Когда меня спрашивают о нашей работе, я не умею толком описать. Ритм может быть простой, тогда он означает просто «красный», «желтый», «синий» или «белый». В начале, на заставке, всегда простой ритм. Я развожу руки в стороны, и роба разворачивается во всю ширь. Спереди она красная, сзади белая. Если поднять правую руку, раскроется желтая складка, левую — синяя. Видите, все очень просто: я поворачиваюсь на своей платформе и меняю цвет. А если в наушниках вдруг наступает тишина, забрасываю полы на голову. С изнанки роба черная.

Проба на готовность прошла успешно. Мы опять стоим лицами к юго-западу, где все светлее край облаков. Весь экран сейчас залит красным, но его никто не видит, кроме дежурного администратора да нескольких технических сотрудников...

В эту секунду солнце, опускаясь все ниже, выкатывается наконец из-под облаков, зависает между слоем туч и горизонтом. Яркий свет заливает склон холма и людей-пикселей. Вот они, двадцать минут в день, когда мы видим солнце. Если бы не черные очки, я бы, наверное, ослепла.

И вот, как только солнце заливает холм, я тоже вижу наш экран. На небе! Ярко освещенный, он отражается в облаках, он виден отовсюду. На улицах от радости кричат и хлопают так громко, что даже здесь, на холме, слышен гул толпы.

И начинается!

В наушниках нарастает ритм. Теперь он становится сложным, это не просто чередование цветов, это последовательности, которые я помню, как буквы алфавита. Кра-си-че-бе! Кра-си-че-бе! Жел-кра-жел! Жел-кра-кра-жел! Полы робы летают, поднимая ветер. Почти не остается времени, чтобы смотреть вверх: я подпрыгиваю на платформе, сливаясь с ритмом, я *сама* — *ритм*. Там, наверху, появляются картинки, ползут по экрану слова: «Динамические мыши — сто тысяч километров пробега!», «Честная работа — дополнительный пакет!» и еще что-то, я не успеваю прочитать. Я и эти-то замечаю потому, что они часто повторяются...

Двадцать минут я выдаю и повторяю цветовые последовательности, и Ева рядом со мной, и все сотни тысяч пикселей на холме — одновременно. На экране — реклама, клоуны, бегущая строка сообщает новости, и каждые пять минут возникает огромная надпись: «Энергетическое шоу — для вас, горожане!»

Мне весело. Платформа нагревается под ступнями. Вокруг плещется разноцветная ткань. В какой-то момент летающая роба Евы вдруг исчезает из поля моего зрения, я удивленно поворачиваю голову — нет, все в порядке, Ева работает, мой синий и ее желтый дают на экране насыщенный зеленый цвет...

А потом экран снова заливает красным. Мы замираем, раскинув руки и повернувшись лицом к юго-западу, а солнце медленно тонет за горизонтом. Экран тускнеет... тускнеет... последней исчезает бегущая строка: она на самой вершине холма.

Смена закончилась. Ноги подкашиваются, я сажусь на платформу и стягиваю наушники. Рядом опускается Ева. Облизывает губы.

Нам некуда спешить. Первыми уходят те пиксели, которые поближе к краю.

— Я тебе завидую, — говорит Ева.

Мы идем с работы. Давно стемнело, постовой на перекрестке вертит педали динамо-машины, над головой его мерцает бледный фонарь. Выступают из темноты светоотражатели: вдоль края тротуаров, на углах домов, на вывесках общественных кафе.

У Евы светящаяся косметика, ее лицо плывет, как луна, в темноте рядом со мной. В глаза она капает «ночной взгляд», от него радужки светятся зеленовато-белым ярким светом. И потому отлично видно, что Ева очень устала и чего-то боится.

Я присаживаюсь на тротуар, Ева за мной. Моментально подкатывает автоматический уличный разносчик, сгружает два энерджи-дринка. Это питье только так называется — «энерджи», на самом деле энергии в нем — только та, что на вывеске.

Разносчик катит дальше: низкая тележка на трех пластиковых гусеницах, один подслеповатый сенсор и разъем для маршрутной карты. Пирамида картонных банок с питьем опасно кренится вправо. Пока я смотрю разносчику вслед, Ева открывает свой дринк и делает большой глоток.

— Что-то случилось? — спрашиваю я.

Она мотает головой.

Я знаю, Ева живет с трудом. Едва дотягивает до полуночи, и так каждые сутки. Сейчас десять сорок пять, самое скверное время для Евы, потому-то я сижу здесь на тротуаре и пью с ней дринк, вместо того чтобы идти домой.

— Ты никогда не думала уйти на Завод? — спрашивает Ева.

Питье встает поперек горла. Я захлебываюсь и кашляю. Постовой все вертит и вертит педали, динамо-машина превращает в свет его сопение, его пот, его скуку. Мерцает фонарь, мерцают отражатели на рукавах, на лицах, на волосах случайных прохожих.

Я восстанавливаю дыхание. От кого-кого, а от Евы подобной смелости не ожидала.

— Следи за языком, — советую. — Люди кругом.

Она втягивает голову в плечи.

— Ты все-таки веришь в Завод, — говорит шепотом, не спрашивая, а утверждая. — Ты веришь, что он есть, что это не сказка. И что его можно найти.

Дома первым делом взгромождаюсь на старый велосипед без колес, с тусклым монитором на руле. Верчу педали; экран загорается. Вхожу в сеть. Проверяю почту. Только одно письмо: от Игната. Зовет погулять сразу после энергетического часа. Ну, посмотрим.

Потом, затаив дыхание, вхожу в раздел «Отчеты и статистика». Набираю свой гражданский код. Все в порядке: есть пакет на сегодня и запаска на завтра. Живем.

Приближается энергетический час. Ветра нет, вертушка за окном едва поворачивает лопасти. Динамическая мышь, которую Ева подарила мне на день рождения, дрыхнет без задних ног. А в инструкции сказано, что динамо-мышь спят только два часа в сутки, а остальное время заряжают аккумулятор!

Не знаю, чем себя занять. Вот эти последние минуты перед подключением — они всегда так долго тянутся! Трясет, знобит, и во рту сухо, а у некоторых еще и голова кружится. И мысли дурацкие в эту голову лезут: зачем все? Зачем я? Как все надоело, пойти, что ли, броситься с крыши...

Застегиваю манжету на левой руке, выше локтя. Изнутри она покрыта крохотными иголочками, они впиваются в кожу, но это не больно. От манжеты тянется шлейф проводов, его я подключаю к разъему в стене. На городской башне начинают бить часы: раз... два... три... Мороз по коже продирает от этого боя, я закрываю глаза.

Двенадцать!

Манжета плотнее сжимает руку. От иголочек разливается тепло: к сердцу. К горлу. Перед глазами вспыхивают золотые искры, мерцают, танцуют: ах, как хорошо жить! Какое счастье, что мы живы!

Я пою в полный голос. Динамо-мышь просыпается, влезает в свое колесо и все быстрее перебирает лапами. Над клеткой загорается тусклая лампочка.

Энергетический час!

Мне не нужно света — я сама свечусь. От радости. Мне не нужно тепла — я сама кого хочешь согрею. Я умею петь, танцевать, рисовать... наверное. Я могу сочинять стихи и играть в баскетбол!

Улыбаясь, снимаю манжету. От нее на руке остается след: узор из красных точек. Он исчезнет через час или два. Сейчас, если присмотреться, он складывается в какие-то буквы... но мне не до того. Мне весело!

Как хорошо, что я есть. Как хорошо, что у меня есть работа. И не простая: за двадцать минут участия в шоу мне дают пакет на девяносто восемь энерго!

Скрипит дверь — я ее не запирала. Держась за стену, входит Ева. Ее лицо горит в полумраке под слоем светящейся пудры.

Едва взглянув на это лицо, я сразу прекращаю танцевать.

— Меня оштрафовали, — говорит Ева трясущимся голосом. — На полный пакет.

— Как?!

— У меня нет запаски, — говорит Ева чуть слышно и садится на пол.

— Как же это? — растерянно спрашивает Игнат. Он наш сосед. Живет с нами в одном блоке.

— Она сбилась сегодня на шоу, — объясняю я скучным голосом. — Ошиблась. Ее оштрафовали и не выдали энергопакет. А запаски у нее нет.

Ева лежит на койке и смотрит в потолок. Иногда вздрагивает, будто от озноба. Руки холодные, как... лед? Смерть?

— Игнат, — говорю я решительно. — Где можно в городе достать подзарядку?

— Нигде, — быстро отвечает он и отводит глаза. — Ты же знаешь... только в энергочас.

— Неправда. Помнишь, Толстый из тридцать девятого блока рассказывал...

— Ну и где теперь этот Толстый? — тихо спрашивает Игнат.

— Я могу отдать ей *свою* запаску...

— Да ты что! — поражается Игнат.

Я его не слушаю:

— ...могу отдать, но это будет завтра, понимаешь? Только завтра! В энергетический час! Если она не явится на работу, ее выгонят. Да что я говорю — она может просто не дотянуть!

Ева смотрит в потолок. Светящаяся пудра наполовину стерлась, и выглядит моя подруга просто жутко.

— Игнат, — говорю я. — Ей нужна эта подзарядка, просто чтобы выжить!

— За незаконные сделки с энергией лишают пакета на неделю, — шепотом говорит Игнат. — Это гарантированная... гадкая смерть.

Я смотрю на Еву. Глаза у нее ввалились, «ночной взгляд» освещает воспаленные веки и слипшиеся ресницы.

— Ты прости, — говорит Игнат. — Я в самом деле не знаю... где искать этих дилеров. Честное слово.

Энергетический час выводит всех на улицу. Люди смеются и обнимаются. Целуются, сидя на тротуарах. Пьют. Я иду — почти бегу — мимо.

Начинается ветер. Все быстрее вертятся лопасти ветряков на крышах. В окнах один за другим появляются огоньки. Ночной город становится ярче: сине-белым горит дорожная разметка. Светятся края тротуаров. Посверкивают отражатели на столбах. Я бегу, лавируя в мерцающей толпе.

Вход в подвал — как нора. Над норой тусклая вывеска: «Игры. Games». Сбегаю по крутым ступенькам. Внизу душно, пахнет куревым и потом.

Люди толпятся вокруг большого стола. Столешница, кажется, гудит под лапами беговых тараканов.

— Пошла! Седьмая пошла!

— Подрезает, это кикс!

— Не кикс!

Я верчу головой. Тот, кто мне нужен, сидит в углу — развалился в единственном кресле. Закинул ногу на подлокотник. На подошве тяжелого башмака фосфоресцирует картинка: лошадиный череп. Вокруг сидящего свободное пространство.

— Лысый!

Он приоткрывает правый глаз.

— Чего тебе?

Я беру себя за горло. Высовываю язык, будто задыхаясь. Лысый раскрывает оба глаза.

— Чего?

— Подзарядка, — говорю шепотом. — Сейчас. Срочно.

— Я за такое не берусь, — говорит он, подумав. — Грязные они ребята, эти дилеры.

— Я бы тоже не взялась. Но очень надо. К кому мне идти?

— Не знаю, — он равнодушно прикрывает глаза. — Не скажу.

Я выскакиваю снова на улицу. Беспомощно оглядываюсь. До рассвета Ева не дотянет. Смотрю на небо: который час?

Меня хлопают по плечу:

— Кого-то ищешь?

Оглядываюсь. Девчонка вроде бы знакомая, только не помню, как ее зовут. Волосы зеленые, стоят дыбом, как трава на газоне. В волосах проскакивают искры: не настоящие, конечно. Косметика.

Она смотрит на меня и улыбается:

— Нехорошо после энергочаса бегать с озабоченным видом. Что случилось?

Я уже открываю рот, чтобы объяснить ей. Еще секунда — и я скажу... Она все улыбается. И я вдруг понимаю, что говорить ни в коем случае нельзя. Она *донесет*.

— Ничего не случилось, — говорю вежливо. — Отвали!

Бегу через перекресток. Размышляю: она права. В толпе людей, которые только что получили свои пакеты, бегущий человек вроде меня бросается в глаза...

Спотыкаюсь об автомат с энерджи-дринком и чуть не падаю. Рассыпаются картонные банки. Свистит полицейский на перекрестке. Вот елки-палки!

Нырять в темную подворотню. Говорят, полицейским выдают премию за каждого оштрафованного нарушителя.

Есть в этой подворотне второй выход или нет?!

Есть. Выбегаю на торговую улицу. Прямо передо мной витрина, в ней плавают, фосфоресцируя, рыбы, каждая величиной с круглый стол. В воде струится синеватый холодный свет. Я, не долго думая, заскакиваю в магазин.

Продавец — парень моих приблизительно лет. Улыбается:

— Что, попала?

Сквозь витрину наблюдаю за подворотней. Полицейского нет. Поленился за мной бежать. А может, пожалел — все-таки у него тоже был энергетический час, ему хорошо и весело, как и всем.

Почти всем.

— Ты что, стянула что-то? Или морду бой-френду набила?

Чуть поворачиваю голову. Окидываю парня взглядом с головы до ног. Он перестает улыбаться:

— Но-но... ты чего такая... дикая?

Парень тощий и очень хитрый. Шрам на щеке. Черные глаза блестят, как у птицы.

— Мне нужна подзарядка, — говорю ни с того, ни с сего.

— Чего?!

— Что слышал. Мне нужна подзарядка, срочно. Ты знаешь, как найти?..

— Вали отсюда, — говорит он нервно.

Я поворачиваюсь и иду к двери. Светящиеся рыбы плят на меня огромные глазищи. Я берусь за дверную ручку...

— Подожди, — говорит парень.

— Ева! Ева, вставай скорее! Я нашла для тебя... — я невольно понижаю голос, — ...подзарядку! Пошли! Пошли!

Я трясу ее и уговариваю до тех пор, пока она не открывает глаза. Совершенно равнодушные. Ей уже *все равно*, жива она или нет.

— Ева, пожалуйста. Я знаю, куда идти. Вставай!

Игнат приносит из общей кухни воды в ковше — вообще-то водопровод работает только час в сутки и только до пятого этажа, но у нас, к счастью, четвертый. Холодная вода смывает с Евы остатки косметики и немножко приводит в чувство.

— Пойдем, — уговариваю я.

Она прерывисто, со всхлипом, вздыхает.

— Ты человек или тряпка? — говорю зло. — Ты собираешься сложить лапки и сдохнуть? Учти тогда, что я с тряпками не дружу, я о них ноги вытираю!

Она мигает. Закусывает губу. Кивает. Честно пытается встать. Я хватаю ее холодные руки и тяну, тяну, будто вытаскиваю из болота.

Она встает.

— Игнат, ты pomoжешь... ты идешь с нами?

Он смотрит на меня круглыми глазами. Целую минуту, наверное. Наконец мотает головой.

— Я не могу.

— Трус паршивый!

— Послушай, у меня мать есть и отец. Если меня привлекут за операции с энергией...

Больше я не трачу на него времени. Совсем. Ева выпивает банку газировки, потом я помогаю ей добраться до туалета. Помогаю спуститься по лестнице и выйти из дома. Ее рука лежит у меня на плече. А кому какое дело? Гуляем мы! Подруги — не разлей вода.

— Нам далеко идти? — спрашивает Ева шепотом.

— Не очень. Возьмем рикшу.

В нашем районе не очень-то много рикш — большинству они не по карману. Но одна стоянка есть — на перекрестке в двух кварталах от дома.

Людей на улице уже меньше. Нагулялись, расходятся по домам. Хорошо нам, пикселям, мы можем дрыхнуть до обеда. А если кому-то с утра на смену?

Ева с трудом переставляет ноги.

— Девочки, у вас проблемы? — кричит постовой, не переставая вертеть педали. Ему скучно.

— Нет! — кричу в ответ. — Подружка напилась пьяная, ей можно, у нее сегодня день рождения!

— А-а! — Постовой сильнее налегает на педали, лампа у него над головой вспыхивает ярче. — Ну, поздравь ее от меня!

Остается пройти еще один квартал.

— Ева, — говорю я шепотом. — Ты можешь идти быстрее?

Она мотает головой. Я смотрю на небо: до рассвета остается несколько часов.

Евина рука соскальзывает с моего плеча. Ева медленно и плавно опускается на асфальт. Я оглядываюсь на постового: его лампа горит слишком ярко. Мы посреди улицы, как на ладони. Бумажка, свернутая трубочкой, жжет мне карман.

Подкатывает уличный разносчик. Я беру у него банку с энеджи-дринком, раскрываю, выливаю Еве на голову.

— Зачем? — шепчет она.

— Чтобы ты двигалась, дура!

— Нет... *Зачем жить?*

Едва удерживаюсь, чтобы не отвесить оплеуху.

— Затем... что... мы с тобой вместе уйдем на Завод!

Говорю первое, что приходит в голову, но Ева вдруг оживает:

— Правда?

— Ну конечно!

Я вздергиваю ее на ноги — а ведь она тяжелее меня раза в полтора.

— Мы уйдем вместе, — говорю монотонно. — Выберемся из города... Пройдем через горы... И однажды утром поднимемся на вершину и увидим Завод. Там полно энергии, Ева. Просто залейся. Там с утра и до ночи энергетический час. Там никто не прыгает с крыши, никто не вешается на колготках, там всем хочется жить, и все живут. Понимаешь? Он прекрасный. И огромный. Выше неба.

Теперь быстрее. Я почти несу Еву на себе.

— А это не сказка? — Она слабо улыбается.

— Нет, — говорю как можно увереннее. — Если столько людей это повторяет, как это может быть сказкой?

Вот и конец квартала. Длинную страшную секунду мне кажется, что рикш на стоянке нет; ох, есть один. Пустой. Медленно разворачивается, собирается уезжать...

— Стой! — Я сгружаю Еву на тротуар и бегу следом. — Стой!

— У меня смена закончилась.

— Очень надо! Заплачу, сколько спросишь! Ну пожалуйста!

Рикша пожилой уже, ему лет сорок — окидывает меня взглядом.

— Куда ехать?

Называю адрес. Он колеблется целую минуту.

— Ну ладно. Садитесь.

Мы катим по опустевшим улицам. В темноте бесшумно вертятся ветряки. У рикши единственная фара на руле, она вспыхивает ярче, когда он нажимает на педали, и почти гаснет, когда притормаживает на поворотах.

Я сверяюсь с бумажкой. Фосфоресцирующие чернила светятся уже не так ярко, как тогда, в магазине рыб, когда парень с птичьими глазами написал мне этот адрес и пароль в обмен на кучу денег. К утру чернила совсем выдохнутся, и улики не останутся.

Дома вокруг все выше. Это квартал небоскребов, почти необитаемый, угрюмый квартал. Маячат в тумане огромные каменные колонны — это башни. Слева — Сломанная Башня, бывший небоскреб, он переломился, как щепка, на уровне двадцатого этажа. Мне тогда было лет пять.

Рикша крутит педали все медленнее. Оглядывается по сторонам. Наконец решительно тормозит:

— Приехали!

Я расплачиваюсь и выбираюсь из коляски. Помогаю выйти Еве. Мы на маленькой площади, справа и слева — темные башни, в центре — постамент от какого-то древнего памятника. Памятник давно снесли, остались только каменные ноги в каменных ботинках со шнуровкой.

Рикша уезжает. Теперь мы совсем одни в этом странном месте.

— Я посижу? — спрашивает Ева.

— Нет. Собрались идти — так идем. — Я разглядываю бумажку. Мне впервые приходит в голову: а *если* парень в магазине с рыбами обманул меня? Решил посмеяться? *Если* мы не найдем тут никаких дилеров, а найдем... ну мало ли что можно найти ночью в квартале небоскребов?!

— Нам туда, — говорю твердо, чтобы Ева и на секунду не усомнилась в моей уверенности. Веду ее — теперь она идет почти сама — через площадь, к башне.

Заворачиваем за угол. Я замедляю шаг. Похоже, это то самое место — магазин... Бывший магазин. Витрина заколочена. Поперек двери — наискосок наклейка; подойдя поближе, ухитряюсь прочитать: извините, мы не работаем.

И кодовый замок.

Совсем новый. Очень сложный, навороченный. А сверху — для виду — покрашен серой краской. Маскируется под старую рухлядь.

И тут — в первый раз — мне становится страшно. Потому что парень с птичьими глазами не врал, оказывается. И если я сейчас прикоснусь к этому замку — я буду вовлечена в действие, которое называется незаконной сделкой с энергией. Страшнее в нашем городе преступления нет. С человеком, которого на этом поймают, энергетической полиции можно делать все, что угодно: бить, издеваться, убивать... Хотя он и так умрет. Лишение пакета на неделю — и привет.

Ева тяжело дышит у меня над ухом. Она тоже боится.

— Может, уйдем? — спрашивает еле слышно. — Как-нибудь... дотяну...

Я задерживаю дыхание — и набираю на двери код. Длинный. Восьмизначный.

Длинную минуту ничего не происходит. Потом над нами загорается фонарь. И горит секунд тридцать. Мы стоим, никуда не уходим.

Фонарь гаснет. Проходит еще одна минута, и дверь, лязгнув, отъезжает в сторону.

— Ваша бабушка больна, — говорю быстро. — Просила передать ей пирожок и горшочек масла.

— Входи, Красная Шапочка, — отвечает невидимый в темноте мужчина.

В комнате совсем нет ламп. Только зеркальная банка со светлячками. Меня это нервирует: мы не видим лица того, кто нас впустил. А на нем ночные очки: он нас отлично видит.

Ева нащупывает в темноте стул и садится. Минуты три все молчим: мы с Евой пялимся в темноту, мужчина нас разглядывает. Я держу себя в руках — делаю вид, будто мне все равно.

Наконец он решает, что мы те, за кого себя выдаем.

— Сколько? — спрашивает без предисловий.

— Сто энерго, — говорю я быстро. — Хотя бы восемьдесят. Одним пакетом. Прямо сейчас.

— Тысяча монет. Наличными.

У меня перехватывает дух: не хватает денег. У нас с собой на двоих восемьсот восемьдесят две, и ни копейкой больше. А на счету — ноли и у меня, и у Евы.

Ева стонет сквозь зубы. Я наступаю ей на ногу.

— Семьсот, — говорю спокойно.

Он молчит. Летают и возятся светлячки в банке. Шуршат. Жуткий звук.

— Девочки, вы понимаете, куда пришли? Или вы платите и заправляетесь, или вы отсюда не выходите. Такое правило.

Ева тяжело дышит. Я сильнее наваливаюсь ногой на ее ступню. Ей, наверное, больно, но мне сейчас надо, чтобы она молчала!

— Если мы не вернемся к утру, — говорю как могу равнодушно, — ваша бабушка очень опечалится. И пришлет дровосеков.

— Дурочка. К утру здесь ничего не будет. Даже ваших трупов.

— Семьсот пятьдесят.

— А ты дикая, — говорит он с удивлением. — Девятьсот пятьдесят. И больше никаких уступок. Деньги с собой?

— Восемьсот, — мне все труднее сдерживать дрожь.

— Девятьсот.

— Восемьсот восемьдесят две. — Я не выдерживаю и закрываю глаза. И целую минуту слушаю шуршание светлячков в банке.

— По рукам, — говорит он наконец. — Просто из уважения к твоей настырности, детка.

Он идет к банке со светлячками. Открывает крышку, запускает внутрь руку, зачерпывает пригоршней (фу!). Выбрасывает в форточку. Снова закрывает банку, ставит на прежнее место. Светлячки пытаются взлететь и бьются о стеклянные стенки,

— Сколько вас тут ходит, — бормочет мужчина. — О запасах не думают, живут одним днем... И мрут. Ты, — неожиданно поворачивается ко мне, — ты сколько протянула бы без дозаправки?

— Не знаю... — Судорожно шарю по карманам, собирая деньги. Одной сотни не хватает. Могла я, расплачиваясь с рикшей, вместо десятки отдать сотню?!



— И я не знаю, — говорит он со странным выражением. — Ну, долго мне ждать? Давай деньги!

Я протягиваю ему все, что у меня есть. Он пересчитывает за одну секунду — в полной темноте. В очках.

— Детка, ты ошиблась, — говорит очень ласково. — Здесь семьсот восемьдесят две.

Я в десятый раз ощупываю карманы. Боковые, нагрудные, внутренние...

В глубине комнаты открывается еще одна дверь. Входят, кажется, трое — они огромные, пахнут кожей и потом, звенят металлом, сопят. Выпуклые линзы их очков отражают банку со светлячками.

— Ты что, в игрушки решила играть? — Дилер почти шипит. И в тот момент, когда он делает шаг ко мне, мои пальцы нащупывают — в глубине кармана брюк — туго свернутую купюру.

Дилер успокаивается. Снова пересчитывает деньги. Кивает громилам в темноте:

— Полный бак. Одним пакетом. Вот этой, хилой... А за этой дикой смотрите в оба глаза!

В темноте поблескивают зубы. Дилер ухмыляется.

— Идите за ними, девочки. Они вас не обидят.

Один идет впереди. Двое — по бокам. Как будто конвоируют. Ева цепляется за мое плечо.

Мы выходим на задний двор, заваленный хламом и рухлядью. Я поднимаю голову и вижу, что небо понемногу светлеет.

Передний уходит, велев нам оставаться на месте. Мне на плечо опускается тяжелая горячая лапа.

— Слышь ты, черная... У тебя парень есть?

— Есть, — отвечаю сквозь зубы. — Чемпион по кара-дзю.

— Врешь! — Громила смеется. Поблескивают очки и зубы.

Его рука проводит по моей спине. Я отпрыгиваю.

— Брось, — говорит его напарник. — Шеф прикончит.

— Ой, ну я тебя умоляю... Шеф даже не узнает.

В этот момент возвращается тот, что шел впереди. Кладет на землю перед Евой плоский портфель. Открывает. Вытаскивает манжету. Ева закатывает левый рукав. Ее трясет.

Манжета охватывает Евину руку повыше локтя. В этот момент я ни о чем не думаю, даже о громиле за спиной. Я смотрю на Еву. Портфель тихо гудит. Ева глубоко вздыхает, напрягается, по ее лицу расплзается улыбка... Ну вот. Наконец-то. Мы *смогли*, мы сделали, наконец-то!

Яркий свет заливает двор — брошенные ящики, канистры, трех громил с портфелем и нас с Евой.

— Стоять на месте. Энергетический контроль.

У меня отнимаются ноги.

Громилы и не думают «стоять на месте». Одинаковым движением лезут за пазуху... Что у них там — разрядники? Самострелы?!

Ева подпрыгивает и, волоча за собой портфель, кидается в тень. Я за ней. Почему-то самым важным мне кажется снять с Евы манжету — а потом пусть доказывают, что мы причастны к сделке, может, мы просто проходили мимо...

Ох, ничего они не будут доказывать. На тех, кто подозревается в операциях с энергией, не распространяются обычные законы. А нас взяли с поличным, с поличным!

Я оборачиваюсь через плечо...

И вижу.

Контролер почему-то один. Громилы кидаются на него с трех сторон — им терять нечего. Один раскручивает над головой цепь. У второго самострел, у третьего разрядник. Я понимаю, что нужно бежать сию секунду — но не могу сдвинуться с места.

Проходит, наверное, целое мгновение.

Контролер отталкивается от земли. Правой ногой бьет в грудь противника с самострелом. Громила падает. Контролер винтом проворачивается в воздухе, его левая нога находит челюсть

другого нападающего. Тот валится, роняя оружие. Третий громила стреляет разрядником — я вижу тонкую голубую дугу. И в следующий момент ей навстречу вылетает жгут мощнейшего разряда — синяя петля. Летят искры. Резко пахнет паленым.

Громила падает, не издав ни звука, и больше не шевелится. Тот, что получил ногой в челюсть, тоже лежит неподвижно. Зато другой вскидывает самострел...

Мне кажется, я слышу, как поет в полете тонкая стальная стрелка.

Контролер сбивает ее перчаткой — звук металла о металл. И в следующую секунду снова вспыхивает синяя дуга. Еле слышное шипение, будто рвется тонкая ткань. Тяжело валится тело. И наступает тишина.

Ева дергает меня за руку.

Светаёт. Проклятье — в темноте у нас был бы шанс! Мы бежим, как не бегали никогда в жизни. Разлетаются из-под ног ошметки, огрызки, черепки, консервные банки; свалка огромная. Мы мечемся между штабелями канистр, пробираемся сквозь чашу покореженной арматуры, нам нужен выход, выход, выход, а выхода нет, только новые горы мусора, огромное динамо-колесо, завалившееся набок, гнилые лужи, горы черных сплавившихся покрывшек...

— Помогай!

Ева не сразу понимает, что я хочу сделать. Но я наваливаюсь плечом на башню из вонючей резины, и Ева, догадавшись, кидается мне на помощь. Раз... два... глаза лезут на лоб. Три! Башня из покрывшек падает, заваливая проход между двумя тяжелыми блоками — отслужившими свое аккумуляторами. Он не пройдет! Он тут не пройдет!

С противоположной стороны завала бьет синяя дуга. Покрывшки плавятся и проседают. Поднимается черный дым...

Мы снова бежим очертя голову.

Направо. Налево. Нам надо бы разделиться, тогда у одной из нас был бы шанс... Я думаю об этом отстраненно, будто не моя судьба решается, а чужая. Впрочем, выбора все равно нет: дорога вперед одна, без развилок. Направо, налево...

Ева сдавленно вскрикивает. По инерции пробежав еще несколько шагов, поворачиваю голову; Ева лежит на земле, над ней возвышается черная фигура контролера.

— Беги! — кричит Ева из последних сил.

Я и рада бы не послушаться, но не могу. На губах металлический привкус. Я бегу, как затравленный зверь, я лечу, и вдруг передо мной открывается выход!

Последним рывком прорвавшись сквозь пролом в бетонном заборе, выбегаю на улицу...

И в этот момент меня хватают за волосы. Сзади.

Комната, где мы расстались с деньгами, пуста. На столе по-прежнему стоит банка со светлячками: они больше не светятся.

Контролер стряхивает нас с Евой на пол. Именно стряхивает: до этого он нас тащил. Я приземляюсь на руки и колени. Ева падает на бок — неуклюже, будто набитая ватой. Стучается головой о стену, но не перестает улыбаться странной бессмысленной улыбкой.

Контролер быстро оглядывается. В опустевшей комнате нет никого и ничего: только светлячки по-прежнему шуршат. При свете утра зеленые искорки превратились в отвратительных насекомых. Вогнутое зеркало внутри банки искажает их отражения, и от этого они делаются еще гаже. Просто чудовища.

— Конечно, он ушел, — говорит контролер сам себе. И оборачивается к нам. — Допрыгались, козы?

Мы молчим.

Контролер вздергивает Евину руку вверх. Рукав скатывается к плечу: выше локтя ясно виден след от манжеты.

— Сколько заплатили? — спрашивает контролер.

Ева тяжело дышит. Я называю сумму.

— Откуда у вас такие деньги?

Странный вопрос. Мы просто отдали все, что было, до копеечки. Теперь будем питаться бесплатной синтетической вермишелью... пока не померем от недостатка энергии — Ева завтра, я послезавтра.

Контролер пристально смотрит на Еву. Потом переводит взгляд на меня.

Он немолод. Вернее, он вне возраста. Лицо в бороздках, но это не старческие морщины. Это будто стыки бронированных плит. Глаза смотрят из черных провалов, будто из глубоких дюз. Я вспоминаю, как он разделался с тремя нападающими. Они там до сих пор, наверное, лежат...

— Вы заплатили за дрянь, — говорит он неожиданно мягко. — За фальшь. Это не энергия.

Я смотрю на Еву. Она улыбается.

— Это *не энергия*, — говорит он с нажимом. — Это заменитель. Две-три таких заправки — и привет, сумасшествие.

Ева улыбается. Как будто все, что происходит с нами, — шутка. Игра. Я смотрю на нее с ужасом. Потом перевожу взгляд на контролера; он кивает:

— Эти сволочи травят вас за ваши деньги.

— Но иначе она не дожила бы до утра! — вырывается у меня.

Бронированные плиты его лица чуть заметно сдвигаются — он хмурит брови.

— Многие не доживают. Энергии не хватает на всех. Ее все равно не хватает! Поэтому... такие людоедские штрафы.

Становится тихо. Ева молчит. Я молчу. Светлячки в банке понемногу затихают.

— Иди, — говорит контролер. — Забирай ее... И чтобы духу вашего здесь не было.

Я смотрю на него, не веря своим ушам.

— Иди! — повторяет он громче. — Считаю до пяти. Раз...

Я вскакиваю, будто меня ткнули шилом. Ева отстает только на одну секунду. Мы с ней сталкиваемся в дверях, прорываемся, плечом к плечу бежим по темному коридору... И вырываемся под небо. Справа — стена покинутой башни. Слева — ограда свалки.

— Четыре, — говорит контролер где-то там, позади, в пустой комнате.

Я слышала о такой забаве. Отпускают жертву, а потом догоняют — и убивают якобы при попытке к бегству. Такое полицейское развлечение.

Мы бежим. Проносимся через площадь. Вылетаем на улицу, ныряем в подворотню, пробегаем ее насквозь. Из-под ног шарахаются крысы. Нам слышится погоня за спиной — этот контролер бежит так, будто и не человек вовсе...

Начинают попадаться люди. Дворник вертит педали уборочной машины: из-под круглой щетки разлетаются фантики и упаковки от энеджи-дринка. Он смотрит на нас, как на бешеных, и тогда мы немного сбавляем темп.

При свидетелях контролер не станет нас убивать...

Или станет?

Мы наконец-то решаемся оглянуться.

Погони нет. Давно отзвучал счет «пять», но преследователь так и не появился.

Мы валимся на край тротуара. Садимся, пытаюсь отдышаться. Подползает разносчик дринка и с ним — гусеничная тележка с бутербродами. Бездумно сую в прорезь тележки свою кредитную карточку — загорается возмущенный красный глаз. Я забыла: денег-то нет...

Зато дринк нам полагается бесплатно. Мы выпиваем по две банки.

— Как ты?

Ева с минуту молчит, будто прислушиваясь к собственным ощущениям.

— Странно... Голова кружится. Слюна горькая. Но вроде живая... Как ты думаешь, он врал?

Может, и врал. Я пожимаю плечами.

— Он нас отпустил? — осторожно спрашивает Ева.

— Да вроде.

— И гражданский код не записал?!

— Нет.

— Не бывает, — говорит Ева, подумав.

Я с трудом поднимаюсь — все мышцы ноют, все суставы болят.

— Слушай, подруга... Утро наступило. Мы живы. Чего еще? Пойдем поспим, а то ведь вечером на работу.

Я поднимаюсь и бреду по улице, верчу головой, пытаюсь сориентироваться. Теперь-то нам рикша не светит, придется на своих двоих добираться...

Ева догоняет меня и кладет руку на плечо.

— Знаешь...

— Чего?

— Спасибо тебе, — говорит она еле слышно.

Проходит несколько дней. Каждый вечер, входя в сеть и проверяя, есть ли пакет, я трясусь, как мышь на барабане: будет у меня энергочас? Или... официальное сообщение о штрафе?!

Но ничего не происходит, и я понемногу перестаю дергаться. В конце концов, если бы контролер вздумал искать нас, уже нашел бы.

Чем больше я о нем думаю, тем больше замечаю странностей. Вот, например, он даже не спросил, как мы вышли на дилера, кто назвал нам адрес и пароль. Говорят, у контролеров есть специальные методы дознания — утаить от них что-то просто невозможно...

Однажды ночью, сразу после энергетического часа, я иду в магазин со светящимися рыбами. За прилавком вместо парня с птичьими глазами стоит хмурая некрасивая девушка.

— Привет, — говорю небрежно. — А где тут... такой работал молодой человек? С черными глазами?

— Тут я работаю, — говорит она мрачно. — Больше никто. И вакансий нет, не надейся.

— Послушай, мне очень надо его найти.

— Такого тут нет и не было, — говорит она упрямо. — Будешь покупать — покупай. А нет — убирайся. Ходят тут всякие.

В других обстоятельствах я бы объяснила ей, что быть такой грубой — нехорошо. Доходчиво объяснила бы, на всю жизнь. Но теперь нет желания с ней связываться. Я просто разворачиваюсь и выхожу.

На перекрестке танцуют парень с девушкой. Хорошо танцуют, с душой. Толпа стоит кружком и хлопает — ничего особенного в этом ритме нет, проще не придумаешь. Я останавливаюсь рядом и от нечего делать начинаю отбивать синкопы.

Арестовали связного? Или он сам ушел от греха подальше? Может, его и в живых уже нет?

Смотрю на смеющиеся лица вокруг. Вспоминаю слова контролера: «Многие не доживают. Энергии не хватает на всех».

Ловлю на себе чей-то внимательный взгляд. Мимолетно. Поворачиваю голову — его уже нет: человек отвел глаза. Спрятался. И не найти его в сутолоке.

Может, мне мерещится?

Да ну вас всех! Не стану я от каждого взгляда шарахаться!

Звенят по булыжнику металлические подковы. Сама не сознавая, выдаю последовательности из своей пиксельной программы: «Кра-си-че-бе! Кра-си-че-бе! Жел-кра-кра-жел!» Потом и этого ритма мне становится мало. Я все усложняю и усложняю его, то сливаясь с мерным ритмом толпы, то снова выныривая в свой собственный, никем не повторимый рисунок. Стучит кровь в висках, стучат каблук. Сыплются искры...

Я в кругу. В центре свободного пространства. Оказывается, у меня были зрители, сейчас они хлопают, визжат от восторга, что-то кричат...

Из памяти всплывает непонятное: пой, будто никто не слышит. Танцуй, будто никто не видит. Живи так, будто на земле рай...

И я ныряю в толпу. Ухожу.

Ева перехватывает меня на подходе к дому.

— Где ты ходишь? Тут у Длинного собирается классная компания!

Длинный живет на соседней улице. Его дом когда-то был девятиэтажный, но потом в подземных коммуникациях что-то просело, и дом, как стоял — так аккуратно и ушел под землю. Бывший пятый этаж Длинного — теперь второй подземный. Говорят еще, что из этого дома есть выход в старое метро.

Мы с Евой приходим последними, и Длинный запирает за нами двери.

У него огромная комната — когда-то прямоугольная, а теперь в виде ромба. Целая стена занята беличьими колесами — динамические белки дороже мышей, но и света от них куда больше. У Длинного этих белок — штук пятьдесят, все породистые, почти лысые, очень мускулистые и без хвоста (хвост ухудшает динамические характеристики, потому и вывели такую породу). Когда все белки бегут в колесах — в комнате светло, как днем. Даже ярче.

Сейчас белки спят. Колеса неподвижны. Посреди комнаты горит единственная свечка. Вообще-то жечь открытый огонь в помещениях запрещено, но Длинный на то и Длинный — у него денег достаточно, чтобы пренебрегать правилами.

В комнате человек десять. Все сидят кружком на полу. Длинный вытаскивает щепку (настоящую деревянную щепку!) и сует в огонь свечи. Приятно пахнет натуральным дымом. У меня раздуваются ноздри.

Щепка тоненькая. Красный уголек пожирает сухие волокна, ползет по направлению к пальцам Длинного.

— У меня был огонь, — говорит он монотонно. — Огонь ушел! Золу не тронь!

И передает щепку Еве, которая сидит рядом. Ева осторожно сжимает пальцы:

— У меня был огонь. Огонь ушел, золу не тронь!

И передает щепку мне. Завороженно глядя на уголек, я шепотом говорю:

— У меня был огонь. Огонь ушел, золу не тронь!

И передаю щепку девушке слева, которую я впервые вижу. У нее хриплый простуженный голос:

— У меня был огонь. Огонь ушел, золу не тронь!

Щепка движется по кругу. Кто-то быстро проговаривает слова, спеша избавиться от щепки, кто-то, наоборот, хочет поддержать ее подольше. А огонек все ползет и ползет, подбирается к пальцам. Все труднее удерживать щепку в руках.

— У меня был огонь, — это опять Длинный. И, очень быстро проговорив вторую часть фразы, сует щепку Еве.

— У меня был огонь... — Она говорит медленно, несмотря на то, что уголь почти касается ее пальцев, сложенных щепоткой. — Огонь ушел... золу не тронь...

Она хочет, чтобы щепка догорела в ее руках. Но слова закончились, и по правилам затягивать нельзя.

Я получаю в руки крохотный огарок. Щепка трещит и сильно жжет.

— У меня был огонь, — начинаю я. — Огонь ушел... А-а-а!

Проклятый уголь так больно впивается в кожу, что я выпускаю прогоревшую щепку. Дую на пальцы. Все смеются.

— Ты проиграла, — говорит Длинный.

Сама знаю. Теперь, по правилам, я должна целоваться со всеми, кто сидит в кругу. Девчонки хихикают. Парни довольны, переглядываются, ухмыляются: и Длинный. И Фикус из корпуса «Б». И незнакомый крепыш с пухлыми щеками. И Игнат... вот уж кого видеть не желаю.

А раньше я никогда не проигрывала, когда мы играли в огарчик!

— Давай, — говорит Длинный. — Кто первый?

— Никто, — говорю я, не раздумывая. — Я не буду.

Длинный поднимает брови:

— Ты знаешь правила.

— Знаю!

Я отыскиваю на полу уголек — он еще светится, он горячий. Вытаскиваю из волос стальную заколку, подхватываю уголь, будто щипцами. Подношу уголь к лицу...

В последний момент спрашиваю себя: может, ну его? Перецелую их всех, ничего от меня не отвалится?

Прижимаю к губам то, что осталось от щепки. Очень важно не заорать. Меня окатывает потом, всю передергивает от боли. Я выпускаю уголь, он опять летит на пол.

Все молчат. Даже девчонки притихли. Ева смотрит с сочувствием. Игнат так разочарован, что становится смешно.

— Вот дикая, — говорит Длинный вполголоса. — Ну что, играем дальше?

Дальше играть никто не хочет. Ева предлагает рассказывать страшные истории.

Длинный задувает свечу. Теперь мы сидим в полной темноте, и это к лучшему: никто не видит, как на губах у меня вздувается волдырь.

Считаемся. Первой выпадает рассказывать хриплой девчонке слева от меня.

Она начинает нарочно глухим, заунывным голосом:

— Жила одна девочка. У нее в районе пропадали люди. То один пропадет, то другой... Но она об этом не задумывалась. Однажды после энергетического часа она познакомилась с парнем. У него были очень красивые глаза, а лицо повязано платком. И он этот платок никогда не снимал... Вот пошли они гулять. А парень и говорит: давай залезем на башню! Она и согласилась. Стали они подниматься на башню, дошли до пятидесятого этажа. Девочка говорит: я больше не могу. А парень: выше! Выше! Дошли они уже до сотого этажа, а девочка села и говорит: ну все, теперь точно не могу. А парень ей: прыгни вниз. Она: да ты что?! А парень: прыгни, прыгни! И снимает с лица платок...

Кто-то из девчонок негромко визжит.

— А рот у него, — продолжает рассказчица, — такой огромный и круглый, что видно череп изнутри. Девочка тогда поняла, что это за парень. Но она не растерялась — прыгнула в лифтовую шахту и зацепилась за противовес. Трос не был заблокирован, противовес пошел вниз и опустил девочку до самой земли невредимой... И это не сказка, — вдруг закончила она совершенно нормальным, хотя все еще и простуженным голосом. — Это со мной было.

— Врешь, — вырывается у кого-то. Кажется, это Игнат.

— В старых башнях лифтовые тросы прогнили давно, — это Длинный.

— В некоторых прогнили. А в некоторых они железные.

Становится тихо. Если бы не дыхание — казалось бы, что комната пуста.

— Жизнеедов не бывает, — тихо говорит Ева. — Ну как это человек может питаться жизнью самоубийцы? Непрожитой жизнью? Как?

— А кто сказал, что они люди? — резонно возражает простуженная девчонка.

— У нас в блоке трое пропали неизвестно куда, — задумчиво говорит кто-то из парней. — За полгода — трое.

— Им просто энергии не хватило, — хмыкает Длинный. — Когда кого-то из знакомых штрафуют... или работу теряют, а запаски нет... Ты, что ли, знаешь об этом? Как-то не принято о таком трепаться.

— А мне говорили, — еле слышно шепчет Ева, — что пропавшие люди уходят на Завод.

Тишина. Возня. Сопение. Я толкаю Еву локтем в бок.

— Да, на Завод, — повторяет она упрямо. — И там полно энергии для всех. Никто не дрожит над своим пакетом. Там даже слова нет такого — «пакет». Просто энергия льется, как... как ветер. Или как вода, когда водопровод работает.

— Жизнеда я своими глазами видела, — говорит простуженная девушка. — А Завод... ты меня извини, но это все равно, что загробный мир. Есть он, нет его — мы все равно не сможем проверить.

На другой день мои губы уже не так болят. Пузырь лопнул. Я могу разговаривать.

Выспавшись как следует, за час до заката подхожу к проходной у подножия холма. Пиксели стекаются ручьями со всего города.

Переодеваюсь в раздевалке и вдруг вижу, что в шкафчике две пары наушников. Ошибка техников — новые положили, старые забыли забрать. Я невольно оглядываюсь: никто не видел? Никто. Все надевают робы.

Тогда я перепрыгиваю старые наушники — с полки кладу к себе в башмак. Если засекут — скажу, что случайно. В конце концов, из шкафчика-то они не выходили!

Надеваю новые наушники. Надеваю черные очки. Застегиваю липучку — сзади, напротив четвертого позвонка.

И отправляюсь на рабочее место.

Иду вверх, пока не добираюсь до отметки «401», и тогда сворачиваю налево. Пробираюсь по узкому проходу. У Евы пятьсот тринадцатое место, у меня — пятьсот двенадцатое, Ева всегда приходит раньше...

Но сегодня ее нет. Я так удивляюсь, что наступаю на край робы и чуть не падаю.

На пятьсот тринадцатом месте нет никого! Неужели она опоздает?!

Я сажусь на свое место, скрестив ноги. Спокойно, говорю себе. Лишние тридцать секунд ничего не значат. Когда я в последний раз видела Еву? Вчера. Сегодня я проспала весь день, а когда выходила из дому — ее уже не было в комнате...

Время идет. Я верчу головой, вглядываясь в лица последних пикселей, рысью бегущих по местам. Евы среди них нет.

Незнакомый парнишка, белобрысый и молоденький, вскакивает на платформу номер 401/513. На Евино место!

— Заблудился? — спрашиваю резко. Он улыбается — рот до ушей, глаза часто моргают.

— Привет! Меня поставили сюда работать! С крайней линии, представляешь? Был конкурс, я победил! Как думаешь, справлюсь?

Смотрю на него, как на пришельца с Луны. Его слова до меня не доходят.

— Это место...

— 401/513! — Он показывает новенький жетон, который болтается у него на запястье.

— Конкурс? Когда?

— Да сегодня же! С полудня!

Значит, Еву перевели на окраину. Куда-нибудь в угол экрана. На место этого... живчика. За что?

Не нить! Дело поправимое. Главное — пакет у нее будет. Ночью после энергочаса сядем рядышком на кухне, выпьем чаю...

Я не успеваю додумать: в наушниках начинается отсчет. Пришло время шоу.

После работы собираюсь домой впопыхах — думаю о Еве. Белобрысый парнишка справился (я, если честно, в глубине души желала ему провала). Его зовут Никола. Теперь он будет работать рядом со мной... А Ева где же?

Сую ногу в ботинок — и наталкиваюсь на преграду. Лишние наушники. Я про них совсем забыла.

Положить их обратно на полку? Еще не поздно...

Руки действуют сами, без участия разума. Раз — надеваю наушники на ногу повыше колена. Два — опускаю сверху широченную штанину. И нет наушников.

Запираю свою ячейку. Сердце колотится. Зачем мне это надо?!

Медленно выхожу из раздевалки. Еще не поздно вернуться и положить на место. На лестнице меня подхватывает толпа — теперь вернуться назад сложнее. Но все еще возможно.

У выхода сидят полицейские. Скучают. По дороге на работу мы проходим через рамку-металлоискатель. А с работы — валим толпой мимо рамки. И полицейские сидят на входе просто так, на всякий случай...

— Девушка!

Это не меня. Иду дальше. Даже головы не поворачиваю.

— Эй, ты! Оглохла?

Меня хватают за рукав. Сосчитав до трех, медленно оборачиваюсь.

Полицейский раздражен: почему это я не подбежала к нему послушно по первому требованию?

— Что случилось? — спрашиваю очень спокойно и вежливо. Сердце лупит, как в барабан, где-то в районе желудка. Нас, вообще-то, предупреждали о такой фишке: выборочный обыск. Кого-то из ребят в самом деле трясли, но меня — никогда. Ну почему, почему именно сегодня?!

Теперь все зависит от моей выдержки. Если он учует, что я трясусь и потею... Это конец.

Он разглядывает меня. Я смотрю ему в глаза.

— Ну-ка, пройди через рамку, — говорит он. Я киваю: такие, мол, пустяки. Отчего же не пройти через рамку? Всегда с удовольствием...

На секунду замираю перед створом металлоискателя. Я *не знаю*, сработает рамка на мои наушники или нет. Делаю шаг вперед...

Рамка пищит! Орет на всю проходную: поймали вора! Поймали вора!

Полицейский крепко берет меня за руку повыше локтя.

— Что там у тебя?

— Браслет, — говорю спокойно.

Судорожно вспоминаю: по дороге на работу я всегда снимаю широкий металлический браслет с правой руки и кладу на лоток перед контролером. А пройдя через рамку — забираю обратно.

— Сними и пройди еще раз.

Я стягиваю браслет. Снова замираю перед рамкой. Если она сейчас сработает...

Делаю шаг — будто в пропасть. Рамка молчит. Я выхожу из опасной зоны... рамка молчит! Полицейский смотрит испытующе.

У меня трясутся колени. Наушники медленно начинают сползать вниз по ноге. Я чувствую, как они соскальзывают на колено, потом на голень...

— Я могу идти? — спрашиваю чуть быстрее, чем надо.

Полицейский молчит целую секунду.

Проклятые наушники лежат теперь на башмаке, ненадежно прикрытые штаниной. Только бы они не свалились!

— Иди, — говорит полицейский.

Я разворачиваюсь и очень быстро иду к выходу. Чуть подволакивая правую ногу.

— Стой!

Я оборачиваюсь.

Полицейский ухмыляется. Что это, игра в кошки-мышки?!

— Браслет забыла, — говорит полицейский.

На его ладони лежит мой металлический браслет.

Вернувшись домой, я валюсь на койку и несколько минут ни о чем не думаю. Вот дура, а?! Зачем мне новые неприятности, разве старых было мало? Меня же чуть не сцапали, все висело на волоске — из-за каких-то там наушников?!

Отдышавшись, вытаскиваю свой трофей. Внимательно разглядываю.

Сами наушники — мембранки-проводки — меня интересуют мало. А вот плоская коробочка, припаянная с правой стороны — ритм-блок...

Вообще-то, я не очень хорошо в этом разбираюсь. Я же не инженер — я просто пиксель. Но любой пиксель знает, что на входе в ритм-блок наших наушников — какой-то совсем простой сигнал. А уж дело блока — преобразовывать его в тот самый ритм, который заставляет нас так быстро и точно менять цвета. О небесном экране говорят, что он красочный, что в нем бездна оттенков, что изображения перетекают друг в друга почти незаметно... Поглядела бы я на наше энергошоу, если бы каждый пиксель вместо ритма получал тупой приказ: «Синий! Желтый! Белый!»

Опомнившись, я прячу наушники в тайник за вентиляционной решеткой. Мне надо найти Еву. Сейчас это самое главное.

Евина комната не заперта. Там пусто. Вещи валяются как попало — на Еву не похоже, она аккуратная.

Иду на кухню. Там сидит Игнат — в одиночестве. Волей-неволей приходится с ним заговорить.



— Еву не видел?  
Он смотрит настороженно.  
— Я думал, она с тобой... Ее с утра нет.  
— И с работы не возвращалась?  
Игнат вертит головой. Я присаживаюсь на край железной табуретки.  
— Ее не было на месте, — говорю, сама не зная зачем.  
Игнат широко раскрывает глаза:  
— Да?! А где...  
И умолкает.

Приближается энергетический час. Евы нет в комнате. По идее, она может подключиться к своему пакету где-нибудь в другом месте... Но я в это не верю.

Как всегда перед энергочасом, думается о плохом. Становится страшно. От жизни ждешь одних только бед и неприятностей.

За пятнадцать минут до двенадцати я вспоминаю, что не проверила почту. Сажусь в велосипедное седло, нажимаю на педали... загорается монитор на руле.

Письмо единственное. От Евы. Вытаращив глаза, читаю: «Завод есть. Он на самом деле есть! Спасибо тебе за все».

И все. Конец.

Это письмо так выбивает меня из колеи, что я чуть не забываю подключиться. Без двух минут двенадцать застегиваю манжету на левой руке, щелкаю разъемом... И тут вспоминаю, что не успела проверить: есть у меня на сегодня пакет или нет? Может, меня за что-то оштрафовали?!

На городской башне начинают бить часы: раз... два... три...

Двенадцать!

От манжеты разливается тепло — к сердцу. К горлу. Перед глазами вспыхивают золотые искры, мерцают, танцуют...

Я улыбаюсь.

Все в порядке. Все живы. И у Евы все хорошо. Даже лучше, чем можно было представить: Ева нашла дорогу на Завод! Она об этом всегда мечтала! Я за нее рада.

И еще я все могу. Петь, танцевать, конструировать...

Я кормлю динамо-мышь специальным кормом из баночки. Запускаю в колесо. Мышь бежит. Колесо вертится. Загорается лампочка над столом.

Я запираю дверь, сажусь за стол и кладу перед собой унесенные с работы наушники.

Через два часа становится понятно, что нужен барабан. Или бубен. Что-то такое просто необходимо. Я прячу в тайник разобранные наушники и стучу в комнату Игната.

Он так рад мне, что готов, кажется, руки целовать.

— Ты?! Заходи... Выпьем чаю... У меня есть вино...

— Некогда, — говорю. — Одолжи-ка мне ролики. Очень надо.

Он разочарован.

Ролики Игната — его сокровище. Он хранит их, чистит, смазывает, сам редко пользуется и другим никогда не дает. Они очень старые, могут сломаться и ремонта не переживут.

— Зачем тебе? — спрашивает Игнат, отводя глаза. Но я уже знаю, что отказать не решится.

— Съездить кое-куда. Я очень спешу, понимаешь?

Я качусь по тротуару, перепрыгивая через канализационные решетки. Ролики — замечательная вещь, но мне на них никогда не накопить денег. Особенно после того, как мы с Евой потратили все сбережения на нелегальный пакет.

Я снова думаю о Еве. Сейчас, когда после счастливого энергетического часа прошло некоторое время, ее письмо уже не кажется мне таким однозначным. «Завод есть»... Могла Ева

уйти, не попрощавшись? Слова не сказав? Бросив все? Некрасиво с ее стороны. После того, как мы вместе побывали в такой переделке...

Я вспоминаю контролера, который нас отпустил. Может быть, исчезновение Евы как-то с ним связано?

Я вылетаю за поворот. Посреди площади ребята на роликах играют в гамбу — ухватившись друг за друга, катятся паровозиком. Ведущий резко поворачивает то вправо, то влево, и все за ним. Цепочка извивается змеей, уцепившихся последними мотает из стороны в сторону. Играют обычно до тех пор, пока кто-то не упадет и цепочка не развалится.

Я выжидаю секунду — и присоединяюсь к паровозу последним вагончиком.

Скорость невиданная. Я едва успеваю перебирать ногами, чтобы не налететь на край тротуара. Сороконожка, сложенная из людей на роликах, проносится через площадь и резко разворачивается перед большой витриной. Меня заносит, я бьюсь о витрину плечом: она гудит, как бубен, но не бьется. Гамба катится дальше. Летит вверх тормашками разносчик бутербродов. Катятся упаковки с дринком. Дворник поспешно сворачивает в сторону. Вдалеке слышен полицейский свисток...

Впереди кто-то падает, и на него валятся все остальные. Я успеваю разжать руки, по инерции качусь вперед и чуть вправо: мимо кучи-малы. Ребята пытаются встать, кто-то ругается, кто-то смеется. Полицейский свисток все ближе. Я успеваю махнуть рукой парню-заводиле (он, как и я, сумел удержаться на ногах). Он машет мне в ответ.

На полной скорости влетаю в темный переулок. Асфальт здесь неровный. Грохот роликов отражается от низких сводов. Поворот, еще поворот; пустынная улица, тихая, только лопочут ветряки на крыше. И — освещенная витрина. Я притормаживаю.

Вся витрина уставлена барабанами. Здесь огромные ударные установки и маленькие детские бубны. Тамтамы, Тулумбасы. Кожи и ткани натянуты на рамы всевозможных свойств и очертаний. Я очень люблю это место, но не могу тут часто бывать. Слишком далеко от дома.

Дверь закрыта. Я безнадежно дергаю ручку. Который час? Скоро рассвет, неудивительно, что магазин закрыт...

Из глубины, из-за барабанов-чудовищ в человеческий рост медленно выходит чья-то тень. В полутьме я не вижу лица.

Скрежещет замок. Открывается дверь.

— Входи.

Хозяина барабанного магазина зовут Римус. Он гораздо старше всех моих знакомых — ему лет сорок. Для меня он зажигает в магазине все огни: будит мышей и белок, выпускает светлячков, тормозит единственного электрического ската в глубоком, но тесном аквариуме. Я осматриваюсь, будто вижу все это в первый раз.

Барабанов тысячи. У каждого свой голос. Но сейчас все они молчат. Я протягиваю руку, несмело постукиваю пальцем по жесткой, странно теплой коже. Звук очень глубокий, низкий, таинственный: бум-м...

— Простите, что потревожила вас так поздно.

— Ничего. Я тебя ждал.

От удивления я оборачиваюсь:

— Меня?!

— Я тебя запомнил, Дикая. Ты часто приходишь. Посмотреть на барабаны.

— Не очень часто, — теперь я смущаюсь по-настоящему. — Я далеко живу. И... у меня нет денег. Только на очень маленький... самый маленький барабан.

Он кивает, будто так и знал. Жестом зовет меня за собой — в глубь магазина. Там стоит странная установка — что-то вроде клетки из грубо спаянных арматурных прутьев. Внутри клетки закреплены и развешены барабаны — на первый взгляд, как попало. На самом деле в их расположении есть система. Не могу понять, какая.

— Сядь. Расскажи, что тебе нужно.

Я сажусь, прячу под стул ноги на роликах и рассказываю. Мне нужен барабан. Лучше — система барабанов, но это уж как получится. Мне нужно самой, на свое усмотрение,

сконструировать ударную установку. Миниатюрную. Это будет... Короче, это будет синтезатор ритмов.

Римус выслушивает очень внимательно. Кивает. Долго думает, потом входит в арматурную клетку. В его руках две тонкие деревянные палочки. Потихоньку, монотонно начинает выстукивать на большом барабане. Я невольно подхватываю, начинаю отбивать ритм ладонью по колену...

Римус мельком смотрит на меня — и вдруг его будто прорывает. Он мечется внутри клетки, барабаны *оживают* — все разом. Я слышу стук своей крови — и крови Римуса. Я слышу *ритм целого города*. На мгновение кажется, что снова наступил энергетический час и теплая волна вот-вот зальет меня целиком...

Римус обрывает игру. Опускает руки. Выбирается сквозь щель между двумя арматурными прутьями. Мое сердце колотится, как после долгого бега.

— Скажи, — Римус делает паузу, испытующе смотрит на меня. — Ты могла бы прожить... без подзарядок? Без энергетического часа? Хотя бы сутки?

Я не ждала этого вопроса. Звучит неприятно и угрожающе. Я встаю. На роликах, вообще-то, трудно принять боевую стойку. Что он имеет в виду? Неужели догадался, что я украла наушники и за это меня могут отключить?!

— Да нет... — Он огорчен, что я его неправильно поняла. — Я не собираюсь ничего у тебя отбирать... или запугивать. Просто ты похожа на... на некоторых людей. Они чувствуют ритм, как ты. И у них... своя энергия. Энергия из сердца. А не из разъема. Понимаешь?

— Мне нужен барабан, — говорю я холодно. — Всего лишь маленький барабанчик. Остальное я сделаю сама.

Мы беседуем до рассвета.

— Люди, живущие на равнине, не похожи на тех, кто родился и вырос в горах. Другой ритм, понимаешь? Сам мир ритмически организован. На равнине — плавно, это протяжная песня. А в горах — резкие перепады. Крутые повороты. Вершины и пропасти. В горах выживают по-настоящему дикие.

Я никогда не была ни в горах, ни на равнине. Город — вот мой мир. Серые жилые кварталы, улицы, площади и покинутые башни. И еще промышленные районы, куда без пропуска не пройдешь.

— Мы все — пленники ритма, хозяева ритма. Утро — ночь. Сон — явь. Вдох — выдох. Наше сердце — ударная установка. Наш мозг подчинен ритму и производит ритм... Тебе не скучно?

— Нет! Что вы!

Он трет ладони, будто у него зябнут руки.

— Родителей помнишь? — спрашивает ни с того ни с сего.

Я пытаюсь вспомнить. Получается плохо. Вроде были какие-то люди... Вроде я их когда-то любила...

— Они умерли.

— От чего?

— От старости, — предполагаю неуверенно. И замолкаю.

Римус тяжело качает головой:

— Приют... Приют, а не дом. Только воспитатели не ставят в угол — они сразу лишают пакета... воли к жизни... цели...

Я не понимаю его. Он и не ждет, что я пойму. Поднимается, идет куда-то в глубину магазина и через минуту возвращается с маленьким, как две моих ладони, барабаном.

Барабан старый, это видно с первого взгляда. Кожа на нем вытерлась, кое-где засалилась. Сквозь пятна проступает неясное изображение.

Я всматриваюсь. На барабане нарисован волк.

— Это... старая вещь?

— Это *древняя* вещь, — говорит он с легким упреком. — Она не очень красива. Но в ней есть душа. Она помнит настоящие ритмы — рождения, сражения, смерти. Возьми. Тебе

пригодится.

Он улыбается. Незаметным движением выхватывает из железного ребра барабана трехгранный стилет без пятнышка ржавчины. Я невольно отшатываюсь.

— Пригодится, на все случаи жизни. — Он осторожно прячет оружие назад. — Обрати внимание, на чем этот барабан крепится. На цепи.

Он прилаживает цепь мне на плечо. Очень удобно. И совсем не тяжело.

Возвращаюсь домой утром, с барабаном на плече. Меня покачивает от усталости, но я совершенно счастлива.

Игнат встречает меня у дверей нашего блока. Дождаться не может, бедняга.

— Да целы твои коньки, не беспокойся!

Он как-то вяло реагирует на мои слова. Мнется. Отводит взгляд.

— Да что случилось?

— Ты знаешь... Ева нашлась.

— Правда?!

— Да... в коллекторе. В канализационном коллекторе спустили воду... и тогда нашли... ее. То, что от нее осталось.

— Темная история, — говорит Длинный.

В его комнате в форме ромба горят все лампы. Все динамо-белки бегут в своих колесах. Я сижу на полу и плачу. Мне плевать, что он видит мои слезы.

— Она слишком поверила... что Завод — это все равно, что загробный мир! Она покончила с собой! Прыгнула в коллектор... А мне написала...

Я не могу говорить. Захлебываюсь.

— Яне думаю, что она покончила с собой, — говорит Длинный.

От неожиданности поднимаю на него мокрые глаза.

— Она любила жизнь, — говорит Длинный. — Да, ей было трудно, не хватало энергии. Но она понимала, что такое жизнь. И ни за что не спустила бы ее в коллектор... как в унитаз.

Я понимаю, что он прав. Горе сделало меня глупой. Я слишком легко поверила в самоубийство Евы.

— Но тогда ее кто-то убил?!

Длинный молчит.

— Но кто? И за что?! И при чем тут Завод?

— Ты не рассказывала мне, — начинает Длинный, — что с вами стряслось в ту ночь, когда ты искала подзарядку для Евы.

— А откуда ты знаешь...

— Брось, — машет рукой. — Где знают двое, знает и свинья.

Он снова прав. Я закусываю губу.

— Не бойся, — говорит Длинный. — Я же тебе не враг.

Я рассказываю ему, как мы напоролась на контролера. Как пытались уйти, но не смогли. И как он нас отпустил.

Длинный долго молчит.

— Контролеры никогда не ходят поодиночке, — говорит он наконец. — Разве ты не видела патруль?

Я молчу. И опять он прав.

— У контролеров нет такого оружия. То, что ты описала... Это не разрядник. Это штука помощнее. Я даже не знаю... не знал, что бывает такое оружие.

Я молчу. Мои слезы высыхают, стягивая кожу.

— И контролеры никогда никого не выпускают, — говорит Длинный очень тихо. — Никогда. Это закон.

Я вспоминаю того, кого мы приняли за контролера. Лицо, будто выкованное из железных пластин. Глаза, глядящие из темных провалов...

— Так кто же это был?! — вырывается у меня.

Длинный качает головой:

— Не знаю. Знала Ева... незадолго перед смертью. Наверное.

От этих его слов у меня волосы встают дыбом.

— Но...

— Будь осторожна, — говорит он твердо. — Может, ты следующая... а может, и нет. Может, я ошибаюсь. Но на всякий случай оглядывайся почаще. И не доверяй незнакомцам. Ладно?

«Не доверяй незнакомцам».

Теперь мне всюду мерещатся внимательные взгляды. Верчу головой так, что шея болит. Следят за мной? Или не следят? Или так следят, что я не замечаю?

Белобрысый Никола, мой новый сосед по работе, старается изо всех сил, хочет мне понравиться. А мне глядеть на его улыбку — сил нет. С души воротит.

Потому что я думаю о Еве, и только о ней. Ни о чем другом много дней не могу думать.

Каждую ночь, получив свою дозу энергии, беру в руки барабан с изображением волка. Вытаскиваю из-за вентиляционной решетки разобранный ритм-блок. Достая из-под кровати ящик с инструментами. У меня всего два часа — потом действие подзарядки ослабевает, «свет в голове» гаснет, и я ощущаю себя полной дурой. Главное в этот момент — не поддаваться отчаянию и не расколотить о стенку то, что уже сделано. А расколотить хочется: таким оно представляется нелепым. Кажется, ничего из этого не выйдет, никогда. И как только мне в голову взбрела такая глупость!

Заставляю себя все аккуратно спрятать: инструменты под койку, блок — в тайник за вентиляционной решеткой. И на другой день, после энергочаса, снова берусь за дело. Все это время я почти не выхожу на улицу: потому что занята. И еще потому, что надоело оглядываться, ожидая неведомой беды неведомо откуда. Я тружусь, как робот на конвейере...

И в один прекрасный день моя затея срывается.

Ритм-блок крепится на ребре барабана. К нижней деке я приспособила тонкую, как пузырь, электромагнитную мембрану. Ритм-блок генерирует волны, мембрана резонирует с нижней декой барабана. Так просто, что даже удивительно: и чего я так долго возилась?

Я постукиваю по барабану ладонью: раз, два, раз-два-три! Барабан откликается — без паузы, без малейшей заминки выдает ритмическую серию, от которой нога сама собой начинает притопывать по бетонному полу.

Вот это игрушка.

На минуту я забываю даже о Еве. Даже о том, что мне грозит беда. Я разговариваю с барабаном: он безошибочно развивает любую мою мысль. Всегда логично и всегда непредсказуемо.

Энергочас давно прошел. Близится рассвет. Я надеваю барабан на плечо и выхожу на улицу. Без роликов добираться до Римуса очень долго. Я пускаюсь бегом. Барабан болтается на боку. В такт моим шагам начинает бормотать ритм — негромко, глухо, будто сам себе.

Этот ритм странным образом соединяется со стуком крови в ушах. Я бегу все быстрее. Дворник на уборочной машине шарахается с моего пути. Что-то кричит вслед. Я не слышу: в ушах свистит ветер, стучит кровь и гулко отдается ритм.

Я почти не касаюсь ногами земли!

Ребята-роллеры провожают меня удивленными взглядами. Врываюсь в магазин к Римусу, будто камень, пущенный из рогатки. Щеки горят от ветра.

— Римус! Римус! Посмотри, что я сделала!

Он сидит над остовом гигантского барабана — скелетом древнего чудища. Встает мне навстречу. Долго рассматривает мое изобретение, постукивает по деке — барабан отзывается ему. Правда, не так звонко, как мне.

— Ты засиделась внизу, — говорит он наконец.

— Что?!

Он возвращает мне мой барабан. Пристально смотрит в глаза — очень серьезно.

— Внимательно слушай, что я тебе скажу. Ты должна искать *выше*. Ты должна

подняться на самый верх. *Иди вверх*, Дикая! Там ты найдешь то, что тебе очень нужно.

Иногда мне представляется, что Римус очень умный. А иногда кажется, что он совсем сошел с ума среди своих барабанов. Что это значит — «иди вверх»? Я расспрашиваю его почти час, и так и эдак, но он отказывается об этом говорить. Он реставрирует гигантский барабан и просит не мешать.

Раздосадованная, выхожу на улицу. Бреду домой и все думаю, думаю над его словами.

В подворотне ко мне пристаёт очень неприятный субъект: я готова поспорить, что сегодня ночью он получил фальшивую подзарядку. И, наверное, не в первый раз. На губах у этого парня — странная, бессмысленная улыбка. А глаза не улыбаются: они остекленели. Он вообще, кажется, ничего не видит — идет на меня, как слепой робот, расставив огромные руки.

Я пытаюсь увернуться, но он очень ловкий. Хватает меня — пальцы будто железные. Прижимает к стене. Бью коленом в пах: ничего не происходит, ему все равно. Он не чувствует боли.

— Девять доз, — шепчут его губы. — Девять доз... Одна ночь... Еще вчера было восемь...

Его рука впивается мне в грудь. Очень больно. Я молча вырываюсь, но он сильнее. И весит больше раза в три.

— Ты понимаешь, *что* это значит? Ты не понимаешь... *как* это — сдохнуть, когда тебе не хватит девятой дозы... Или десятой... Или двухсотой...

Он кажется таким же механическим, как разносчик дринка. У него все отдельно: глаза, лицо. Движения. Слова. Он бормочет, будто жалуется мне. А сам заваливает меня на асфальт и рвет на мне одежду.

Ребро барабана впивается мне в бок. Из последних сил высвобождаю одну руку, вслепую тянусь к барабану... Не хватает миллиметров...

— Девять доз... Я хочу жить, понимаешь, ты?! Я *жить* хочу!

Из крошечных ножен, спрятанных на ребре барабана, в мою руку выползает стилет. Будто жало. И, когда механический человек, получивший сегодня девять доз фальшивой энергии, чуть отстраняется, колю стилетом в бедро.

В первую страшную секунду кажется, что он и этого не почувствует. Он замирает, его глаза наконец проясняются. Кажется, он впервые меня увидел. Он делает движение посмотреть, что такое его ранило...

На меня толчком выплескивается чужая кровь.

Он рычит. Прихватив барабан, ужом выскальзываю из-под него. Он хватается за щиколотку — я протыкаю стилетом его ладонь. Он страшно ругается, отдергивает руку...

И вдруг замирает, стоя на коленях на тротуаре.

— А может, и к лучшему, — говорит очень ясным, спокойным голосом. Ложится на бок и подкладывает ладонь под голову. Будто очень устал и хочет спать.

Я убегаяю. Потом возвращаюсь. Он все так же лежит на боку. Под ним собралась немалая лужица крови — кажется, я случайно перебила артерию. Но кровь больше не течет. И человек не дышит.

Он мертв.

Стою над ним с окровавленным стилетом. Я не хотела! Он был скотина, он заслуживал смерти... Но ведь тех царапин, что я ему нанесла, недостаточно, чтобы завалить насмерть такого здорового быка!

Моя одежда в крови. Надо бежать, пока меня здесь не застали. Ведь по всему выходит, что убийца — я...

Что чувствует человек, когда жизни в нем осталось так мало, что каждую ночь приходится подзаряжаться не раз, не два — девять раз? Откуда он брал такие деньги?! С каждой ночью в нем оставалось все меньше жизни. Чем больше он цеплялся за жизнь, тем меньше оставалось шансов...

В конце подворотни мелькает чья-то тень, и я ухожу, бережно прижав к груди барабан. Лицо этого человека — мертвое — стоит у меня перед глазами.

«Иди вверх». Это становится почти навязчивой идеей. Я поднимаюсь на крышу нашего дома — девятый этаж — и сижу там в окружении ветряков и тусклых солнечных батарей. Когда-то эти батареи давали много тепла и света — тогда солнце светило щедро, по два-три часа в день, а не двадцать минут, как сейчас. Теперь батареи никому не нужны, но демонтировать их не стали. Я сижу на одной из них, как на пыльной глыбе льда. Смотрю на город.

Ветряки, ветряки. Огромные лопасти и вертушки поменьше. Крыши — плоские, все на одном уровне. Кое-где рядами стоят кресла — здесь люди с удовольствием смотрят энергетическое шоу. Мое шоу...

А дальше, почти неразличимые в коричневатом тумане, — небоскребы, башни. Верхушками они уходят в облака. Первые этажей двадцать заселены, выше, как правило, никто не живет: тяжело подниматься. Раньше, когда энергии было много, башни светились огнями. Внутри и снаружи работали лифты. Люди поднимались на самый верх, не прикладывая усилий...

Иди вверх, сказал Римус. Я поднимаюсь и отряхиваю пыль со штанов.

Район небоскребов пользуется дурной славой. И не только потому, что среди обломков и развалин здесь ютятся разные подозрительные конторы. Башни понемногу разваливаются: каждую минуту любая из них может повторить судьбу Сломанной Башни. Или самоубийца свалится на голову, тоже приятно мало.

Я иду, стараясь держаться поближе к стенам. Башен много — когда-то их строили здесь одну за другой. И где же, интересно, лежит то, что мне «очень нужно»?

Задираю голову и смотрю вверх. Кружится голова: стена уходит в поднебесье. Сколько же надо времени, чтобы подняться на крышу? И есть ли там крыша, ведь с земли видна только половина башни, остальное — в тумане?!

Поправляю на плече плоскую цепь своего барабана. Иду вдоль стены. Стена разрисована граффити: здесь и неприличные слова, и вполне приличные рисунки. Большая черная надпись: «Синтетики — дурачье и скот». Интересно, кто такие синтетики и за что их здесь обзывают?

А потом я останавливаюсь как вкопанная. Рядом с яркой глупой картинкой — смеющаяся рожа с выпяченными красными губами — я вижу что-то очень знакомое.

Рисунок наполовину стерся, как и у меня на барабане. Но узнать его можно.

Это изображение волка.

Теперь я знаю, где искать. Во всяком случае, кажется, что знаю.

В башне только один подъезд. Лестница грязная. Пахнет тяжело: похоже, в лифтовой шахте устроена выгребная яма. Не хотела бы я здесь жить.

С пятого спускается старушка лет сорока пяти. Подозрительно на меня глядит. Спрашивает, к кому.

— К Оле, — говорю, не моргнув глазом. — С десятого этажа.

Она секунду раздумывает.

— Там на десятом такие хулиганы живут, — говорит с осуждением. — Ну ладно, иди.

Спасибо, разрешила, думаю я с усмешкой. Иду дальше. Барабан покачивается на боку, потихоньку начинает звучать. Его ритм — та-та-та... та-ра-та... — придает мне сил.

На одном дыхании поднимаюсь до двадцатого. Здесь останавливаюсь, удивленная. На серой стенке копотью написано: «Здесь конец человеческого жилья. Если ты не нашел, кого надо, — иди обратно. Вниз». Надпись старая, но совсем недавно ее обновляли. Интересно, кому понадобилось переводить топливо (свечку? лучину?) на бесполезные слова? Или они не бесполезные?

Поднимаюсь еще на один этаж — и снова останавливаюсь. Лестницы нет: вместо нее зияет пролом. Не хватает целого пролета. И что теперь?

Перил тоже нет. Гладкие стены справа и слева. Умела бы я летать... но я не умею. Как посоветовал неведомый доброжелатель, «иди обратно, вниз».

Но мне надо вверх!

Спускаюсь на ближайшую лестничную площадку. Здесь окно без рамы и стекол. Сажусь на подоконник и осторожно выглядываю наружу.

Ну и вид! Весь город как на ладони. Тяжело дышать — воздух очень влажный, и ветер швыряет в лицо обрывки тумана, липкого, будто кисель. Я внимательно оглядываюсь вокруг...

Вот она. Лестница. Старая, ржавая. Тянется вдоль стены снизу вверх всего в метре от моего окна.

И там, тремя этажами выше, есть еще одно окно.

Ничего страшного, говорю я себе. Это просто пожарная лестница. Если бы она стояла внизу, на асфальте, я бы прыгала по ней, как динамо-белка. На асфальте или в облаках — разницы нет!

Стараясь не жмуриться, взбираюсь на подоконник. Завывает ветер. Ладони делаются клейкими, будто пластырь. Закрываю глаза... Заставляю себя открыть их. Выпрямляюсь в полный рост. Вот лестница — один прыжок, только один прыжок!

Задерживаю дыхание — и прыгаю. Ура, это лестница, я за нее держусь! Она шершавая, холодная, но вполне...

Под ногами откалывается целый пласт ржавчины. Подошвы соскальзывают. Я повисаю на руках. Ветер играет моим барабаном.

Подтягиваюсь. Нахожу ногами опору. Замираю, чтобы перевести дыхание.

Подо мной — город. Наверху — что-то, что мне очень нужно. А значит, мне надо наверх.

На пятидесятом этаже ненадолго сажусь передохнуть. И впервые думаю с беспокойством: а когда я вернусь назад? За час до заката мне надо быть на проходной, иначе — все, лишусь работы!

Нечего расслаиваться. Иду дальше.

Лестница тянется все вверх и вверх. Снаружи вертятся ветряки: то затевают свет из окон, то снова его открывают. Между тридцатым и сороковым их было так много, что они едва не задевали друг друга лопастями. Но чем выше я поднимаюсь, тем меньше вертушек за окнами. Выше девяностого этажа ветряки пропадают вовсе.

Башня пуста: здесь много лет никто не живет. Много десятилетий. Дует ветер из разбитых окон, играет пылью и песком на ступеньках. Заносит следы.

Это очень удобно, думаю я. Если бы я могла получать свою подзарядку прямо здесь, на вершине... И если бы не надо было каждый день ходить на работу... И если бы не надо было есть и пить...

Вытаскиваю флягу из-за пазухи, делаю большой глоток. Сколько этажей в этом небоскребе? Двести, триста — или тысяча?!

...Так вот: если бы все эти «если бы» были правдой, а не дурацкими мечтами, я поселилась бы здесь, наверху, со своим барабаном. Иногда спускалась бы вниз — развеяться. А ветер заметал бы мои следы, и полицейские бы меня не...

Станный звук за спиной. Я резко оборачиваюсь. На лестничной площадке подо мной стоит человек. Откуда он взялся? Неужели влетел в окно?! Незнакомцу лет двадцать пять, из одежды на нем только черные штаны и множество ремней, тонких и толстых, на поясе, на торсе, на ногах. А под ремнями он весь покрыт буграми мускулов и жгутами вен. И шрамами. Он смотрит на меня и ухмыляется, я невольно отступаю, чтобы бежать наверх...

В окно над моей головой влетает — да-да, влетает! — еще один. Постарше. Не такой жилистый. В первую минуту мне кажется, что у него за спиной крылья. Потом он выпускает из рук узловатую веревку, и она уползает в окно, как черный змеиный язык.

Теперь я стою между ними, и выхода нет.

— Ты высоко забралась, синтетичка, — говорит тот, что появился первым, в ремнях и шрамах. — Прыгнула бы с двадцатого. Или у тебя мания величия?

— Я не синтетичка, — говорю я.

Он хохочет:



— Ну да, конечно. Ты маньячка. Хочешь размазаться по асфальту так эффектно, чтобы дворники неделю соскребывали. Твои кишки, в смысле. Давай, помогу!

Он делает приглашающий жест в направлении окна. Я поднимаюсь на ступеньку вверх.

— Что ты тут делаешь? — глухо говорит второй.

Хороший вопрос. Я ищу... неведомо что. Неведомо зачем. Но как им это объяснить?!

— Захотелось полетать, — мускулистый ухмыляется.

— Нет.

— Тогда зачем ты сюда пришла?

— Мне было нужно подняться наверх. — Я смотрю на старшего с надеждой. Мне кажется, он здесь главный. И еще мне кажется, что он способен меня понять. — Потому что мне сказали. Подняться наверх.

— Это была ошибка, — говорит старший, помолчав. — Здесь, наверху, только птицы... и самоубийцы. Алекс, выпускай ее.

При слове «выпускай» у меня появляется надежда. Но только на долю секунды. Потому что я очень скоро понимаю, как они собираются меня выпустить.

Мускулистый Алекс одним прыжком добирается до меня. Я не успеваю вытащить стилет. Мой противник не только сильнее — он и дерется лучше. Очень скоро мои локти оказываются завернутыми за спину. Алекс тащит меня к окну.

— Погодите!

Никто меня не слушает. Мой барабан срывается с плеча и катится по лестнице.

Алекс швыряет меня спиной на подоконник. Моя голова свешивается вниз, в бездну. Я цепляюсь за жизнь локтями, коленями, каблуками, я зубами готова вцепиться в бетонную балку...

— Погоди, — слышу сквозь ветер и стук крови в ушах.

Я уже лечу. Алекс подхватывает меня и втаскивает обратно на подоконник. Я задыхаюсь.

— А ну, дай ее сюда на минутку.

Я сижу на полу. Внутри. На пыльном бетонном перекрытии. Передо мной, двумя ступеньками выше, стоит старший из двух моих убийц.

— Откуда это у тебя? — В руках у него барабан с изображением волка.

— Подарил... Римус, — мне трудно говорить. — Велел... идти... наверх.

Мускулистый Алекс и его старший товарищ мрачно переглядываются.

— Старик выжил из ума, — мрачно говорит Алекс. — Рехнулся, Сенильный психоз.

Старший молчит. И я молчу. Меня бьет крупная дрожь.

— Что еще он тебе говорил? — требовательно спрашивает старший.

— Ничего. Просто... наверх. А когда я увидела картинку... на стене...

И снова становится тихо. Только ветер гудит, пересыпает пыль, замечает наши следы на ступеньках.

— Ты синтетик? — спрашивает старший.

— Я не знаю, что это такое.

— Ты получаешь свою дозу, как все? Через разъем? В так называемый энергетический час?

Он говорит таким тоном, будто это неприличная болезнь. Я сглатываю слюну.

— Да. Как все.

— Значит, ты синтетик, — вступает Алекс. — Значит, ты подключена. Получишь свой пакет — будешь жить. Не получишь — загнешься. Ясно?

Я давно это знаю.

— Место синтетиков — внизу, — медленно говорит старший. — Никогда больше не поднимайся выше двадцатого этажа. Или вылетишь в окошко. Понятно?

Понятнее некуда.

Я едва успеваю добежать до проходной к назначенному часу. Пристраиваюсь в хвост очереди. В страшном темпе надеваю робу, очки, наушники. Бегу на свое место — одна из последних. Никола смотрит на меня круглыми глазами:

— Я боялся, что ты опоздаешь!

У меня даже на раздражение не остается сил.

Я страшно устала. Потянула плечо. Мышцы ноют, при резких движениях болит сустав. Но сильнее боли и усталости — обида. Да кто они такие? Как они смеют мне с таким презрением цедить — «место синтетиков внизу»?!

В наушниках начинается отсчет. Я с огромным трудом поднимаюсь. Расправляю плечи. В последний момент догадываюсь проверить застежку робы: она ушла вправо на добрый сантиметр. Едва успеваю вернуть ее на место.

Идет проверка: белый, красный, синий, желтый. Я разворачиваюсь, выполняя команды. Я пиксель, в конце концов! Я должна сосредоточиться на работе! Я пиксель. Крохотная точка на большом экране. Я очень хороший пиксель, за это мне дают девяносто восемь энерго каждую полночь.

Я синтетик... Ну и что?!

Выходит солнце. Экран отражается в низких облаках. Весь город сейчас на меня смотрит. Пусть они не видят меня — но ведь я часть экрана, большого, яркого, я дарю людям радость!

Ритм в наушниках не дает ни секунды передышки. Он не дарит силы — он выматывает. Я еще слушаю его, еще танцую... Сколько времени прошло: семь минут, десять? Что, всего три минуты?!

Кра-си-че-бел... Жел-кра-жел... Жел-кра-кра-жел...

«Энергетическое шоу — для вас, горожане!»

«Износившаяся одежда пригодна в качестве ветоши!»

«Шляпы с подогревом — на энергии ветра!»

Я синтетик. Я синтетик. Если я плохо сегодня отработаю, мне не дадут пакета. «Многие не доживают... Энергии не хватает на всех». Кто это сказал?!

Я сбиваюсь. Успеваю увидеть взгляд Николы, полный ужаса. Его страх передается мне, я пытаюсь выровняться — и сбиваюсь еще раз. И еще.

На большом экране крохотная точка вдруг выпадает из общей картинки. В самом центре. Мне очень хочется все бросить и повалиться на платформу без сил. Но я держусь. Последние минуты... «...для вас, горожане!»

Я падаю только тогда, когда солнце уходит и в наушниках становится тихо.

Оказывается, что меня оштрафовали всего лишь на один пакет. И не уволили совсем, а просто перевели на окраину, на место 1001/005. Я очень ценный работник, говорится в сообщении. Если на новом месте покажу себя с лучшей стороны, мой статус может быть восстановлен.

Ну вот, все кончилось хорошо. У меня есть запаска. А завтра я подготовлюсь, хорошо отработаю, и мне дадут энергопакет...

Я опять вспоминаю этих, с башни, которые умеют летать. Которые синтетиков и за людей не считают. Сами-то они кто? И кто придумал это гадкое слово — «синтетик»?!

Сажусь на койку. Кладу на колени барабан. Потихоньку начинаю настукивать ритм; барабан откликается. Это не сочувствие и ни в коем случае не жалость — это сдержанная, настороженная сила.

Теперь я думаю о Еве. О том, что с ней все-таки случилось. Она была синтетик, как и я. Игнат синтетик. Белобрысый Никола синтетик. Даже Длинный — синтетик тоже. Римус...

Эти, летающие, знакомы с Римусом. Если бы не страх опоздать на шоу, если бы не все, что потом случилось, я бы не забыла о такой важной вещи!

Барабан со мной согласен. Он выдает длинный рокочущий раскат — будто перед грозой.

У Римуса покупатель. Впервые вижу, чтобы у него что-то покупали. Полная дама, бритая под ноль, покупает игрушечную барабанную установку маленькому мальчику. Я давно уже не видела в городе детей, а в нашем районе их просто нет. Мальчик представляется мне чем-то вроде зверька. Я разглядываю его, но близко подойти не решаюсь.

Наконец они с матерью уходят и я могу поговорить с Римусом. Он внимательно выслушивает все, что я ему — сбивчиво, с обидой, с возмущением — рассказываю.

— Как ты мог меня туда отправить! Они же меня чуть в окно не выкинули!

— Они тебя не признали, — говорит Римус, и в его голосе звучит тревога. — Почему же... А мне казалось, что ты такая же дикая, как они.

— Что?!

Римус кивает.

— Они *дикие*. Так их зовут, так они сами себя называют. И ты — Дикая... я был уверен, что ты тоже.

— Я...

— Но они тебя не признали. Значит... я ошибся, прости.

Он на глазах делается старым-старым. Дряхлым. Едва живым.

— Не переживай так. — Мне становится неловко. Вот же — человек мне барабан подарил, а я ему неприятности устраиваю.

— Дикая энергия, — он меня не слушает, — единственное топливо для людей. Единственное *настоящее* топливо. Жучки эти, дилеры, ею не торгуют.

Я смущенно верчу в руках свой барабан. Изображение волка кувyrкается.

— Несчастные синтетики живут на подачках, — тихо говорит Римус. — Они не в состоянии сами себя подзарядить. Но *дикое* сердце рождает *дикую* энергию. Я надеялся, твое тоже.

— Я синтетик, — говорю горько. — Счастье еще, что они, эти дикие, вовремя узнали твой барабан.

— Это не мой барабан, — говорит он рассеянно. — Ты синтетик... Как это грустно.

— Но почему?

Он тяжело качает головой:

— Не спрашивай... Если ты синтетик, лучше не морочь себе голову. Иди... скоро энергетический час...

Я поднимаюсь с тамтама, на котором сидела все это время, и бреду к выходу. Не оглядываясь. Не прощаясь. Берусь за ручку двери...

— Погоди!

Слово звучит, как удар барабана. Я оборачиваюсь.

— Послушай, — говорит Римус. — А может, это они ошиблись? Они, а не я? К ним так долго не поднимались новые дикие, что они забыли, как выглядят новички!

— Второй раз я к ним не пойду.

Римус трет ладони.

— Послушай... Есть только один способ проверить, ты дикая или синтетик. И не надо к ним идти, надо только... — У него странно блестят глаза.

Он ждет от меня этого вопроса, ну что же, я его задам.

— Какой способ?

Он рассказывает.

— Нет, — говорю я быстро. — Я знаю, как от этого подышают. Видела. На себе пробовать не хочу.

Римус опускает плечи.

— Тогда прощай, — говорит тускло. — Всего хорошего.

До энергочаса остается не так много времени. Мне бы шагать побыстрее, но все труды и беды этого дня наваливаются на плечи, и я едва ногами перебираю. Так и опоздать недолго.

Я вспоминаю Еву. Как ей было плохо, бедняге, в конце каждого суток, накануне энергочаса. Она говорила: «Я тебе завидую...» Чему завидовать? Вот, плетусь теперь, как она...

Трясу головой, заставляю себя отбросить дурацкие мысли. Все хорошо. Сейчас приду домой, подключусь, и станет легче. Совсем хорошо. Завтра отправлюсь на работу, встану на платформу 1001/005 и буду стараться изо всех сил. И меня переведут на 1001/006. Глядишь,

через полгодика вернусь опять в центр экрана. Главное — забыть все это. Не лазать по брошенным башням. Не думать о Еве. Не...

Справа, из подворотни, на меня внимательно глядят. Я резко поворачиваю голову. Успеваю увидеть спину — человек уходит в темноту. Сзади на плаще у него нашит отражатель — какой-то знак... Кажется, круг...

Не раздумывая, кидаюсь за ним в подворотню. Откуда и силы взялись. Мне в голову не приходит, что там, в темноте, он легко может меня одолеть... Но подворотня пуста. Незнакомец будто в люк провалился.

Возвращаюсь на улицу. Людей все меньше: все спешат по домам, торопятся к началу энергетического часа. Я прибавляю шаг. Почти бегом влетаю к себе в подъезд, ногой открываю дверь блока. Надеваю манжету: тонкие иголки впиваются в тело. Совмещаю разъемы...

На городской башне бьют часы. Двенадцать раз. Зажмурив глаза, чувствую, как манжета сжимает руку. Как по каждой иголочке внутрь меня устремляется тепло, спокойствие, радость...

Медленно снимаю манжету.

На руке поверх локтя остался красноватый отпечаток — он исчезнет через пару часов. Если постараться, можно разглядеть в узоре точек буквы. А буквы складываются в слово.

«С.И.Н.Т.» написано у меня на руке.

Несколько дней я изо всех сил стараюсь превратиться в скромного, примерного синтетика.

Я хожу на работу. Я отдыхаю. После энергочаса выхожу на улицу, пью энерджи-дринк и веселюсь вместе со всеми. За хорошую работу меня передвигают на платформу 1001/007 — на два крохотных шага ближе к центру экрана.

А когда засыпаю — под утро, — снятся кошмары. Меня выбрасывают со сто второго этажа, я падаю, пытаюсь взлететь — и никак не могу. Встречный воздушный поток ломает мне руки, крылья...

Я просыпаюсь от боли. Пальцы сведены судорогой.

Долго лежу без сна. Небо светлеет. Я вспоминаю слова Римуса: «Снаружи это просто ночной клуб, для отвода глаз. По закону, клубы открыты с нуля часов пяти минут, но все самое главное происходит раньше... Они не ждут энергочаса. Они не подключаются к разъемам. Они добывают энергию сами. Это называется диким ритуалом. Если ты такая же, как они, сила ритуала достанется тебе тоже».

А если нет?!

Хочу ли я быть, как покрытый шрамами Алекс? Как его старший товарищ, хладнокровно велевший меня убить?

Хочу ли я быть синтетиком?

За окном просыпается город. Стучит сапогами утренний патруль. Шуршит метелка дворника, поскрипывают педали.

Ну, допустим, приду я в этот клуб до полуночи. Увижу энергетический ритуал... допустим, это красиво и стильно. Но ни капли энергии мне не достанется, потому что я синтетик и синтетиком умру! Очень скоро умру, между прочим. Пропущу подключение... не получу своего пакета... до следующего энергочаса могу и не дотянуть. Не хватит сил!

Я валяюсь в постели до полудня. Потом с трудом встаю. С трудом обедаю. Заставляю себя размяться. Вот и день прошел — пора на работу...

В толпе перед проходной я встречаю белобрысого Николу. Он страшно радуется. Чуть ли не кидается целоваться.

— Где ты пропала?! Я тебя ишу, ишу... Всех пикселей о тебе расспрашиваю...

— Оштрафовали меня.

— Да я знаю... Слушай, пойдем погуляем сегодня после работы? Или лучше — после энергочаса? Как ты на это смотришь?

Он берет меня за руку. Улыбается. Смотрит в глаза. Он влюблен, и давно; с того первого момента, как я гаркнула на него с платформы: «Заблудился?!»

— Никола, — говорю я ни с того ни с сего. — А что бы ты ради меня сделал?  
Он теряется лишь на секунду.  
— На руках могу пройти от проходной до угла.  
— Нет, это не то. Скажи... если бы я попросила. Ты отдал бы мне... свой энергопакет?  
Эффект поразительный: его будто ударили по лицу. Он краснеет. Потом бледнеет.  
Выпускает мою руку.  
— У меня нет запаски, — говорит деревянным голосом.  
— А если бы была?  
Он делает шаг назад. Отводит глаза.  
— «Если бы» не бывает. Запаска или есть, или ее нет. У меня нет.  
— А маме своей ты бы отдал пакет? Хоть полпакета? Хоть двадцать энерго?  
— У меня нет мамы! Я в воспитательном доме вырос.  
— Ну... другу?  
— Не понимаю, о чем ты, — бормочет он. И через секунду ныряет в толпу, якобы увидев знакомого.  
Я смотрю ему вслед.

После работы навожу порядок у себя в комнате. Выбрасываю из тайника проводки и пластмасски от разобранных наушников. Отношу инструменты в кладовку, в общий ящик. Мою пол. Убираю на столе. Тщательно перестилаю койку. Все эти действия помогают сосредоточиться.

Это будет сегодня. Скорее всего, я уже не вернусь.

Выхожу из дома за полтора часа до полуночи. Клуб, о котором говорил Римус, находится все там же — в районе небоскребов, в Сломанной Башне. Она обрушилась, когда мне и пяти лет не было, но я все-таки помню, какой тогда поднялся переполох.

Там, где упала башня, с тех пор склады и свалки. А кое-где — завалы бетона и стекла, кирпичей, арматуры. Все это так и не смогли разобрать.

Остатки башни торчат, как гнилой зуб. Она переломилась как раз на двадцатом этаже. Говорят, там был взрыв.

В Сломанной Башне живут люди. Плохо живут: воды нет совсем, окна заколочены жестью, ветряки не работают. А сверху, на бывшем двадцатом этаже, — ночной клуб. Называется, конечно же, «Сорванная крыша».

Опять карабкаться по лестнице! Невысоко. Выше двадцатого мне запретили подниматься — что же, будем считать, что я послушала совета... На лестнице темно. Достаяю из кармана старенький динамо-фонарь, раскручиваю над головой. Лампочка бледно светится, я вижу ступеньки, заваленные битым кирпичом. В самом центре — аккуратная тропинка. Здесь ходят, и ходят часто.

На одиннадцатом этаже меня обгоняет компания незнакомых ребят и девушек. Я прижимаюсь к стене, чтобы дать им дорогу. Они исподтишка меня разглядывают. Вид у них не воинственный — они сами растеряны и немного трусят, но хорохорятся друг перед другом.

Их голоса и нервный смех удаляются вверх по лестнице. Я иду дальше. Через минуту меня обгоняет влюбленная парочка. Они идут и ссорятся на ходу. Девушка шепотом выкрикивает парню в лицо: «Тебе что, жить надоело?»

Проходит несколько минут, и я слышу, как влюбленные идут обратно. Пробегают мимо, даже не взглянув на меня. Стук их подошв затихает внизу...

— Стой.

Из темноты навстречу шагает человек. Лицо закрыто темным шарфом. Мне в глаза упирается луч динамо-фонаря — из тех, что работают на эспандере.

— Зачем ты пришла?

Вспоминаю, что мне говорил Римус.

— За дикой энергией.

— Ты синтетик. Иди вниз.

Его рука ритмично сжимает кольцо эспандера. Фонарь горит толчками — в такт биению моего сердца.

— Кто ты такой, чтобы меня прогонять?

— Опомнись, дура! Энергочас на носу! Ты сдохнешь без своего пакета!

Он повторяет то же самое, что пять минут назад говорила я сама себе. В животе у меня холодно и пусто.

— Не сдохну.

Он молчит. Потом отводит фонарь.

— Ну, смотри, сама захотела...

И пропускает меня. Я продолжаю подъем.

До энергочаса остается минут двадцать, не больше. При всем желании мне уже не добежать обратно, не подключиться вовремя. Выбор сделан...

Лестница заканчивается. Я чувствую ветер. Оглядываюсь; темный город лежит внизу. Еле заметны очертания улиц: где-то светят динамо-фонари, где-то мерцают отражатели. У подножия Сломанной Башни — полная тьма. Над головой — совершенно черное небо.

Снаружи башню опоясывает балкон, вряд ли он был здесь до взрыва, скорее всего, его построили уже потом. Он ажурный, спаянный из арматурных прутьев. Перил нет. Но и другого пути нет: я ступаю на балкон и иду вдоль стены.

Справа — бездна. Слева — стена. Через каждый метр на ней закреплены будто широкие барабаны из железа и стекла. Впервые вижу такое. Окна? Украшения? Какие мощные линзы...

Только через несколько минут до меня доходит: ведь это тоже фонари! Древние прожекторы! Это сколько же энергии надо, чтобы заставить светиться такую блямбу — хотя бы одну! И сколько от нее должно быть света?! Да уж, владельцы клуба, или кто они там, любят пустить пыль в глаза. Где они набрали столько ископаемой рухляди? Без энергии прожекторы мертвы... Еще бы скелет динозавра на крышу притащили!

Эти проклятые прожекторы очень мешают идти. Каждый приходится обходить с осторожностью: неохота оступиться на скользкой арматуре, а перил-то нет! Я вздыхаю с облегчением, когда путь вдоль стены заканчивается и наконец вхожу в клуб.

Клуб «Сорванная крыша» очень соответствует своему названию. Как сломанные зубы, торчат обломки стен — кое-где на них приспособлены фонари. Нет рамки у входа. Нет даже охранника. Входи, кто хочет. Вернее, кто осмелится.

Я вхожу.

Да здесь полно народу!

Пол по краям бетонный, в центре деревянный. Круг, нарисованный белой краской. За ним — железная конструкция. Словно клетка. Что-то очень похожее я видела совсем недавно... Ну конечно! Такая же клетка с барабанами стоит в магазине Римуса!

Барабаны лежат в кругу — огромные, мне по пояс, и поменьше, с железными деками. Никогда таких не видела. На каждом барабане нарисован круг и еще какие-то символы. Пытаюсь вспомнить, что бы это значило.

Кто-то мне рассказывал, что круг означает Солнце?

Отступаю, даю пройти вновь прибывшим. Народу все больше. Все говорят вполголоса.

Справа — стойка барменов. Кто-то негромко переговаривается. Смеется. Позвякивает стеклом. Потом в полутьме вдруг скачет молния — настоящая, коленчатая, синяя. На мгновение освещает бутылки на стойке, подвешенные вниз головой бокалы, склоненные лица...

— Что тебе сегодня смешать? — негромко спрашивает кто-то.

— Циклон, — отвечает хрипловатый голос.

На стойку водружается бутылка: жидкость в ней светится, поверхность ходит крохотными смерчами. Я таращу глаза. Делаю шаг к стойке — в этот момент налетает ветер. За спиной бухают о пол чьи-то тяжелые подошвы. Я уже слышала этот звук.

Оборачиваюсь — и успеваю увидеть, как приземляется второй.

Я готова руку отдать на отсечение: они не пробирались вдоль стены по арматурным прутьям. Они явились прямо с темного неба. Те самые? В полумраке не разглядеть. За плечами

у них не то плащи, не то крылья. Громоздкие фигуры что-то делают, склонившись на краю крыши, тихо звенит металл. Потом выпрямляются...

Что это все-таки у них за спиной?

Забившись в темный угол, я смотрю, как они по-хозяйски входят в клуб. Бармены что-то им смешивают. Очень быстро, потому что до полуночи остаются считанные минуты.

Потом они оба подпрыгивают — и исчезают вверх. Я готова поверить, что они улетели. И только секунду спустя ухитряюсь разглядеть второй ярус над нашими головами. Там развешены кресла на цепях, там с большим комфортом располагается публика. И летающие незнакомцы в том числе. Они сидят, кутаясь в плащи... или все-таки в крылья?

Я снова оглядываюсь. Что они здесь делают накануне энергетического часа?! Кто-то боится, я вижу. Кто-то азартно ждет полуночи. Кто-то неспешно делает свое дело... Бармены, например. Я снова вижу, как проскакивает молния в полумраке.

Внизу, на городской башне, начинают бить часы. Бом-м... От этого звука у меня мороз продирает по коже: за много лет я привыкла слушать бой часов перед разъемом, с манжетой на руке. И вдруг осознаю — глубоко, болезненно — какая я дура. Идиотка. Самоубийца... Зачем?!

Бом-м, торжественно и гулко отзывается барабан.

Я оглядываюсь. В центре, в кругу, собралась толпа — не протолкнуться. В клетке — барабанщик. Барабан гудит, отвечая городским часам. Будто разговаривая с ними. Споря.

С каждым ударом напряжение становится сильнее. Негромко, жестко, по нарастающей вступают остальные барабаны. Каждый, кто сейчас в клубе, кто слышит эту полуночную переключку, отбивает свои доли, сильные и слабые. Сотни ног бьют о пол, звук все нарастает...

И рождается *ритм* — в тот самый момент, когда городские часы бьют в последний раз.

Бом-м. Энергетический час. Весь город сейчас вздохнул с облегчением, чувствуя теплое покалывание манжеты. Весь город — но не я...

Я — пока только зритель. Я стою, я слушаю, прижимая к груди свой барабан с изображением волка. Волосы шевелятся от этого звука. От этого ритма. От этого единения.

— Мы — энергия.

Кажется, барабанщик не размыкает губ, но я слышу эти слова.

— Мы — энергия!

Пол гудит под ударами десятков ног. Руки в железных перчатках бьют в стальные деки барабанов. Наверху, на втором ярусе, завывают мегафоны. В общий грохот вливается звук сирены, но не такой, как у полицейских. От этого воя холодеет в животе.

— Иди со мной!

Над барной стойкой взлетает сноп искр — я вижу бармена, у него в руках спицы с металлическими шариками на концах, он играет на своем стекле. В бутылках скачут, как рыбки, синие молнии.

— Мы — энергия! Мы!

В душе у меня борьба.

Синтетик страшно боится смерти. Бьется в истерике. Ну где ваша энергия? Где?! Это просто шум и грохот, а не энергия! Пиксель во мне недоумевает: непривычный ритм. Бессмысленный. За ним не стоят цветовые последовательности. А я слушаю и все пытаюсь понять... уловить... ведь что-то в их ритме есть, что-то очень настоящее, правильное! И вместе с тем...

Ритм нарастает, нарастает, нарастает — и у меня в голове будто все лампочки включаются. Я опускаю руки на свой барабан. Меня никто не слышит в этом грохоте — но я ведь себя слышу! Чувствую вибрацию деки с изображением волка!

Грохочет пол. Раскачиваются кресла над головой: публика сверху свистит и выкрикивает в рупоры. Сама не зная, зачем и почему, проталкиваюсь вперед, вскакиваю на самый большой, самый гулкий барабан — и оказываюсь в белом кругу. Лицом к лицу с барабанщиком в клетке.

Он смотрит мне в глаза. Не пойму, что в этом взгляде: удивление моей дерзостью? Одобрение? Вызов?

Мне кажется, что все затихло. На секунду. Что я зависла в полном беззвучии...

Мгновение — налетает ветер. И налетает звук.

— Мы — энергия! — взрываются барабаны.

«Мы — энергия», вторит барабан под моими ногами. Я танцую, подошвами выбивая дробь, и одновременно веду тему на маленьком барабане с волком. Ритм, чуть замедлившись, нарастает снова, накатывает волной — но теперь веду я. Я задаю и темп, и ритм. Барабанщик на своей установке — вторит.

— Дикая энергия!

«Дикая! Дикая! Дикая!»

Тепло растекается по моему телу. Я переполнена ритмом, я ощущаю его каждым пальцем, грудью, коленом, я танцую каждой клеточкой. Мое тело — огонь, каждый удар по барабану рождает вспышку. Я танцую.

В глазах барабанщика — удивление. Бред это или нет, но мне кажется, что и его барабаны, один за другим, выбрасывают острые лучи света. Ритм снова накатывает, и...

Я вижу город с птичьего полета. Небо синее. И в зените — Солнце. Я вижу Сломанную Башню. Я вижу себя — на барабане. Но не ночью, а среди ясного дня.

Я вижу, как ползут, оплетая стены, виноградные лозы. Высокие горы... Темные провалы... На самой недостижимой вершине — Солнце запуталось в ветках, горит и не может подняться. Надо помочь ему... освободить... Я тянусь руками, Солнце у меня на ладонях, золотая тарелка, сияющий диск...

Я жмурю ослепленные глаза. Что это? Я поймала Солнце?!

Вокруг что-то происходит. Ритм схлынул. Верхний ярус раскачивается, грозя обрушиться мне на голову, скандирует, кричит, грохочет. Я вижу каждое звено на подвесных цепях, каждую заклепку на одежде верхних, их крылья... У них в самом деле крылья! Вокруг светло, как не бывает даже днем... Что это?!

Меня хватают за руку. От человека пахнет кожей, железом и потом. Я обалдело хлопаю глазами — это барабанщик!

Он потрясен еще больше моего. У него широченные зрачки. Он дышит, как загнанный. Показывает что-то жестами, тянет за собой, зовет. До меня вдруг доходит: он глухонемой!

Нет времени удивляться.

Он тянет меня к краю площадки. К обрыву. Я вижу наконец, что произошло, и у меня перехватывает дыхание.

Прожекторы. Они горят — все. В полную силу. Ярче солнца, когда оно вечером на двадцать минут заливают лучами городской холм. Если бы настоящее Солнце вернулось из-за горизонта и свалилось бы на стойку перед барменами «Сорванной крыши», это не произвело бы такого эффекта на посетителей клуба.

Они в экстазе. Они в шоке. Кто-то смеется. Кто-то молчит. И почти все смотрят на меня. Почему?

Барабанщик хватается за железную штуку, похожую на огромный ржавый велосипедный руль. Оглядывается на меня. Хочет, чтобы сделала то же самое? Этих штук много, они крепятся на обломках стен и, кажется, каким-то образом связаны с прожекторами...

Он поворачивает руль. Четыре прожектора на одном креплении поворачиваются то вправо, то влево. Встав на колени, заглядывая вниз, я вижу, как мечутся в темноте лучи. Как мечутся, захваченные врасплох, человеческие фигурки. Да уж, представляю, *что* теперь там творится!

Мы вместе управляем прожекторами. Люди с площадки приходят к нам на помощь. На барабанах снова кто-то играет, ритм нарастает. Глаза слезятся от света и от ветра, и никто не может упрекнуть меня, что я плачу от счастья. Лучи прожекторов подвластны ритму, они перекрещиваются, собираются в круг, разбегаются по улицам. Смотрят в чужие окна. Кому-то светят. Кого-то слепят...

— Стоять на месте! Энергетический контроль!

Дождались.

Черные фигуры ползут по балкону из арматуры, перекрывая прожекторы своими телами. От их бронекурток валит дым: прожекторы нагрелись. Но контролерам плевать: с такой броней можно спать в костре.



Их много. Очень много. Барабанщик пытается ослепить их прожектором, но на полицейских поляризующие очки: они видят в темноте, видят и на ярком свету.

Мне не страшно. Мне весело. Отличная получилась вечеринка. Живьем я, разумеется, не дамся. Улечу вниз в свободном полете, но и с собой прихвачу — сколько смогу. Пусть попробуют меня взять!

У входа в клуб — заварушка. Пошли в ход бутылки, цепи, арматурные прутья. В ответ трещат синие парализующие разряды. Растет гора неподвижных тел. Прожекторы все еще горят, но их свет тускнеет с каждой секундой. Пахнет паленой изоляцией. Кто-то срывается с края и летит вниз, вниз — не разобрать, полицейский это или кто-то из наших.

Умри, сражаясь! Я оглядываюсь в поисках какого-нибудь оружия...

И тут меня хватают сзади. Зажимают рот рукой в перчатке. Я даже вдохнуть не успеваю. Меня тащат к краю! Значит, не штраф и не тюрьма... Гады! Вот как со мной решили рассчитаться!

Я отбиваюсь, как могу. Бесполезно. Человек, захвативший меня, на секунду останавливается на краю стены — на самом краю. Я не выдерживаю, закрываю глаза.

— Время? — сдавленный хриплый голос.

— Раз... два... пошел.

Человек прыгает вниз, не выпуская меня из рук. Сам прыгает!

Мой рот свободен. Я могу дышать и орать. Нет, не могу — ветер забивает дыхание...

А потом невиданная сила вырывает меня из рук незнакомца. Почти вырывает, потому что он цепляется за меня, как мать за младенца. Мы уже не падаем. Нас плавно тащит в сторону — и вверх.

Мы летим?

Я открываю глаза. Ничего не вижу. Глаза так привыкли к свету, что в темноте слепы. Но мы точно поднимаемся вверх. Я слышу над головой хлопанье ткани... или это хлопанье крыльев?! Что со мной случилось, кто меня держит, куда несет?

— Осторожно, — слышу за спиной. — Я складываюсь.

Щелк!

Хлопанье крыльев обрывается. Полет снова переходит в падение. Я ору, выбрасываю вперед руки...

И не зря. Потому что подо мной вдруг оказывается твердый пол, а похититель всей массой валится на меня сверху.

Я вижу их лица, только когда небо наконец светлеет. Двоих я знаю: это мускулистый Алекс и его старший товарищ, которого зовут Маврикий-Стах («Можешь звать меня просто Мавр», — говорит он благосклонно). Третьего я вижу в первый раз. Его зовут Лифтер. Как мне со смехом объясняют, он — главный человек в Оверграунде.

Когда становится светло, они поднимают меня в гнездо. Это на двухсотом этаже, но карабкаться по лестнице не приходится. Алекс застегивает на мне сбрую — сложную вязь ремней на поясе, на бедрах, на плечах.

— Не давит?

— Немножко давит...

— Привыкнешь.

Они заставляют меня встать на край подоконника (окно выбито, конечно, внизу даже города не видно — облака). К специальному карабину крепят трос. Другой конец этого троса, пропущенного через систему блоков, оказывается, крепят к противовесу в лифтовой шахте.

— Ты только не бойся, да?

— А чего мне бояться?

Я не знаю, как себя с ними вести. Они меня чуть не убили. Они меня выхватили из-под носа у энергетической полиции и, ничего не объясняя, снова притащили к себе в башню. Кстати, как? Неужели на крыльях? И делают вид, что ничегошеньки не произошло!

— Ногами перебирай, отталкивайся от стены. Смотри, чтобы ветром не унесло в сторону. Ветер в этом деле — главная опасность... Ну, готова? Лифтер! На счет три — отпускай!

Раз. Два. Три. Рывок.

Трос тянет меня вверх так быстро, что мелькают этажи перед глазами. Перебирай ногами? Как бы не так! Я еле-еле успеваю оттолкнуться от стены, когда она норовит приблизиться вплотную. Ветром сносит влево — перед лицом то и дело оказывается окно вместо стены... Вот зацеплюсь за оконный переплет, трос дернет вверх, голова оторвется!

Мое движение замедляется. Я зависаю на тросе, как паук на паутинке, перед чьей-то балконной дверью. Балкона нет — дверь выходит в пустоту. На двери табличка «Гнездо Перепелки». И еще одна: «Добро пожаловать. Вытирайте ноги». И молоточек на цепи, ну ничего себе!

Я не дотягиваюсь до молоточка. Стучу как придется — каблуком. Это невежливо, но что мне делать?!

Дверь открывается. На пороге, ведущем никуда, — женщина лет тридцати. Обыкновенная женщина.

— Привет, — говорит, как ни в чем не бывало. — Ты дикая?

И протягивает руку.

Ее зовут Перепелка. Она жена Маврикия-Стаха... то есть Мавра. Всего в гнезде живут то ли пятнадцать человек, то ли восемнадцать. Подсчитать сложно, потому что «эти трое вечно по верхам шастают».

Перепелка никогда не спускается на землю. Так и живет в гнезде. Готовит еду, чинит ременную сбрую. Чеканит украшения из медной проволоки. И еще — у нее дети.

Настоящие дети! Мальчик и девочка. Десять лет и семь. Когда Перепелка видит, как я теряюсь (и немножко пугаюсь) при виде детей, она хохочет во все горло. Но глаза невеселые.

— У нас внизу очень мало детей, — говорю я, оправдываясь.

— Понимаю. — Она вздыхает. — Своих родителей помнишь?

— Смутно.

— Вот так и все... Никому не нужны родители, никому не нужны дети. Кто будет вместо нас через двадцать лет? А через сто лет?

Мальчик и девочка играют на продавленном диване: из ниток — сеть, из древних желтых таблеток — блоки. На игрушечных тросах покачиваются фигурки проволочных кукол.

— А что с ними будет, когда они вырастут? — вырывается у меня.

Перепелка смотрит строго:

— Зависит от нас...

Я помогаю ей приготовить обед. Вода — в огромном железном баке. Как им удалось поднять на такую высоту такую прорву воды?!

— Это все Лифтер... Его система. В других гнездах живут скромнее.

— А есть другие гнезда?

— Ты что, из люка выпала? Конечно, есть. С некоторыми мы дружим, с другими не водимся. Третьим и по зубам дадим. Если сунутся. Крокодилам, например.

— Крокодилам?!

— Гнездо крокодила. Так они себя называют.

— А что такое крокодил?

— Точно не известно, но, говорят, древняя хищная птица.

У меня язык чешется расспрашивать.

— А Лифтер... что у него за система?

— Ой, он умница. Лифтовые шахты в этом доме широкие, лифтов было много. Тросы стальные, и до сих пор не проржавели. Он систему противовесов отладил, тормозные колодки, блоки, а главное — наладил подключение к тому большому ветряку, что на сороковом этаже. Так что у нас и свет по ночам, и лифт ездит. Правда, он снаружи ездит, это не очень удобно, но мы привыкли...

Заканчиваем накрывать на стол, когда в гнезде появляются Мавр, Алекс, Лифтер и — к моему восторгу — глухонемой барабанщик из клуба «Сорванная крыша». Его зовут Лешка.

Верхняя часть башни почти полностью разрушилась. Осели перегородки между этажами. Развалились внутренние стены — кроме несущих конструкций. Во многих местах не пройдешь без троса, страховочного пояса и карабина. Обитатели гнезда давно с этим свыклись: они ходят по воздуху, среди натянутых тросов, так же легко и бездумно, как я по лестнице.

Но зато здесь тихо и безопасно. Случайный человек ни за что не поднимется так высоко — без лифта. А для полицейских существует целая система ловушек. Контролеры ломились уже дважды — и отступали. Потери слишком велики. Списали на несчастные случаи.

Правда, досаждают самоубийцы. Почему-то многие синтетики, решив покончить с собой, забираются на башню. И лезут как можно выше — будто оттягивая момент расставания с жизнью. Самоубийц и Мавр, и Алекс презирают всей силой презрения.

— Мокрицы. У нас система оповещения — мы всегда знаем, что кто-то залез выше восьмидесятого. Спустишься, возьмешь его, начнешь расспрашивать, чего не живется. Глазками бегают: силы нет... надоело все... скучно... страшно... Инфантилизм махровый. Истероиды ювенильные. Ну, за чем пришел — то и получи. А наше гнездо не тревожь. Мало ли?

Перепелка укладывает детей спать. В гнезде непривычная тишина: днем тут шумно. Особенно с тех пор, как мальчик смастерил себе — по моему примеру — барабан.

Мы сидим за столом с Алексом и Лешкой. Лешка читает рассказ Алекса по губам. Кивает, соглашаясь. Его пальцы в непрерывном движении: неслышно выстукивают что-то на краю стола.

— Клуб надо восстанавливать, — говорит Алекс. — А то у меня депрессия намечается.

Мускулистый, покрытый шрамами Алекс обожает читать книги по психиатрии. У него под крышей башни целая библиотека.

— У полицейских энергочас в одиннадцать тридцать, в двенадцать они уже на посту. — Мавр хищно ухмыляется. — Ничего. Они у нас попрыгают... Да? — Он смотрит на меня. Его глаза, всегда жесткие, теплеют.

Мне несладко пришлось в первые дни после той памятной вечеринки. Не было сил. Казалось, все, умираю без энергии...

И Мавр, и Алекс, и Лифтер, и Перепелка, и Лешка сидели со мной целыми днями. Ни на секунду не оставляли одну.

— Ты — синтетик?! — кричал Алекс, страшно вращая налитыми кровью глазами. — Посмотри, что ты сделала! Это ведь твоя работа, твой свет, ты нас всех зажгла, понимаешь? В тебе больше энергии, чем во всех нас, вместе взятых! Только *поверь в себя!*

Но больше всех в те дни мне помог глухонемой Лешка. Он садился напротив, и мы беседовали, передавая друг другу барабан; оказывается, ритмом можно сказать то, чего словами не передашь.

От него я узнала, что никогда раньше прожекторы на Сломанной Башне не светили так ярко. Они, бывало, чуть-чуть зажигались, когда энергетический ритуал проходил особенно удачно. Никто не знал и не мог предположить, что эти старые полуживые прожекторы способны светить с такой силой.

Он, Лешка, сразу понял, что я *могу*. Как только я впрыгнула на барабан, и мы встретились глазами. И начался наш разговор... Вот как сейчас.

Лешка не слышит — ничего. Но он очень хорошо чувствует вибрацию. Всем телом. Всей кожей чувствует ритм. Поэтому стал барабанщиком.

Я провожу с Лешкой много часов. С ним легко. Он понимает и подхватывает ритм. Он удивительный собеседник.

Сложнее с Маврикием-Стахом. Он вообще сложный человек, по-моему, слишком жестокий. Но ко мне у него особое отношение.

— Мавр, — спрашиваю однажды, — если человек решился отказаться от энергочаса...

— Синтетик.

— Хорошо. Если синтетик решился отказаться от энергочаса и пришел в клуб к двенадцати... Это значит, что он больше не синтетик?

— Два варианта. Либо он дикий. Либо он труп.

— Это значит... не все способны подзарядиться от ритуала?!

Он вздыхает.

— Не так все просто, девочка. Ритуал сам по себе никому не дает энергии. Ритуал показывает, можешь ты сам себя обеспечить топливом или нет. Можешь — становишься диким. Не можешь... Ну, как повезет. Некоторые успевают смотаться к дилеру. Некоторые — нет.

— Но прожекторы...

— Да. В этот раз энергия хлестанула через край... благодаря тебе. Настоящая энергия.

И Мавр рассказывает мне об энергетическом ритуале. Оказывается, его не зря проводят ровно в полночь. В это время солнце в надире.

— Где?

— В надире. Это точка, противоположная зениту. Ты когда-нибудь видела Солнце в зените? В высшей точке неба?

— Нет.

Он вздыхает:

— И я не видел. Но все равно оно там, за облаками, поднимается в зенит. А ночью опускается в надир, к нам под ноги, и снова начинает движение нам навстречу...

Мне кажется, он бредит. Но я все равно внимательно слушаю.

— ...И в этот момент все возможно. Все. Иногда поднимается сильный ветер, такой, знаешь, что можно налетаться на весь день вперед... Там, в клубе, у тебя не было чувства, что ты купаешься в солнце? В солнечном свете?

Он очень точно описывает мое ощущение. Значит, и с ним бывало то же самое. Я говорю ему об этом. Он усмехается:

— У меня прожекторы никогда не загорались. Только у тебя. Такой выброс... Только этого мало. Энергией надо уметь управлять. Энергию надо собирать, передавать, аккумулировать. А мы не умеем. Пока. Той силы, что ты выплеснула в клубе, хватило бы на подзарядку двоим, ну, троим... Это еще не Завод.

...А я-то решила, что Солнце с неба снимаю!

— Завод? Ты говоришь о Заводе?

Он морщится:

— Ну, это фигура речи... На самом деле Завод есть, конечно. Но нам туда не попасть.

— А если бы?

Он молчит. Раздумывает.

— Знаешь что, — говорит наконец. — Я бы детей своих переправил... на Завод. Говорят, там есть рядом поселок... где живут счастливые люди. Абсолютно счастливые.

— Так не бывает.

— Не бывает... — Он вздыхает.

— Не волнуйся за детей. Они похожи на тебя. И на Перепелку.

— Спасибо. Я знаю.

Я впервые за несколько лет вижу энергетическое шоу со стороны. Это мечта каждого пикселя — и одновременно кошмар. Ведь если тебе снится, что ты смотришь шоу со стороны, — значит, ты опоздал на работу. Значит, тебя выгнали.

Кто теперь работает на моем месте?

Я вспоминаю Еву. Не могу не вспоминать ее, когда на экране в который раз загорается эта дурацкая строчка: «Энергетическое шоу для вас, горожане!»

Я сижу, свесив ноги, на подоконнике пятьдесят шестого этажа. Отсюда экран, отраженный на облаках, виден почти полностью. Ну, разве что левый нижний угол немного загораживает соседняя башня.

Экран потрясающий. Я не могу различить на нем точки-пиксели. Он кажется единым, насыщенным всеми цветами... радуги? Так мне говорили в детстве. Но что такое радуга, я не знаю.

Картинки движутся — люди ходят и говорят, неслышно открывая рты. Настоящие люди. Потом они сменяются рисованными. Потом настоящие и рисованные перемешиваются. Смешно толкаются, бьют друг друга подушками, кидаются пирожными... Мне вдруг страшно хочется пирожных. Кажется, я не ела их много лет.

Показывают свето-овец, на которых растет фосфоресцирующая шерсть. Показывают, как их стригут. Показывают одежду из такой шерсти. Здорово. Это реклама.

Показывают... Я прищуриваю глаза. Всего на одну секунду показывают огромное зеленое пространство, поросшее деревьями. Некоторые выше, некоторые ниже. Может быть, это и есть горы?

«Энергетическое шоу для вас, горожане!». Я и не заметила, как пролетели двадцать минут. Экран медленно гаснет — сверху вниз. Внизу еще долго бежит строка: «Энергетическая полиция предупреждает: сделки с энергией опасны для вашего...» Экран гаснет.

Сейчас все пиксели, возбужденные и радостные, толпой валят в раздевалку. И мы с Евой могли бы сейчас идти вместе со всеми. Жалею ли я?

Ева умерла. Она случайно сбилась во время шоу, у нее не было запаски. Если бы она не сбилась, ее бы не оштрафовали. Если бы не оштрафовали, мы не пошли бы искать дилеров. Если бы мы их не нашли...

Может быть, все обернулось бы по-другому.

А может, и нет.

Несколько дней стоит такой плотный туман, что ни с пятидесятого, ни с двухсотого этажа не видно ни зги. Нет города, нет соседних башен. Нет и ветра. Никто никуда не летает.

Лифтер смазывает блоки. Перепелка учит детей читать. Алекс и Мавр сидят на подоконнике, свесив ноги над бездной, в руках у обоих — мегафоны.

Они болтают с соседями. От нечего делать.

Мегафоны сильно искажают звук. Металлический и жутковатый, он летит далеко, преодолевая даже туман. Человеческую речь, пропущенную через мегафон и расстояние, невозможно распознать. Поэтому здесь, в Оверграунде, на этот случай выработался особый язык, состоящий из одних только гласных.

Алекс не то говорит, не то поет. Получается будто птичий крик, он уходит в туман, через несколько секунд приходит ответ. Я ничего не понимаю, зато Алекс и Мавр понимают прекрасно. Мавр рывком вытягивает шнурок на рукоятке мегафона (подзаряжает слабенький аккумулятор), кричит что-то очень коротко и звонко. Приходит ответ — и оба, Алекс и Мавр, покатываются со смеху, чуть не падая с подоконника, а я стою, чувствуя себя полной дурой. Ну почему они мне не переводят?!

Башни залиты туманом, словно старинным белым парафином. И в тишине, в белом мареве перекликаются голоса — металлические, птичьи.

Это сто ит послушать.

Потом возвращаются ветра, и Алекс учит меня управлять потоками. На мне дикая сбруя. К поясу пристегнут карабин. Я вишу над бездной, ветер сумасшедший, меня швыряет из стороны в сторону, как бумажку.

Алекс что-то кричит. Я, конечно, не слышу. Все инструкции он мне дал раньше: я должна управлять полетом с помощью крыльев, надетых, как плащ, мне на плечи. Развернуть крылья очень трудно — не хватает силы рук, тут нужна мышечная масса Алекса. Зато когда я все-таки ухитрюсь раскрыть их, становится легче: срабатывают фиксаторы, будто в зонтике. Крылья сконструированы из ткани, кожи и металла.

Неловкий поворот — и меня относит вправо и чуть не размазывает по стенке. Я поспешно выправляюсь. Алекс кричит, машет руками. «Синтепон!» — долетает до меня. Это в устах Алекса самое страшное ругательство: синтепон — значит, никуда не годный.

Я пытаюсь изменить угол крыльев, как Алекс мне показывал. Неожиданно получается. Поднимаюсь выше. Взлетаю, как воздушный змей на веревке. Еще выше! Выше Алекса! Он уже не кричит. Смотрит на меня, приложив ладонь к глазам.

Хочется удивить его. Я круче заламываю угол крыльев... И они ломаются. Не выдерживают напора ветра. Я лечу вниз — не вертикально, я ведь на тросе. Описываю дугу, как огромный маятник, и собираюсь на полном ходу врезаться в стену...

Вижу перед собой окно.

Неизвестно как исхитрившись, влетаю в проем, чуть-чуть ссадив локоть. Шлепаюсь на четвереньки и побыстрее отстегиваю от пояса карабин. Из пролома в потолке спрыгивает Алекс. Смотрит на меня круглыми глазами.

— Все в порядке, — заискивающе улыбаюсь. — Ну... сломались. Бывает.

Он переводит дыхание. Вытирает пот со лба:

— Эффектное появление через окно мы еще не проходили. Это тебе два дежурства вне очереди!

Дежурство — это сущее наказание. Хорошо Мавру: он вовсе пользуется приспособлениями Лифтера и по лестницам почти не ходит. А мне-то приходится пересчитывать каждую ступеньку!

Дежурные помогают добытчикам. Добытчики — те, кто добывает пищу там, внизу, в городе. Часть покупают. Часть крадут со складов. Это трудное и опасное, но почетное занятие, и все равно добытчики все время меняются. Кому охота проводить полжизни среди синтетиков?

В подвале дома — тайник. Накануне энергочаса, когда синтетики ждут подключения и никому ни до чего нет дела, дежурные спускаются в тайник, набирают полный мешок упаковок, лотков и консервных банок и тащат все это на тридцатый этаж. Там Лифтер со своей системой противовесов принимает груз и доставляет его на самый верх. В гнездо.

Тащить мешок на тридцатый этаж!

Он весит примерно столько же, сколько я. Дышу сквозь сомкнутые зубы. На двадцатом этаже, где лестница проломана, мне помогает Лешка: вытаскивает на веревке сперва мешок, потом меня. Хочет взвалить мешок себе на плечи, но я не даю. Прогоняю его. Раз Алекс так хочет, чтобы я дежурила, подежурю! Не хуже других! Если он думает, что запрошу пощады...

Пот заливает лицо. На двадцать пятом этаже предо мной возникает преграда. С минуту тычусь в нее, как слепой котенок, прежде чем догадываюсь поднять голову.

Передо мной — руки в бока — стоит Алекс.

— Все, отдежурила. Отдай Лешке.

— Иди ты, — говорю, отдышавшись. — Думаешь, не дотащу?

— Дотащишь... Я тут к соседям собрался, у них показуха сегодня. Пойдешь?

В Оверграунде часто ходят в гости. Несмотря на то, что обитаемые башни стоят совсем не вплотную друг к другу. Между тем, летать с крыши на крышу дикие не могут, они ведь не бабочки!

Алекс давно обещал взять меня в гости. И вот сегодня, наконец, я посмотрю, как это делается. Я имею в виду путешествие в небе.

Кодекс гостеприимства в Оверграунде простой и незамысловатый. Если кто-то к кому-то собрался, натягивает огромный самострел на крыше и выстреливает железным крюком (это почему-то называется «залогиниться»). Крюк летит, за ним разматывается тонкий шнур. Долетев, крюк цепляется за оконный проем или арматуру. Если хозяева рады гостям, то привязывают к крюку толстый трос и пускают обратно. Если не рады, сбрасывают вниз. И без обид.

На этот раз Алекс решает управлять крыльями сам. Он плотно пристегивает меня к своему поясу. Нас выпускает Лифтер: понемногу разматывает катушку со стопором, опускает, как груз, за окошко. Спустившись на тросе на несколько этажей, Алекс разворачивает крылья и начинает подниматься, как тяжелый воздушный змей. Ветер сегодня свежий. Без ветра в поднебесье путешествовать нельзя.

Мы висим в небе на двух веревках. Одна, натянутая до звона, — из нашей башни. Вторая, чуть провисшая, — из соседской.

— Кр-ризис, — бормочет Алекс у меня над ухом. — Делириум тременс. Синтепон, м-мать...

— Что?

— Не могу дотянуться до карабина. Ты мешаешь.

— Ну извини... Мне спрыгнуть?

— Нет. Просто отстегни, когда скажу. Только *когда скажу* ! А не через секунду после этого!

— Ты до трех сосчитать можешь?

— Издеваешься? Я потоки просчитываю, тут внезапно все... Вот, сейчас момент пропустили... Готова?

Я нащупываю карабин.

— Готова.

Он долго молчит. Ветер играет нами, бросает туда-сюда. Гудит на ветру крыло. Темным призраком вырисовывается в тумане башня — чужая. Мне начинает казаться, что Алекс заснул. Я уже хочу спросить его, не забыл ли он обо мне, но тут он орет, как ошпаренный:

— Давай!

Пальцы, даже окоченевшие, срабатывают сами по себе. Я отстегиваю карабин, и мы начинаем падать. Трещат крылья. Падение замедляется. Мы соскальзываем вниз, планируем... Единственный трос, протянутый от нас к месту нашего назначения, натягивается как струна.

Мы снова летим, подобно воздушному змею. Нас медленно подтягивают к соседской башне. Наши жизни в руках того, кто стоит у катушки с тросом и потихоньку сматывает ее — виток за витком. Некстати вспоминается рассказ Перепелки, как в старые времена поссорились двое братьев из разных гнезд, один заманил другого в гости, подтянул вот так же к самому окну — и перерезал веревку. Здесь о надежном человеке говорят: «Я бы доверил ему катушку»...

— Приехали, — сварливо говорит Алекс. Хотя я бы сказала прилетели.

В первую минуту я немного теряюсь. Мы с Алексом угодили, похоже, на какое-то сборище: людей на этой башне никак не меньше, чем на площади после энергочаса. Но каких людей!

Некоторые носят на одежде перья и крылья птиц, именем которых названы их гнезда. Другие вообще ничего не носят, кроме ременных сбруй и кожаных штанов. Сбруя тоже у всех разная: у кого-то нарочито грубая и без украшений. У кого-то — с медными, серебряными, бронзовыми пластинками, а карабины выкованы в виде зубастых пастей. И крылья разные: я видела ярко-красные шелковые крылья. Видела стальные, механические. Крылья в легкомысленную клеточку. Крылья с изображением оскаленной пасти. Просто черные перепончатые крылья, как у летучей мыши...

Мужчины. Женщины. У некоторых волосы до пояса. Другие бриты наголо. Но у всех — особая небесная походка, легкая, балансирующая, будто они ступают по тонкому карнизу.

И еще взгляд.

Не надо рассматривать их крылья и разглядывать татуировки. Достаточно взглянуть им в глаза, чтобы понять: они — дикие. Сами себе энергия. Живут в облаках, снисходительно поглядывая сверху на весь остальной мир.

Они слышали обо мне: о том, как загорелись прожекторы в «Сорванной крыше». Сами подходят знакомиться. Говорят уважительно, как равные с равной. Я — дикая среди диких.

Потом начинается показуха — так они небрежно называют парад мастерства и бесшабашности, соревнование небесных мастеров, для которых отвесные стены и тонкие тросы — естественная среда обитания.

Десяток парней поднимаются по стене снаружи — мы наблюдаем за ними, стоя на подвесной платформе. В руках у каждого — по два ножа. Ребята находят в старой кладке трещины, втыкают в них лезвия, подтягиваются на руках — на одной руке — и снова ищут опору. Тот, что идет первым, два раза чуть не срывается...

За несколько метров до финиша его нож ломается. У меня перехватывает дыхание. Повиснув на одной руке, парень вытаскивает из-за пояса запасной нож, находит для него место,

проверяет на прочность... Подтягивается, в который раз доверив свою жизнь хрупкой стали в ненадежной стене...

Я замечаю, что грызу ногти. Быстро оглядываюсь по сторонам. Все смотрят — кто сурово, кто с улыбкой, но никто так не переживает, как я!

Заставляю себя спрятать руки за спину. Заставляю себя не закрывать глаза — досмотреть до конца.

И он все-таки выигрывает, этот парень. Приходит первым. Отдуваясь, поднимается на платформу. Улыбается. Да ему лет шестнадцать, не больше! На щеке свежий шрам. И на поясе нет страховочного троса.

— Алекс! Почему бы ему не надеть страховку? Если бы сорвался...

— Ерунда! Он дикий. Дикий живет с любовью — и умирает без страха!

Я замолкаю. Боюсь ляпнуть еще какую-нибудь глупость.

Парень-победитель подходит ко мне. Я жму его руку — очень мозолистую. Очень горячую.

— Так это ты устроила иллюминацию в «Сорванной крыше»? — смотрит на меня с восхищением. — Когда в следующий раз будешь зажигать, позови меня, ладно? Я обещаю.

Потом все желающие показывают свои умения. Алекс тоже кое-что показывает, он управляет потоками так мастерски, что перестаешь замечать тросы. Кажется, он летит — свободно парит, и не механические крылья у него за плечами, а настоящие.

Я болею за Алекса изо всех сил, во всю мощь глотки. А про себя решаю: тренироваться каждый день, любую свободную минуту, но научиться летать не хуже. А может, даже лучше. И в следующий раз, когда прилетим на показуху, мне тоже будет что продемонстрировать людям...

Над головой тяжело взмахивают кожаные крылья — я невольно приседаю. Соревнования продолжаются: на тросах и без, в переплетении проводов, добытых дикими из старых коммуникационных колодцев. Какая-то девчонка, бритая наголо, летает с вопилкой — крохотным пропеллером, который, раскручиваясь на ветру, издает протяжный угрожающий звук. Девчонку все зовут Карлсон. Может, это ее имя?

На самый конец показухи хозяева гнезда приберегли «Вечный двигатель» — особенный трюк. Чтобы посмотреть его, все спускаются на сотый этаж: там в стену снаружи вмонтирован огромный ветряк с длинными треугольными лопастями. Мы смотрим, свесившись из окон (чего-чего, а окон тут полно, хороший был дом, светлый).

Участие в трюке принимают все жители гнезда, а их много. Они по очереди выпрыгивают из окна, цепляются за лопасть и своим весом заставляют ее опуститься. Прокатившись таким образом на лопасти, спрыгивают с нее и повисают на тросе, чтобы тут же подтянуться и юркнуть в окно — пятью этажами ниже. Бегом возвращаются обратно, чтобы снова выпрыгнуть и снова прокатиться на лопасти; вот так они носятся каруселью, раскручивая ветряк своим весом, и у меня рябит в глазах. Как они не запутываются в этих своих ремнях и тросах?

Но оказывается, что основное зрелище еще впереди.

Лопасты вертятся все быстрее. Механизм, испокон веков забиравший энергию, начинает ее отдавать. Поднимается ветер — как от колоссального вентилятора. Тогда пара молодых диких, взявшись за руки, прыгает с семидесятого этажа и повисает в воздушном потоке прямо напротив ветряка.

Трос, удерживающий влюбленных, такой тоненький, что я его не вижу. Просто гляжу, разинув рот, как двое летят, то обнимаясь, то чуть отстраняясь, как развеваются их волосы, как они целуются, зависнув между небом и землей, сплетя крылья на упругой воздушной подушке, какие они дикие — и какие нежные...

Забываю про ветряк и про страховки. Гляжу, как они ласкают друг друга, и мне становится душно — хочется ослабить ременную сбрую на груди.



— Жалко, нету Лифтера, — говорит Алекс, но я почти его не слышу. — Когда устроим показуху у нас в гнезде, надо будет его попросить... кое-что продемонстрировать. Знаешь, противовесы в лифтовой шахте — такая универсальная фишка...

Трюк уже закончился. Алекс говорит и говорит, а я смотрю в небо и улыбаюсь непонятно чему.

Потом мы сидим, свесив ноги в бездну, отдыхаем; я, наострив уши, слушаю разговоры. О том, как какому-то Рыжему стало тесно в родительском гнезде и он проложил трассу на юго-запад, очень сложную трассу среди воздушных потоков, «двести метров свободного полета, прикинь!». На том конце этой нелегкой трассы его ждала верхушка башни — необитаемая пока верхушка. «И он советует себе новое гнездо? — А то как же! За Рыжим знаешь сколько девчонок увяжется?»

Собеседники почему-то косятся на меня и переходят на шепот. Алекс ухмыляется. А я смущаюсь невесть отчего: что-то такое есть в их взглядах, какая-то искра. Внизу, среди синтетиков, на меня никогда так никто не смотрел.

Через несколько часов гости разлетаются. Алекс долго принохивается к ветру, потом говорит, что в обратную сторону крылья не вытянут. Значит, нам придется возвращаться маятником — на каретке.

Нас провожает тот парень, что выиграл гонку по стене. У него странное имя — Держись. Он быстрый и цепкий, как паучок.

— Пока, Дикая! — кричит он, отпуская трос. — Пока, Алекс!

Я не успеваю ответить: мы падаем. В отвесном падении не очень-то поговоришь... Но падаем не вертикально, а по дуге.

Скрипит каретка — два блока, связанных между собой системой пружин. Наша жизнь зависит теперь от двух тросов: своего (у катушки Лифтер) и чужого (у катушки Держись). На высоте примерно сотого этажа мы проходим точку равновесия — два троса одинаковой длины и натянуты одинаково. Потом, словно гигантский маятник, мы несемся дальше — вперед и вверх. Домой.

Алекс на всякий случай ругается. Ремни впиваются мне в ребра. Это неудобно. Мне порядком надоело, что я при Алексе — груз. Вот выучусь летать сама...

Мы зависаем в высшей точке, в нескольких метрах левее двери с надписью «Добро пожаловать». Одновременно хватаемся за арматурные прутья, выступающие из стены. У меня трясутся руки, если честно.

— Приехали, — пыхтит Алекс. — Эй, есть кто дома? Принесите тапочки!

Дома нас ждет сюрприз. За столом в комнате Перепелки сидит Римус.

Бросаюсь к нему на шею. Сама не ожидала, что так обрадуюсь: я не видела Римуса с тех самых пор, как он рассказал о клубе «Сорванная крыша». И сказал потом тусклым голосом: «Ну, прощай. Всего хорошего».

— Римус! Привет!

— Привет, Дикая. — Он похлопывает меня по спине. — Летаем помаленьку?

Мне очень много хочется ему рассказать. Но нет времени: оказывается, Римус проделал опасный путь наверх, чтобы принести вести для Мавра.

И для меня.

Мавр очень мрачен. Таким я его никогда не видела. Страшноватый у него вид: встретила бы в подворотне — бежала бы без оглядки.

— Ищут тебя, Дикая. Всерьез ищут, — говорит он сквозь зубы.

— Кто? — говорю пренебрежительно. Человеку, который умеет летать, странно бояться какой-то там энергетической полиции.

— Конь в пальто, — отвечает Римус. — Не контролеры. Другие.

— Какие такие другие? Понятия не имею...

— Есть много вещей, о которых ты не имеешь понятия, — обрывает меня Мавр. — Расскажи еще раз, что там было с тобой и с подругой, которая потом погибла.

Я уже рассказывала им о Еве. Теперь рассказываю еще раз, стараясь ничего не забыть. Особо подробно описываю контролера, который нас отпустил. Даже пытаюсь выпарапать на стене его портрет — лицо, будто выкованное из бронированных пластин. Глаза, глядящие из провалов, как из глубоких дюз. Получается похоже, по-моему.

Римус долго рассматривает рисунок.

— Нет, — говорит. — Я такого никогда не видел... а увидел, запомнил бы. Такие лица не забывают.

— Но он не контролер?

— Нет. Скорее всего, он из тех, кто тебя ищет.

— Тогда зачем он меня отпустил?

Римус пожимает плечами.

— По-моему, они догадались, что она генератор, — задумчиво говорит Перепелка. — Поначалу спугали с подругой... Вернее, подругу спугали с тобой...

— Кто такие генераторы?

— Те, кто способны генерировать энергию. Не только для себя, но и... — Не договорив. Мавр оборачивается к Римусу. — Думаешь, они знают, где она сейчас?

— Понятия не имею. Но за моим магазином слежка круглосуточная.

— Значит, ты привел их к башне?! — взрывается Алекс.

Римус холодно шурится:

— Но-но, мальчик. Поучи старика избавляться от хвоста.

Становится тихо. Все о чем-то напряженно думают. Я верчу головой, пытаюсь понять, чего они беспокоятся. Здесь, на башне, меня никто не достанет!

Так я думаю, так и говорю.

— Может, ты и права, — задумчиво говорит Мавр.

— А кто они такие, можете мне объяснить? Если не контролеры, не полиция... Жизнееды, что ли?

Мне кажется, это смешная шутка. Но никто, кроме меня, не смеется.

— Мне пора, — говорит Римус. — А то до энергочаса домой не успею.

Мавр и Алекс провожают его до лифта. Вернее, до противовеса, который Лифтер спускает далеко вниз, на сороковой этаж. Я смотрю ему вслед и никак не могу понять: а сам Римус, он синтетик, что ли? Почему же тогда и Мавр, и Алекс, и все его так уважают?!

Мавр возвращается. Походя роняет мне на плечо тяжелую руку:

— Из гнезда ни ногой. Ясно?

В гнезде полно работы каждый день. Километры тросов, которые надо чистить, распутывать, наматывать на катушки. Пружины и блоки, которые надо смазывать. Крылья, которые нужно чинить. А ведь еще тренировки: с Алексом или без него, но я теперь тренируюсь каждый день.

Светлые мои мечты явиться с собственной программой на следующую показуху тают, как туман. У меня ничего не получается. Вернее, я не могу закрепить успех. Сегодня кажется — молодец, научилась. А завтра ветер чуть-чуть поменялся — и опять болтаешься в воздухе, как мешок с ватой. Перепелка сочувствует мне и велит не отчаиваться. Алекс ругает неумехой. Дни следуют за днями, одинаковые, как ржавые арматурные прутья. И непрошеным приходит чувство, что ничего интересного и стоящего в жизни уже не будет.

Только по вечерам, когда я беру в руки свой барабан, возвращаются силы и оживает оптимизм. Барабанщик Лешка играет на маленькой установке, которую собрал ему Римус. И вдвоем мы устраиваем маленькое энергетическое шоу: все прихлопывают в такт, даже Мавр. В такт подбивает ветер за стенами. В такт мигает лампочка на потолке: эта лампочка работает от ветряка. Она такая яркая, что ее даже приходится отключать на ночь.

Дети Перепелки сидят рядом. Девочка хлопает громче всех. У мальчика блестят глаза, он в эти минуты очень похож на Мавра...

А потом приходит беда.

Он, конечно, много раз видел, как это делают старшие. Но не учел, что и крылья, и карабины, и вся система страховки рассчитаны на взрослого. На сильные руки. На большой вес.

Он наблюдал за моими тренировками и решил потренироваться сам. И сорвался. И его ударило об стену. Взрослый от такого удара умер бы. У него, легонького, переломились кости — на руке и на ноге.

Он не кричал. Лежал, зеленый от боли, и тихо терял сознание, пока лекарь гнезда — его звали Слава — возился с открытыми переломами. Перепелка тоже не плакала: она ведь дикая. Но глаза у нее были... страшно смотреть в такие глаза.

Лекарь взял руку и ногу мальчика в лубок. И велел ждать. Потому что больше помочь — он так сказал — ничем нельзя.

Мальчик лежит тихо-тихо. Все гнездо пропиталось его болью. Мне кажется, даже ветер, вечно воющий снаружи, чувствует эту боль,

— Перепелка, — говорю я. — Нужно дать ему обезболивающее. И жаропонижающее. И еще что-нибудь... чтобы не развилось воспаление.

— Откуда ты знаешь? Ты что, врач?

Я теряюсь. У нас в блоке нет врача, мы приходим в аптеку, описываем болезнь, и нам дают лекарства. Год назад один парень тоже ногу сломал...

— У тебя что, совсем нет лекарств?

— Диким не нужны лекарства, — говорит она высокомерно. — Мы лечим себя сами. Своей собственной волей.

Я сажусь рядом с мальчиком и наигрываю ему ритмы. Я играю о далеком ветре, о высоких горах, о тихой воде. Он засыпает. Но через несколько минут просыпается. Не может удержать стон. Ему *очень* больно.

В гнезде тихо. Мавр где-то наверху, на крыше. Алекс спозаранку улетел из гнезда. Лифтер возится со своими противовесами. Девочка сидит у постели брата, как маленькая статуя.

Перепелка поит сына водой с ложечки. Говорит, говорит, не останавливаясь, о том, что все будет хорошо, что нельзя терять мужества, что только мужество спасает нас, а страх — губит...

Я потихоньку, чтобы никто не видел, выхожу на лестницу.

Сколько времени потребуется, чтобы добежать до ближайшей аптеки?

Я буду бежать изо всех сил. Если бы попросить Лифтера меня спустить... Но нельзя, нельзя, чтобы они узнали, что я собираюсь делать. Никто не должен знать.

И я тороплюсь вниз. Перепрыгиваю через ступеньки. Ставлю, наверное, рекорд — никто никогда не спускался с двухсотого этажа так быстро...

Между пятидесятым и тридцать пятым раскиданы сторожки: наступишь, к примеру, на ступеньку, и пойдет сигнал наверх, в гнездо. Но я уже успела выучить эти ловушки: сама помогала Лифтеру обновлять их. Поэтому спускаюсь без лишнего шума. На двадцать втором, перед проломом, останавливаюсь. Мне впервые приходит в голову: а как я выгляжу? Не сойдут ли синтетики с ума, увидев на улицах девушку в ременной сбруе поверх обычной одежды?

Быстро расстегиваю пояс. Аккуратно сворачиваю ремни, прячу под кучей строительного мусора. Никто не найдет: я скоренько. Вернусь через четверть часа.

Поначалу хочу оставить и барабан — будет мешать на бегу. Но потом решаю взять его с собой. Я к нему привыкла. К тому же он приносит удачу.

Внизу, на лестнице, мне встречается старушка. Кивает, как знакомой. Кажется, мы уже виделись?

Прежде чем шагнуть за порог, на секунду останавливаюсь. Вот он, мир синтетиков. Я была частью этого мира... не так давно.

Делаю шаг.

Вот так штука! Я забыла, как ходят по ровной земле! Как тут можно бегать, прыгать, не глядя под ноги... и что это за удивительное чувство — надежная опора под ногами!

Я бегу — во-первых, потому, что надо торопиться. Во-вторых, потому, что на башне вот так не побегаешь. Полетаешь — да. Но бегать... это же так прекрасно!

Прохожие на меня глазеют, но без особого удивления. Просто у девушки хорошее настроение. Просто есть энергия. Просто хочется побегать.

Я поворачиваю за угол и вижу аптеку. Вхожу. Пытаюсь скрыть возбуждение.

— У вас есть обезболивающее? Жаропонижающее? Витамины для детей? Антибиотики?

Я выпаливаю все это на одном дыхании.

Аптекарьша, милая круглолицая женщина, смотрит на меня с тревогой:

— У вас кто-то серьезно заболел?

— Да. Ребенок!

— Такие лекарства только с предъявлением гражданской карты. У вас с собой?

Как хорошо, что я не выбросила карточку! Она лежит, как и лежала, в потайном кармане куртки. Вытаскиваю ее и протягиваю продавщице.

— Вам выйдет скидка. — Она щелкает на счетах. — Обезболивающее, жаропонижающее... всего это будет стоить...

Дверь за моей спиной открывается. Я оборачиваюсь.

В двери стоят двое. Смотрят на меня в упор. Еще один неторопливо выходит из подсобки. Судя по виду аптекарши, она меньше всего ожидала увидеть этого человека на своем рабочем месте...

Прости меня, аптекарша.

С места прыгаю в витрину. В развороте, боком. Все-таки долгие часы упражнений с крыльями даром не проходят.

Летят упаковки с лекарствами. Звенит, раскалываясь, стекло. Возможно, я поранилась. Узнаем потом.

На противоположной стороне улицы стоит велорикша, ждет седоков. Дождлся. Я вышибаю его из седла. Хватаюсь за руль и налегаю на педали. В спину бьет полицейский свист.

У велосипеда хороший привод и удобные педали. Вот только коляска для пассажиров мешает: грохочет по булыжной мостовой, тормозит. А отцепить ее нет времени.

Я лечу, приподнявшись в седле, стоя на педалях. Шарахаются с дороги люди и механизмы.

Наперерез вылетает полицейский броневик, обшитый жестью. Я резко поворачиваю... Слишком резко. Коляска теряет равновесие и валится набок. Я вскакиваю с мостовой...

И тут меня берут.

Я сижу в полицейском отделении, пристегнутая к железному креслу. Барабан — единственная моя собственность — лежит на столе. За столом двое: один — крупный полицейский чин, другой — неизвестно кто. С виду — очень обаятельный молодой человек. Встретила бы на улице, с охотой заговорила бы с ним...

А теперь он пугает меня больше, чем энергополицай.

«Это не контролеры. Другие». — «Какие такие? Понятия не имею...» — «Есть много вещей, о которых ты не имеешь понятия».

Это они меня искали. Выслеживали. И вот — выследили.

— Нарушение порядка, — бубнит полицейский, — это только формальный повод! Мы прочитали ее карту — она нигде не работает вот уже почти месяц. Где она берет пакеты, я вас спрашиваю? Чем она живет? Тут не хулиганство! Тут пахнет незаконными сделками с энергией — в особо крупных размерах!

Обаятельный незнакомец мельком смотрит на меня. Пишет что-то на листе картона. Показывает полицейскому.

— Какое мне дело... — начинает тот раздраженно. Потом замолкает. Вчитывается. Смотрит на собеседника — будто видит его впервые.

— Да, — говорит незнакомец тихо и мягко. — Вот такие дела... Закрывайте ваше дело — мы ее забираем.

Полицейский долго возится, роется в ящике стола, выходит в соседнюю комнату и там долго с кем-то ругается по переговорному устройству. Обаятельный берет со стола мой

барабан. Разглядывает. Потом смотрит на меня — сверху вниз. А у меня руки прикованы к подлокотникам.

— Не бойся, — говорит он шепотом. — Все в порядке. Ты поедешь на Завод.

— Кому ты должна принести эти лекарства? Скажи мне адрес. Я pošлю курьера.

— Туда не ходят курьеры!

— Пойми, дикая, я не могу допустить, чтобы ты сама туда ходила. Тебя просто убьют. Полиция при попытке к бегству. Знаешь, как они разозлились, что я тебя отобрал? Им ведь премию дают за каждого арестованного — энергией...

Где-то я и раньше такое слышала.

— Но там ребенок. Он очень болен!

— Он один?

— Нет, но...

— У него есть мать, отец?

— Да, но...

— Почему же ты думаешь, что всех умнее?

Я так не думаю. Но он ставит меня в тупик. Его зовут Стефан.

— Зови меня просто Стеф. Или Ловец.

— Почему Ловец?

— Вылавливаю из сетей полиции хороших людей. Кто меня давно знает, понимает, что это значит... Тебе не холодно?

— Нет, что вы!

— Мы же договорились на ты.

У Стефана, или Ловца, собственный велосомобиль с водителем. Я никогда в жизни не говорила ты людям, у которых есть велосомобиль. Я вообще с такими никогда не разговаривала.

— Так я свободна?

— Конечно. Только учти, что полиция все еще держит тебя на прицеле. Держись рядом. Не отходи от меня дальше, чем на два шага. Завтра утром мы отправляемся.

Не могу поверить.

— На Завод? Или это шутка?

— Какая там шутка! Ты и еще несколько ребят, которых я выловил в последнее время. Поедете в закрытом вагоне. Из окон не высомываться — пока не выберетесь за городскую черту. А в горах особенно: там людоеды живут, стреляют отравленными стрелами. Ехать всего день. Наши вагоны идут на огромной скорости.

— Наши? Стефан... то есть Ловец, а кто вы такие?

Он тихо смеется:

— Узнаешь. Все узнаешь.

Мы ночуем в маленькой комнатке с трехъярусными кроватями. Одну девушку я узнаю: она была на энергоритуале в «Сорванной крыше», прежде чем крышу сорвало окончательно. Другие незнакомые — пятеро ребят и четыре девушки. Все радостно возбуждены, долго ворочаются на койках, не могут заснуть.

Ночь проходит наполовину во сне, наполовину в бреду. Мне снится, что рядом, на соседней койке, — Ева. Что она улыбается и говорит мне: вот видишь, я же говорила, мы едем на Завод!

Мне снится мальчик, сын Перепелки. Лучше ему? Или хуже? Может быть, кто-то из добытчиков догадается купить лекарств?

Или хотя бы украсть...

Мне снится моя сбруя, припрятанная на двадцать втором этаже под кучей строительного мусора. Вышла на полчаса... И, выходит, никогда не вернусь.

Я не знаю, чего во мне больше: ожидания, страха или тоски. Тоски по Оверграунду... страха перед неизвестным... радостного предчувствия Завода.

А может, я еще вернусь? Приду к Перепелке, к Алексу, к Маврикию-Стаху и заберу их всех — на Завод?

От этой счастливой мысли я засыпаю, прижимая к груди свой верный барабан. И сразу — кажется, минуты не прошло — меня будят.

Пора в дорогу.

Нас долго везут в велосипеде. Потом пересаживают в вагон — у него нет колес, зато есть огромные блоки на крыше. Блоки крепятся к железному тросу толщиной в человеческую руку. Диким в Оверграунде такое и не снилось.

Нам выдают пак — каждому по большой картонной коробке и большой банке дринка. И каждому — свернутый тонкий матрас.

— Удачи! — Ловец пожимает нам руки. — Ехать сутки, запомните. Постарайтесь не устать, не поругаться... Отдыхайте. Расслабляйтесь. С вами будет Григорий. — Он кивает на сутулого мужчину, безучастно стоящего рядом.

Мне с первого взгляда не нравится Григорий. Он кого-то напоминает. Нехорошее воспоминание.

— В добрый путь, — говорит Стефан.

Мы забираемся в вагон. Внутри нет мебели, только поручни на стенах. Спереди — кабина, отделенная решеткой, там устроился Григорий. Сзади — фанерная стенка, огораживающая туалет, то есть просто дырку в полу.

Мы садимся на свернутые матрасы. Слышно, как натужно скрипят блоки на крыше... Что за энергия приводит этот вагон в действие?!

Вагон несколько метров волочится брюхом по земле, а потом взлетает. Я встаю, ухватившись за поручень, и сквозь мутное стекло вижу, как отдаляется земля. Как все дальше уходит город... Будто снова лечу с Алексом... Прощайте, все. Пиксели, Длинный, Игнат... Прощай, Римус. Прощай, мертвая Ева... Прощайте, дикие. И вы, синтетики, прощайте тоже.

Беру в руки свой барабан. Мои спутники слушают, сидя вокруг на полу.

— Как это у тебя получается, а? — тихо спрашивает девочка, с которой мы встречались когда-то в «Сорванной крыше».

Григорий сидит в своей кабине, будто ему нет до нас дела. Иногда выбирается на крышу (вагон тогда раскачивается), смазывает блоки, проверяет что-то и возвращается обратно. Мы обедаем. Потом ужинаем.

Часов в одиннадцать вечера Григорий снова поднимается наверх, и блок, прежде только скрипевший, начинает постукивать. Тук. Тук. Тук-тук. Звук вкрадчивый и вроде бы не очень громкий, но очень скоро все мои спутники засыпают.

Сама я не сплю только потому, что в руках у меня барабан. Я чувствую его ритм, даже когда он молчит.

Переступая через спящих, подхожу к окну. Внизу — горы. Я не вижу их, только угадываю. Кое-где на склонах, на вершинах горят огоньки.

Открытый огонь? Те самые людоеды, о которых говорил Стефан-Ловец?

Григорий возится в своей кабине. В свете флуоресцирующей панели я вижу, как он застегивает манжету на руке.

До меня доходит: энергетический час! Значит, Григорий — синтетик? Значит, все, спящие сейчас вокруг меня, — дикие?

Григорий глубоко вздыхает. Он получил подзарядку. Ему хорошо. Я снова смотрю вниз, на далекие темные горы...

Григорий снова возится. Скрипит зубами. Что-то бормочет шепотом — ругательства. Не верю своим глазам: он снова застегивает манжету!

Вторая доза?!

Он не видит меня. Второй раз подзарядившись, несколько секунд сидит неподвижно, расслабленно. Потом стонет сквозь сжатые зубы.

Третья подзарядка.

Мне совершенно ясно, что он подзаряжается не от сети. У него в кабине портфель, вроде того, от которого заряжали несчастную Еву. Фальшивая энергия? Или Стефан-Ловец и его неведомые товарищи способны достать для Григория настоящую?

Настоящая — только дикая, поправляю себя. На дикого Григорий не похож и близко.

Когда подзаряжается в шестой раз, я вдруг вспоминаю, кого он напоминает. Того парня, которого пырнула стилетом в подворотне. «Ты понимаешь, как это — сдохнуть, когда тебе не хватает девятой дозы? Или двадцатой? Или двухсотой?»

Тот человек умер не от потери крови. Он просто выключился. Как механизм.

Я, наверное, слишком громко вздыхаю. Григорий оборачивается и видит меня.

— Ты не спишь? — спрашивает со странной ухмылкой.

— Нет.

— Зря... Как же ты, без подзарядки?

— Я дикая. Живу своим ритмом.

— Чего-о?

— Своей энергией. Дикой.

— Значит, это правда, — говорит с отвращением. — Значит... тебе не нужна подзарядка.

— Нет.

Он скалит зубы в темноте. Страшная и жалкая гримаса.

— А мне не хватает шести доз. Завтра не хватит семи. Они меня держат на поводке... Ты знаешь, как это — сдохнуть, когда тебе не хватает шестой дозы?!

Он в точности повторяет слова того человека из подворотни.

— Нет, — отвечаю честно. — Но сначала я тоже подзаряжалась. А потом перестала. Это просто, надо только...

— Просто? — Его глаза, кажется, светятся в темноте. — Ты просто мутант. Уродец. Вы все — мутанты. Ошибки природы. За это вас скормят Заводу. Завод любит таких. Вы — дрова для его печи. Вы — топливо. Есть топливо для людей... А есть топливо для Завода.

— Ты врешь, — говорю твердо.

Он снова скалится:

— Завтра узнаешь, вру я или нет. Завтра вы все шагнете в печь. Или что там у него вместо печи... Я везу полный вагон корма. Он будет доволен. Он прожорливый, Завод... Но он не ест таких, как я. Только таких, как ты.

— Григорий, — говорю я, и голос у меня дрожит.

— Я сорок лет знаю, что я Григорий! Думаешь, я взялся бы за эту работу, если бы они мне не давали по шесть зарядок за ночь?! Ты... «дикая энергия»... «своим ритмом»... но завтра тебе конец. А я — я, может, протяну еще неделю... и кто из нас умнее?

Не дождавшись ответа, он уходит в глубь своей кабины.

В темноту.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Вагон летит над темными горами. Поскрипывают блоки на крыше. Окна затянуты железной сеткой. И некуда бежать.

Мои товарищи по несчастью спят. Пытаюсь их растолкать — напрасно. Ритмичное постукивание блоков загипнотизировало их. Если бы не мой барабан, носитель другого ритма, я сейчас дрыхла бы вместе с остальными.

Но что толку в том, что я не сплю? Двери крепко заперты снаружи. Сетку на окнах невозможно разрезать или разорвать. Дыра в полу, служащая туалетом, слишком узкая — в нее не пробраться... А если мне и удалось бы спрыгнуть? Внизу — темнота, не видно даже огоньков. Воеет ветер. Наверное, очень высоко. Уж лучше прыгать с небоскреба.

Мужества осталось совсем чуть-чуть. На доньшке. Хочется реветь и бить кулаками в пол. Вместо этого сажусь на свой матрас, обнимаю колени и думаю.

Меня обманули, как маленькую девочку. Провели. Будь я хоть немного внимательнее, нашла бы нестыковки в словах Стефана... Ловца. Вот почему он Ловец. Он ловит таких, как я,

генераторов. А приманка — слово «Завод». Он сказал: «Ты поедешь на Завод», и я перестала думать. Перестала сомневаться... И вот я еду на Завод.

А может, Григорий соврал? Сказал гадость, чтобы отомстить мне за что-то? За то, что я не нуждаюсь в подзарядках? За то, что я оказалась среди избранных?

Я снова вспоминаю разговоры с Ловцом — каждое слово, каждый взгляд. И понимаю: Григорий сказал правду. А Ловец... да ведь и он сказал правду, только не всю. Меня пригласили на торжественный обед, но не предупредили, что я не гость, а блюдо!

Хуже всего для меня — не предательство Стефана-Ловца и не слова Григория. Завод всегда представлялся мне добрым. И в страшном сне не могло присниться, что в качестве топлива он использует людей.

Чем дольше я об этом думаю, тем безнадежнее мне становится. Я ищу выход. Еще раз: двери заперты снаружи на задвижку. Железная сетка на окнах закреплена стальными штырями. Дыра в полу слишком узкая... И оттуда, из дыры, дует прямо-таки ледяной ветер. С каждой минутой становится холоднее. Черные окна делаются сизыми, на них проступают сложные, по-настоящему красивые узоры. Что происходит?

Мои товарищи по несчастью спят, тесно прижавшись друг к другу. У некоторых девчонок ночная косметика. Я стараюсь не смотреть на их страшные мерцающие лица.

Становится так холодно, что я подбираю с пола свой матрас и заворачиваюсь в него. Не помогает: меня бьет крупная дрожь. Никогда в жизни так не мерзла!

Григорий возится в своей кабинке. Сквозь постукивание блоков слышу, как он кряхтит. Потом мутное окошко кабины на секунду освещается живым огнем. Я слышу запах дыма. И почти сразу делается теплее.

У него в кабине печка! Настоящая старинная печка, в которой жгут уголь или дерево! Значит, тут всегда так холодно. Чтобы топливо для Завода не превратилось в ледышки, его надо подогревать.

Мне никогда не приходилось греться у настоящей печки. Но Перепелка рассказывала, как много лет назад двое молодых диких развели в закрытой комнате огонь, заснули рядом с ним и не проснулись: они не знали, что где огонь, там и дым, а дыму надо давать выход, иначе он убьет тебя. Угоришь. Задохнешься.

От печки Григория все сильнее воняет дымом. Если бы не отверстие в полу — мы все могли бы задохнуться на полпути к Заводу...

— Григорий, — говорю я, даже не успев додумать эту мысль до конца. — А что тебе будет, если ты привезешь на Завод одиннадцать трупов?

— Ты еще не спишь? — спрашивает он сквозь зубы. — Лучше спи.

— Кому лучше? — Я посмеиваюсь в темноте. — Слушай, сейчас я заткну матрасом дыру в полу. Будет полный вагон дыма. Все задохнется во сне. Что скажут твои начальники? Как ты думаешь, они дадут тебе подзарядку на следующую ночь? Хоть одну порцию?

Он ругается.

— А если ты загасишь печку, они замерзнут во сне. — У меня зуб на зуб не попадает, но уже не от холода, а от волнения. — Им так будет лучше. Но виноват будешь ты. Ты и в самом деле виноват: кто тебя за язык тянул? Зачем ты рассказал мне правду?

— Я пошутил, — говорит он с ненавистью. — Мне просто завидно. Вы будете жить, не нуждаясь ни в чем, счастливые... А я так и буду гонять вагоны туда-сюда.

На долю секунды я ему верю. Просто потому, что очень хочется поверить.

— Спи, — говорит он почти нежно. — Спи, завтра утром... ты сама увидишь, как вам повезло... Зачем портить себе жизнь накануне такого счастья?

Я не вижу его лица, но слышу дыхание. Он врет. Мне удалось напугать его, и теперь он лезет из шкуры вон, чтобы загладить свою оплошность.

— Нет... — тихо смеюсь. — Теперь ты меня не обманешь. Все, я пошла затыкать дыру матрасом.

— Ты же сама задохнешься! — вырывается у него.

— Ну и что? Не лучше ли тихо умереть, вместо того, чтобы живой идти в печь Завода? Или что там у него вместо печи?



— Слушай... — в голосе такая ненависть, что у меня мороз по коже. — Если ты только двинешься с места, я тебя...

— Что?

— Я тебя на тряпочки порежу, — говорит он глухо, и при красноватом свете печки я вижу длинное узкое лезвие. — Медленно.

Я смеюсь, стараясь не выказать страха.

— Как? Ты там... Я здесь... Как ты меня порежешь, дурак?

Его сбивчивое дыхание заглушает и стук блоков на крыше, и шум ветра, и треск огня в печи. Я поднимаюсь на ноги, снимаю с плеч матрас.

— Ну, я пошла, Григорий. Жаль, конечно, что так вышло...

Он колеблется всего несколько секунд. Потом я скорее угадываю, чем вижу, как он направляется к двери кабины.

Я прижимаюсь к стене рядом с дверью — нашей дверью, которая открывается наружу. В правой руке у меня стилет, в левой — барабан на цепи. Слышу, как открывается дверь кабины. Огонь в печи сразу разгорается ярче. Я вижу очертания вагона и спящих людей на полу. Кажется, проходит вечность.

Скрипит засов. Медленно-медленно приоткрывается дверь. Холодный ветер врывается снаружи, вместе с ним влетает пригоршня замерзшей ледяной пыли. Я жду, когда войдет Григорий, и тогда я огрею его барабаном по голове — сбоку...

Но он не входит. Вместо этого в дверь просовывается рука и хватает меня за горло. Я слишком поздно соображаю, что он в очках. Он видит в темноте, а я нет!

Холодные твердые пальцы стискиваются у меня на шее. Почти теряя сознание, бью стилетом по чужой безжалостной руке. Стилет — подарок Римуса — второй раз спасает мне жизнь: пальцы Григория на секунду слабеют, и мне удается вырваться.

— Дрянь, — сипит Григорий.

Он уже внутри вагона. Я смутно вижу его тень. В правой руке у него нож. Левая истекает кровью. И кровавые огоньки отражаются в круглых выпуклых очках.

— Я тебя не убью. Ты должна быть живая. До завтра — живая... Без глаз, без ушей, без пальцев...

За спиной у него — приоткрытая дверь. Нырнув под занесенный нож, я кидаюсь на врага, целя головой в живот. Но Григорий уклоняется с ловкостью, какой я не ожидала от немолодого грузного синтетика. Нож свистит у самого моего лица. Я отшатываюсь, спиной налетаю на дверь, оступаю и падаю. В последний момент удается уцепиться за подножку вагона — узкую железную ступеньку.

Я вишу на руках над черной пропастью. Воеет ветер, пронимает до костей. Сверху на меня глядит Григорий. Красные ночные очки делают его лицо уродливым и страшным.

— Значит, ты живешь своим ритмом? — спрашивает с издевкой. — И долго прожила?

Ветер играет моим телом, как ленточкой. Вдруг я вспоминаю Алекса: как он учил меня ловить ветер и ничего не бояться. «Дикий живет с любовью и умирает без страха...»

Я готова разжать пальцы. Но Григорий крепко берет меня за запястья и втягивает на подножку.

— Если я тебя не довезу, мне не дадут шестой дозы, — бормочет он себе под нос. — Не говоря уже о седьмой...

Подножка, узкая и длинная, тянется вдоль стенки вагона к двери в кабину. Приоткрытой двери.

Я подаюсь к Григорию, будто собираюсь поцеловать, и что есть силы кусаю за подбородок. Отвратительная жесткая щетина. Соленая кровь.

Он орет и отталкивает меня. Чудом удержавшись на подножке, спешу к двери в кабину — приставными шагами, боком. Григорий пытается дотянуться ножом — и промахивается всего на пару сантиметров. Нож распарывает на мне куртку — под рукавом.

— Стой! Убью!

Я и не думаю стоять. Врываюсь в кабину, захлопываю дверь. Здесь тепло, из-под печной дверцы пробивается ровный красный свет... но нету внутренней защелки на двери! Болтается железный крючок — а петельки нету!

Крутая лестница ведет наверх. В потолке — люк. Ни о чем не думая, только спасаясь от человека с огромным ножом, я лезу вверх. Наваливаюсь плечами на люк...

Меня хватают за щиколотку. Я бью ногой, вырываюсь, пролезаю в люк, выкатываюсь на крышу вагона, и в этот момент из-за облаков выходит луна.

В городе я видела луну всего раз или два в жизни. Такой луны — огромной и желтой, как безумный глаз, — я не видела никогда.

Крыша вагона плоская. В метре над ней тянется железный трос в руку толщиной. Постукивают блоки, катятся по тросу. Из печной трубы длинным серым хвостом валит дым. А внизу, насколько хватает глаз, — черные и белые горы, поросшие такими огромными деревьями, каких я не видела даже на картинках.

Отползаю подальше от люка. Через секунду он снова открывается: я вижу белое лицо Григория, блестящий от крови подбородок и две темные тарелки очков.

У меня нет оружия. Стиллет давно улетел вниз. Только барабан каким-то чудом остался висеть на плече.

Барабан с цепью.

Мягко ступая по крыше вагона, Григорий идет ко мне. Я отступаю. Между нами течет и поблескивает трос. Поскрипывают блоки.

— Я тебя не трону, — шепотом говорит Григорий. — Я тебя не трону... Мне нужно, чтобы ты была живая. До завтра.

Вертятся блоки — огромные железные колеса. Катятся по тросу. Все ближе и ближе к Заводу. Откуда столько энергии? Что за сила приводит их в движение?

— Ничего нельзя изменить, — говорит Григорий. — Мне нужна моя седьмая доза. А ты — ты никуда не денешься. Ты обречена.

— Можно сделать так, чтобы колеса крутились в другую сторону? — спрашиваю я, мельком взглянув на блоки. — Можно повернуть вспять?

— Фарш невозможно повернуть назад. — Григорий криво усмехается. — Эти, что спят, — тоже трупы. Но до завтра они должны дожить обязательно. И ты. Спускайся.

— Сейчас, — говорю я.

Снимаю с плеча барабан. И прежде чем Григорий понимает, что я собираюсь делать, — опускаю цепь в узкую щель между двумя блоками.

Скрежет. Летят искры. Блок на секунду стопорится — вагон замедляет ход. Крыша резко наклоняется. Я соскальзываю с нее...

И лечу в пустоту.

В полете снова вспоминаю Алекса. Раскидываю руки, пытаюсь поймать ветер, но нету точки опоры — ветер не держит меня. Я зажмуриваю глаза, ожидая встречи с землей...

И земля разверзается подо мной. От удара на секунду теряю сознание и прихожу в себя на дне глубокой темной шахты. Сверху льется лунный свет — через дыру, очертаниями смутно похожую на человеческое тело с раскинутыми в стороны руками.

Я жива. У меня болят колени и ступни и звенит в голове. Позвоночник цел — я могу шевелить руками и ногами. Белый порошок, в толще которого я пробила дыру, сыплется за воротник и хрустит при каждом моем движении.

И со всех сторон наступает холод.

Я в снегу.

В городе не бывает снега — только дождь и слякоть. Перепелка рассказывала, что еще ее мать, стоя на крыше небоскреба, однажды поймала в ладонь снежинку — может быть, последнюю из тех, что падали на город. Если бы город завалило замерзшей водой — как бы мы грелись?! Целой сотни динамо-мышей не хватит, чтобы растопить маленький сугроб...

Пытаюсь выбраться наверх, к луне. Снег осыпается мне на голову. Я больше не вижу света: белая толща наваливается мне на плечи и не дает дышать. Я впадаю в панику.

Борюсь со снегом. Барахтаюсь в полной темноте. С ужасом осознаю, что не выбираюсь вверх — наоборот, оседаю все глубже. Заставляю себя успокоиться. Толща снега неравномерная: в ней есть сыпучие слои и слежавшиеся, плотные. Значит, надо взбираться по слежавшемуся снегу, как по лестнице...

В этот момент мои пальцы натываются на плотное, как бетон, и такое же холодное препятствие. Что это?

Похоже на морщинистый столб. Расщелины глубокие, легко можно ухватиться... правда, пальцы мои окоченели, я их почти не чувствую. В городе я взобралась бы по такому столбу в два счета, а здесь приходится чуть ли не зубами эти пальцы разминать, каждому мизинчику что есть сил приказывать: держи! Держи!

Нахожу опору для ног. Подтягиваюсь. Прижимаюсь к этому холодному морщинистому столбу и вдруг понимаю, что он живой. Это осознание так меня поражает, что я сползаю на полметра вниз.

Это дерево!

Внутри, под щелястой корой, у него есть жилы и нервы. И оно живет среди этого снега, стоит, не сдается, так почему должна сдаваться я?!

Прижимаюсь к стволу плотнее — как к другу. Почти сразу находится ветка. Толстая, очень удобная. Я подтягиваюсь, становлюсь на нее коленом, потом ногами, потом...

Моя голова, проломив плотную корку подтаявшего и замерзшего снега, высовывается наружу. Я вижу луну, лунные тени, темное небо и звезды. А над собой — прямо над головой — вижу огромное, как небоскреб, дерево с тысячью мягких, укрытых снегом лап.

Это здорово. Это очень красиво.

Вокруг нет ни души. Сверкает под луной нетронутый снег. Но я почему-то не чувствую себя одинокой. И обреченной не чувствую тоже.

Троса отсюда не видно — небо слишком темное. Я прислушиваюсь. Тишина, даже ветра не слышно. Я, может быть, никогда в жизни не слышала такой тишины.

Сажусь на снег спиной к стволу. Закрываю глаза... Как хорошо!

Я одолела Григория. Я выжила. Не знаю, дадут ли ему завтра седьмую дозу, но я — жива. Смотрю на луну. И на звезды. В городе никогда не увидишь сразу столько звезд — даже с верхушки самого высокого небоскреба...

Чем дольше я смотрю, тем больше перед глазами звезд. Они разноцветные — синие, оранжевые, красноватые... Может быть, это наш небесный экран, а звезды — тоже пиксели? Они собираются в раздевалке, надевают робы и выходят на черное небо — ждут, когда начнется всемирное энергетическое шоу...

Какое яркое небо.

Порыв ветра чуть покачивает тяжелую лапу дерева. Бух, падает с лапы снег. Я улыбаюсь...

Губы не слушаются. Они очень большие. И чужие, будто резиновые.

Да я же замерзаю насмерть!

Ну и пусть.

Встать! — беззвучно кричу сама себе. Но тело не слушается. Ему и так хорошо. Ему тепло и спокойно, а любое движение причиняет боль...

Какая разница, спрашивает здравый смысл. Ты в горах, где нет человеческого жилья. Где снег и холод. Где невозможно выжить. Так что же лучше: барахтаться, преодолевая боль, мучиться — и все равно умереть послезавтра, или спокойно уснуть сейчас, глядя на цветные звезды?

Прижимаюсь спиной к дереву, будто спрашивая у него совета. Но дерево не отвечает. Оно само заснуло мертвым сном. Или замерзло.

Я вспоминаю Еву, как она угасала без подзарядки. Вот так умирают синтетики: у них не остается желания жить. Ведь чтобы жить, надо постоянно прилагать усилия. А чтобы умереть, надо просто расслабиться и закрыть глаза...

От этой мысли мне делается... нет, не страшно. Противно. Что бы сказали Алекс, Мавр, Перепелка, Лешка... Что бы сказал маленький Перепелкин сын, узнай они все, что я умерла безропотно, как синтетик?!

Я собираю все свои силы. Сгибаю и разгибаю окоченевшие пальцы. От боли слезы на глаза наворачиваются. Я подаюсь вперед. Встаю на четвереньки. На ноги подняться не решаюсь, чтобы опять не провалиться. Да, если честно, я не уверена, хватит ли на это сил.

И я иду, как зверь, на четырех ногах. Ползу на животе. Снова поднимаюсь на четвереньки. Куда мне идти: вверх по склону или вниз? Наверху меня не ждет ничего, кроме ветра. А внизу, может быть, теплее. Я иду, иду, иду, пока чистый снег передо мной не сменяется мятым, перепаханным: я вернулась к своим же следам. Хожу — на четвереньках — по кругу!

Поворачиваю в другую сторону. Иду — ползу — вдоль склона, совсем уже не понимая, куда и зачем двигаюсь, когда ветер вдруг доносит отдаленный удар барабана.

Бум-м.

Ни о чем не думая, поворачиваю на звук.

Бум. Бум-бум. Станный ритм. Барабан то умолкает, то снова звучит. Звук его, поначалу едва слышимый, становится все громче, все увереннее...

Бум! — слышится прямо у меня над головой.

Я останавливаюсь. Выпрямляюсь. Смотрю наверх.

Надо мной нависает ветка дерева. И на самом ее краю, зацепившись цепью, висит мой старый барабан — подарок Римуса.

Значит, я так и не смогла застопорить цепью блоки на крыше вагона. Цепь выскользнула, и барабан упал — до меня или сразу после меня, а может, мы летели вместе. Стальная цепь выглядит так, будто ее жевали чудовищные зубы. Но сам барабан цел. В свете луны я отчетливо вижу изображение волка на верхней деке.

Кладу на деку замерзшую ладонь. И, сама не зная зачем, начинаю отбивать ритм.

Он звучит сперва тихо-тихо. Подстраиваясь к ритму сердца. А может быть, это мое сердце, услышав знакомый ритм, забило охотнее?

Я чувствую, как внутри меня зарождается тепло. От каждого удара оно делается все горячее и горячее. По артериям, по капиллярам тепло рвется наружу — к лицу. К ногам, к рукам. К коже.

Барабан звучит все громче, и уже не понять, я ли на нем играю или он на мне. Мои щеки отогреваются. Губы теплеют. Сгибаются и разгибаются пальцы на ногах — и я чувствую каждый пальчик. Начинает таять снег на волосах. Я чувствую, как бегут по затылку, по шее прохладные струйки и испаряются прямо на коже. От моей одежды валит пар.

Вода стекает по куртке и поднимается туманом. Высыхают штаны. Подсыхают ботинки. Дека барабана горячая, мои ладони красные, как роба пикселя, если взглянуть на нее спереди. Мне тепло! Мне жарко, и я могу двигаться!

Вокруг меня тает снег. В нем образовывается лунка, я проседаю глубже и на всякий случай перестаю играть. Не провалиться бы снова, на этот раз до самой земли!

Последний удар еще звучит в воздухе, когда сверху, из-за отягощенного снегом леса, доносится длинный, тягучий, тоскливый звук.

Я никогда не слышала его раньше. Но во мне живет память предков: волосы встают дыбом, и мороз продирает по спине.

Бежать!

У меня хватает ума соорудить себе снегоступы из веток. И все равно идти по снегу тяжело: с каждым шагом я проваливаюсь по щиколотку.

Через некоторое время становится ясно, что волки напали на мой след. С каждым разом воют все ближе. Я почти бегу, проваливаясь иногда по колено, поднимаюсь — и снова бегу.

Посреди голого безлесного пространства растет одинокая сосна. Добежав до нее, я оборачиваюсь и вижу, как по белому склону летят, едва касаясь лапами снега, серые тени.

Закинув барабан на спину, лезу вверх по стволу. Добираюсь до первой ветки, толстой и кряжистой. Ветка качается. Летит на землю снег: глухо бухает, пробивает дыры в сугробах.

Через три минуты волки уже подо мной. Смотрят вверх. Не скалят зубы, не рычат (а я и не знаю, должны ли они рычать, увидев, что добыча ускользнула? Может, волки вообще не рычат?). Не сверкают глазами, как в старых-старых детских сказках. Их трое, и они очень, очень большие.

Один задирает морду и воет. От этого звука стынет воля: хочется разжать пальцы и покорным мешком свалиться с дерева.

Я держусь.

Откуда-то снизу доносится ответный вой. Неожиданно низкий — не звериный звук, а скорее механический. Я вдруг вспоминаю о Заводе. Далеко он отсюда? И в какой стороне?

Двое волков остаются под деревом — сторожить меня. Третий исчезает.

Мороз снова пробирает до костей. Поудобнее перехватываю барабан и понимаю, что не помню ритма. Не знаю, смогу ли согреться еще раз. Волки молча сидят внизу. Я почему-то уверена, что они ждут. Что волк-посланник вернется. И в этом нет ничего хорошего.

Я начинаю выстукивать ритм. Это не попытка согреться. Это угроза — тем, кто видит во мне добычу. Барабан звучит отрывисто и злобно. Волки ерошат шерсть на загривках, обнажают клыки; видя, что мой ритм достигает цели, играю еще жестче, еще напористее. На миг возникает надежда: они испугаются, отступят, уйдут...

В этот момент третий волк возвращается. Я вижу его сквозь ветки. Он бежит, опустив морду, а рядом с ним...

Барабан падает и повисает на цепи. Пальцы мои врастают в ствол.

Рядом с волком-посланником идет существо, только отдаленно напоминающее волка. Волчья шерсть, волчья осанка, волчий хвост и очень большая, непропорционально большая голова. Он идет неторопливо, тяжело ступает, и я не могу отвести глаз от его серой вытянутой жуткой морды.

Он останавливается под деревом — прямо подо мной. И поднимает глаза.

У него совсем человеческий взгляд. И в то же время нечеловеческий. Я не знаю, как это объяснить. Жду, что он заговорит, но он молчит. Он все-таки волк.

Так проходит минута.

Потом Головач поворачивает морду и смотрит на волков. Они уходят, исчезают мгновенно. Были — и нету. Только луна освещает волчьи следы на снегу.

Значит, Головач займется мною сам?!

Он грузно, всем телом, поворачивается. И идет прочь — так, чтобы я его видела. В двадцати шагах от дерева останавливается, снова поворачивает голову и смотрит на меня через плечо.

Его невозможно не понять. Он зовет за собой.

Попробуй Головач подойти ко мне, я бы, наверное, огрела его барабаном. Или сделала еще какую-нибудь глупость. Но он не пытается подойти — медленно идет передо мной шагах в десяти. Если я, провалившись в снег, останавливаюсь, останавливается и он. Оборачивается. В глазах нет нетерпения: он просто ждет, пока поднимусь, и тогда идет дальше.

И я за ним.

Понятия не имею, куда он меня ведет. Может, на смерть. На поживу своим волчатам... если у него есть волчата.

Мы входим в лес. Потом выходим из леса. Луна медленно опускается за вершину ближайшей горы. Я чувствую запах дыма. В первый момент он неприятно напоминает печку Григория, но через секунду я понимаю, что запах другой. Скорее он похож на запах деревянной щепки, которую поджег ради забавы Длинный.

Здесь топят древесиной!

Головач идет по тропинке, протоптанной чьими-то ногами. Через несколько минут я вижу человеческое жилище.

Трудно назвать его домом. В нем только один этаж, и то очень низкий. Крыша бела от снега, и над ней поднимается дым.

Я останавливаюсь.

Медленно открывается дверь. Становится очень светло: я вижу высокую женщину с очень длинными, почти до земли, распущенными волосами. В руке у нее палка с живым огнем на конце. Огонь горит так ярко, что я невольно жмурюсь.

Головач не пугается огня. Стоит и смотрит на женщину, как будто чего-то ждет.

Она как-то внезапно оказывается рядом — очень стремительная, хотя уже немолодая. В ее волосах я вижу белые нити. В ее глазах — желтоватые острые звездочки. Она, конечно же, не синтетик. И никогда такой не была.

Женщина подносит свой огонь ближе...

И вдруг ее лицо искажается.

— Кого ты привел? — шипит, оборачиваясь к волку. — Кого ты привел?!

Она смотрит на меня, как будто я убийца ее детей. В глазах ее ненависть, ярость — и на самом доньшке страх.

Я встречаю утро в деревянном срубе с большой печкой. Лежу в тепле, под шкурой. Мои руки и ноги стянуты ремнями. Не могу сказать, что это веселое утро.

Скрипит дверь. Потом еще одна. Входит парень (в проеме ему приходится наклониться, чтобы не стукнуться макушкой). Светловолосый. Безбородый. Ставит на стол чугунок, от которого поднимается пар. Кладет рядом краюшку хлеба. Я не сразу понимаю, что это хлеб. Скорее, догадываюсь по запаху.

Как же давно я не ела!

Некоторое время мы с парнем глядим друг на друга. У него в глазах нет ненависти. И на том спасибо. Я уж думала, что все жители этого странного города за что-то на меня ополчились.

Он чуть улыбается:

— Ты в самом деле упала с неба?

Ночью я несколько раз повторила свою историю. Женщине с огнем в руках, другим женщинам, сбежавшимся на ее крик. Мужчинам. Пыталась убедить, что не желаю им зла.

Этого парня среди собравшихся не было.

— Не с неба, — говорю со вздохом. — Я из города. Меня везли на Завод. Я сбежала.

Он ухмыляется, будто я сказала что-то смешное. Помогает сесть. Распутывает ремни на моих руках. Руки затекли.

— Ешь, — пододвигает ко мне чугунок. Протягивает деревянную ложку. Я беру ее в руки, долго разглядываю: она больше и грубее наших ложек. На потемневшем от жира дереве видны прожилки.

Спускаю с лежанки связанные ноги.

Еда вкусная. Я никогда такой не ела. Ни в какое сравнение не идет ни с витаминными пластинками, ни, тем более, с бесплатной вермишелью. Хлеб теплый и очень мягкий.

— Что это?

— Банош из белых грибов.

У меня дрожат ноздри. Потрясающий запах.

— Ешь, — говорит парень. — Вот брынза. Вот мед. Вот молоко.

Делаю глоток. Наверное, мне понравилось бы здесь, я бы осталась здесь жить...

— Мне некуда идти, — говорю я парню. — Можно, я поживу с вами?

Он перестает улыбаться. Качает головой:

— Ты принесешь нам беду. Много людей погибнет.

— Почему?! Откуда ты знаешь?

— Я не знаю, но Царь-мать — видит. Она говорит, что у тебя на лбу написана беда для всех трех родов. Молодые погибнут. Знаешь, я бы хотел, чтобы ты осталась, но Царь-мать всегда все видит наперед.

Еда теряет вкус. Та женщина, что встретила меня ночью, просто сумасшедшая. А они все ей верят. Почему?

— Наперед видеть нельзя, — говорю я. — И потом... я ведь никому не желаю зла! Какую беду я могу принести, я ведь одна, а вас много!

Он отводит глаза. Печально качает головой.

— Значит, мне придется уйти? — спрашиваю упавшим голосом.

— Тебе придется умереть, — вздыхает он. И, увидев мою реакцию, тут же добавляет примиряющим тоном: — Нет, не убийство, мы же честные волки! Только поединок. Чтобы после смерти ты могла спокойно охотиться в Лесном Краю.

Это не город. Это волчий поселок. Здесь нет ни энергетического часа, ни контролеров, ни полиции. Башен тоже нет. Зато тут есть зима, весна, лето и осень.

В селе живет три волчьих рода — так они себя называют. Каждый род живет немного обособленно, но колодец общий для всех. И Царь-мать главенствует над всеми.

Люди-волки и похожи, и непохожи на диких. Ярый — так зовут светловолосого — долго отвечает на мои вопросы. Я узнаю, что город лежит к юго-востоку отсюда, но дойти туда невозможно: слишком отвесные скалы, слишком глубокие пропасти и высокие горы. Что к северо-западу от поселка находится страшное место, куда нельзя ходить — То Место, и если я буду расспрашивать о нем, Ярый встанет и уйдет. Я смиряюсь и расспрашиваю о другом.

Горы не имеют конца и края. В них полно зверей и птиц, в реках и озерах — рыбы. Говорят, далеко-далеко в лесах живут еще племена, и раньше они приходили на землю трех родов, чтобы охотиться и красть невест. Тогда три рода воевали с ними; но вот уже несколько лет, как враги не приходят. Наверное, откочевали еще дальше.

Я хочу еще расспрашивать, тут Царь-мать является собственноручно. Ярый уходит.

Царь-мать садится напротив. У нее черные глаза, такие черные, что почти не видно зрачков. У глаз этих вязкий, цепенящий взгляд. Требуется изрядная доля мужества, чтобы не отвернуться.

— Я не желаю твоей смерти, — говорит она хрипло и гулко. — Но я защищаю моих детей.

— От меня?

— Братья-волки должны были оставить тебя в горах. Головач ошибся. Он уже стар. И он слишком добр. Доброта застилает ему глаза. Он не видит.

Удивительно, но она называет необычного волка точно так же, как назвала его я — мысленно. Головач.

— Это твое? — Царь-мать берет в руки мой барабан. — Откуда это у тебя?

— Подарили.

Она качает головой:

— Ты достойна хорошей соперницы. Я выпущу против тебя лучшую девушку из всех, кто получит имя этой зимой. Это будет нелегкая, но славная смерть.

Подумать только — прошло всего лишь три ночи с тех пор, как я покинула гнездо Перепелки! Я вырвалась из лап энергетической полиции, выбралась из запертого вагона, одолела Григория, не разбилась, упав с высоты, не замерзла в лесу, меня не сожрали волки... И все для чего? Чтобы незнакомые, в чем-то даже симпатичные люди убили меня ни за что ни про что!

От обиды я засыпаю. Мне ничего не снится. Когда наконец раскрываю глаза, в избушке уже темно. Воеет ветер в печной трубе. Тускло светятся угли. И горит, плавая в глиняной плошке, фитилек на куске белого жира.

Напротив сидит Ярый. Огонь отражается в его широко раскрытых глазах.

— Дай попить, — прошу. Голос у меня хриплый и гулкий, почти как у Царь-матери.

Он подносит мне кружку. Вода холодная, до ломоты в зубах, и очень вкусная. Как все здесь.

— Завтра поединок, — говорит Ярый. — Я упросил Царь-мать, чтобы она дала тебе подольше отдохнуть... Послушай, раз ты все равно уже выспалась, может, расскажешь про город? Как вы там живете?

Он слушает очень внимательно. По глазам вижу, что не верит и половине. Не понимает, зачем синтетикам подзарядки. Не понимает, зачем нужны пиксели и что такое энергетическое шоу. Не верит, что у дома может быть двести этажей. Иногда он переспрашивает, и переспрашивает, и выясняет опять, и я начинаю злиться: как можно не понимать таких простых вещей?!

— Как они летают? — спрашивает о диких. — Перекидываются в птицу?

— Нет. Они делают крылья, к поясу крепят веревку...

— А зачем? Они не умеют перекидываться?

— Как это? — Теперь уже я не понимаю.

Он нетерпеливо машет рукой:

— Да ладно... Ты мне вот что скажи: у вас жена сколько мужей держит?

Я смотрю на него, и лицо у меня, наверное, глупое. Ярый вздыхает, глядит с сочувствием: как можно не понимать таких простых вещей?!

— У нас если одна жена, то и муж один, — говорю не очень складно.

— А у тебя?

Яжимаю плечами.

— У меня нет мужа. Еще нет.

Он подходит ко мне. Опускается на колени. И целует меня в губы, ничего не говоря. От неожиданности я отшатываюсь.

— Если ты завтра ее победишь, Царь-мать оставит тебя в живых, — серьезно говорит Ярый. — Такой закон.

Утром поднимается солнце. Мне все время приходится щуриться: жаль, что нет с собой черных очков. Солнце горит. Снег ослепляет. Из глаз катятся слезы; люди-волки, которые собрались посмотреть на поединок, думают, что я плачу. Но мне все равно, что они думают.

Под конвоем двух плечистых молчаливых мужчин меня приводят на место поединка. Я на секунду раскрываю глаза — так широко, как только могу: это огромная стеклянная линза!

Только ступив на стекло ногой, я понимаю, что это лед. Замерзшее круглое озеро совершенно прозрачное. Широкое, как небольшая площадь. Очень глубокое. Из-под льда на меня глядит рыба: огромная, с руку величиной, и пучеглазая. А ниже, под рыбой, я вижу бурые стебли водорослей и обломки скал. В расщелине на далеком дне белеет волчий скелет.

Лед пружинит под ногами и еле слышно потрескивает. Он очень тонкий. Слишком тонкий для таких холодов.

Я поднимаю глаза — и впервые вижу свою соперницу.

Она немного моложе меня. Очень юная. Почти обнаженная, несмотря на холод. Смотрит оценивающе — и совершенно безжалостно.

Вокруг озера кольцом стоят люди-волки в серых, белых, бурых одеяниях из шкур. Вторым кольцом зрителей стоит заснеженный лес. И третьим кольцом — горы. Все смотрят на нас с соперницей. Все чего-то ждут.

Появляется Царь-мать, похожая на медведицу в своем темно-буrom меховом одеянии. Ее волосы по-прежнему распущены и почти касаются снега. Она ступает на лед, и я чувствую, как содрогается его прозрачная линза.

— Сегодня ты получишь имя, — обращается она к моей сопернице. — Но не думай, что это легкий бой.

Она протягивает ей оружие. Я щурюсь сильнее: белое яйцо размером с голову младенца утыкано трехгранными шипами с палец толщиной и насажено на длинную деревянную ручку. Из памяти всплывает слово «булава». Что же, мы будем драться не на кулаках и даже не ножами, а такими вот... штуками?!



Она каменная? Или стеклянная? Мне ясно представляется, как белая булава, опустившись на голову, разбивает ее и сама разлетается на куски. Как летят в разные стороны обломанные шипы — и ошметки мозга...

Мне стоит большого труда отогнать это видение. Я вытираю лицо тыльной стороной ладони — чтобы проклятые слезы не мешали смотреть.

— Держи. — Царь-мать протягивает мне такую же булаву. Я беру ее в руки; белое яйцо, утыканное шипами, сверкает на солнце, и я понимаю, что оно ледяное. Булава высечена из льда.

— Дерись за свою жизнь, как можешь. — Царь-мать смотрит, пронизывая насквозь, на дне ее глаз пляшут желтые звездочки. — Только сильные женщины рожают волков. Возьми.

Судорожно сжимаю булаву в правой руке. В левую мне ложится стальное лезвие на очень длинной, неудобной ручке. Пока соображаю, что это такое, моя соперница, получив от Царь-матери такое же оружие, ловко складывает его пополам. Это складной нож! Вернее, учитывая его размеры, складной меч... Зачем? Что с ним делать?

Похоже, всего через несколько минут предстоит все узнать. Царь-мать переводит взгляд с моей соперницы на меня и обратно.

Поднимает руки.

— Бейтесь, пока одна из вас не умрет, — хрипло и гулко говорит Царь-мать. — Начинайте.

Моя соперница стоит в пяти шагах от меня. На ней короткая меховая безрукавка и юбка из того же меха — еще короче. Тяжелые сапоги с мягкими голенищами. Тело блестит, смазанное жиром. Раздуваются ноздри. Горят глаза. Ловлю себя на мысли, что не хочу ее убивать. Мне хочется обернуться к этим людям и закричать во все горло: с какой стати? Почему я должна играть в ваши глупые игры? Не собираюсь я быть ни убийцей, ни мясом!

Я уже открываю рот, чтобы заговорить с соперницей, но замечаю, как расширяются ее зрачки. Не успев ни о чем подумать, отпрыгиваю в сторону, и там, где мгновение назад была моя голова, со свистом проносится ледяная булава, усаженная шипами.

Зрители одобрительно гудят. Не понимаю, чему они радуются.

— Не думай, что это легкий бой, — повторяет Царь-мать, сейчас я ее не вижу. — Не рассчитывай на простую победу, Безымянная!

Соперница сверкает глазами и роняет себе под ноги складной меч. Лезвие впирается в лед. Девчонка вскакивает на грубую рукоятку, отталкивается одной ногой — и я снова едва успеваю шархнуться с дороги.

Она красуется, скользя по льду на тонком лезвии. Балансирует, разгоняется. Несется, летит, оставляя на льду белую линию-борозду. Зрители кричат, любуясь и подбадривая. Это очень красиво — особенно когда она резко разворачивается, и из-под лезвия летят, искрясь, ледяные брызги.

Теперь она несется прямо на меня. Стальное лезвие меча с шипением режет лед. Ледяная булава вертится в ее руках, и невозможно предугадать, откуда, в каком направлении будет нанесен удар...

Да что же я стою?! Неподвижная среди льда, я просто обречена стать добычей!

Я пытаюсь вскочить на свой складной меч, но теряю равновесие и едва не падаю. Никогда в жизни мне не приходилось кататься на льду. Помогли бы высота и ветер, но здесь нет ни того, ни другого. Отшвыриваю бесполезный меч и поднимаю булаву. Лавируя на своем лезвии, соперница несется на меня, я вижу ее глаза. И понимаю: она не остановится.

Отбегаю в сторону, но она играючи меняет направление и снова несется на меня. Она быстрее. Она у себя дома.

Затылка будто касается холодное дуновение. Странное чувство. И очень неприятное. Это предчувствие смерти.

Соперница налетает, как ледяной вихрь. Булава проносится в миллиметре от моей головы, острый шип задевает кожу, на виске набухает горячая капля. Я не чувствую боли. Соперница

проносится мимо и разворачивается, выбрасывая веер ледяных брызг. Она разъярена: третья атака должна стать последней.

Я опускаю булаву. Потрескивает лед под ногами. Лавируя, отклоняясь то вправо, то влево, на меня несется моя смерть — молодая, веселая, полная внутреннего ритма...

Секунды растягиваются. Замирают вовсе. Я ловлю ее ритм, как если бы она была ладонью, а я — барабанной декой.

Непростой ритм. Движение лезвия, высекающего искры на поворотах. Движение тела сквозь пространство. Движение булавы. Я стою, вмерзнув в лед, и только чуть заметно покачиваюсь. Я точно знаю, где окажется моя соперница через долю секунды. И уж конечно знаю, как она нанесет удар.

Я не спешу.

Когда она подъезжает вплотную, чуть меняет направление, чтобы не споткнуться о мое тело, и бьет меня булавой в висок, я отклоняюсь на долю миллиметра, хватаю запястье в железном браслете и дергаю в направлении удара, продолжая ее движение.

Она падает. Складной меч скользит дальше сам по себе. Моя соперница рывком высвобождается и тут же вскакивает на ноги. Зрители вокруг озера кричат и улюлюкают. В глазах у девчонки — крошечная ночь. Теперь она готова не просто убить меня — размазать по льду.

Булава взвивается в ее руке. Девчонка не успела — или не захотела — поменять ритм, поэтому я снова ловлю ее: увернувшись, захватив за руку, продолжаю ее движение. Она теряет равновесие: я могу ударить ее булавой по затылку. Но не делаю этого.

Она отпрыгивает. Снова принимает боевую стойку. Вокруг нас что-то изменилось — я не сразу понимаю, что на смену шуму толпы пришла тишина. Люди-волки молчат. Слышно, как метет по льду поземка.

Соперница наконец-то принимает меня всерьез. Плотно сжимает губы. Едва касаясь льда тяжелыми подошвами, начинает создавать новый ритм — рваный, непредсказуемый. Волчий.

Я чувствую, как подрагивает лед. Вся поверхность озера превращается в мембрану. Она только кажется однородной. У нее есть свои линии натяжения, есть слабые и сильные места, она прогибается: слишком тонкий лед для таких морозов...

Моя соперница делает шаг вперед, и я вдруг понимаю — не умом, а, скорее, позвоночником — что она хочет сделать.

И я делаю это на долю секунды раньше. Подключившись к ее ритму, бью ногой в едва наметившуюся на льду трещину. Трещина вырывается из-под моей подошвы молниеносно, как змея. Кидается под ноги сопернице — и расползается, превращаясь в пролом. В полынью.

Девчонка без единого звука уходит под воду.

На берегу тихо.

Время снова замерло. Я вижу, как она выныривает — вся, как в сахаре, в ледяной крошке. Как цепляется за край тонкого льда, но он крошится под ее руками и проваливается, не давая опоры. Трещины бегут к моим ногам — я отступаю. Девчонка смотрит на меня — в ее глазах обида. Как будто я обещала взять ее с собой на показуху, но обманула и ушла без нее.

Она пытается зацепиться — на этот раз булавой. Но лед очень гладкий. Шипы скребут по нему, не оставляя даже царапин.

Краска, залившая лицо моей соперницы во время поединка, сменяется бледностью, а потом синевой. Люди-волки молчат. Никто из них не сходит с места: поединок продолжается...

Она пытается выбраться на лед спиной. Ее меховая одежда намочена. Тяжелые сапоги напитались водой и тянут вниз — туда, где коротает вечность белый скелет волка.

Мои башмаки заливают водой.

Я отступаю еще. Потом ложусь на живот, распластавшись, как паук на стекле, и ползу к полынье, выставив перед собой булаву.

Наши булавы цепляются друг за друга. Потянув на себя деревянную рукоятку, я чувствую, какая она тяжелая. Как будто там, с другого конца, за булаву держится сама смерть.

Я отползаю — лед залит водой. Он страшно, невыносимо скользкий. Я цепляюсь за него ногтями, коленями, носками ботинок. Медленно, по сантиметру, оскальзываясь и возвращаясь

назад, я вытаскиваю ее, эту девчонку, из ледяной полыньи. А вокруг тишина: зрители замерли. Поединок продолжается.

Наконец она поднимается на четвереньки, бросает булаву и ползет уже сама — к берегу. Мимо меня, не глядя. В ее волосах лед. Бока тяжело вздымаются. Синяя кожа покрылась пупырышками.

Я поднимаюсь на ноги. Мне тоже холодно. Одежда намокла.

Обвожу взглядом людей-волков...

Они смотрят со страхом. Как будто не верят себе. Как будто у меня две головы, и они только сейчас это заметили.

Потом наперед выходит Царь-мать. У нее темное, почти черное лицо, а глаза полыхают желтым. Я пугаюсь, встретив ее взгляд.

— Ты посмеялась над нами, — говорит она скрежещущим, страшным голосом. — Ты за это заплатишься.

Ярый приносит мне чугунок с кашей и молча смотрит, как я ем.

— Слушай, — я вытираю губы, — ну хоть ты объясни мне...

Он качает головой, морщась, будто от боли:

— Зачем? Ты честно победила. Ты сейчас была бы волчицей и выбирала, кого из трех родов взять себе в мужа...

— А почему сейчас я не могу...

— Потому что ты нарушила закон! Ты опозорила все три рода! Тебе же ясно сказано: бейтесь, пока одна из вас не умрет! Зачем ты вытащила Безымянную?

— Затем, что она человек! — рывкаю я. — Она мне ничего плохого не сделала...

Кроме того, что хотела меня убить и чуть не убила, добавляю про себя и огорчаюсь.

— Это же традиция... — Ярый вздыхает. — Это же закон, которому много веков! Нашим женщинам запрещено выходить замуж, пока они не убьют врага... или, по крайней мере, не проявят себя в испытании.

— Разве я враг?

Он раздраженно машет рукой:

— Ты сама себе враг. Если бы ты честно победила в поединке — даже Царь-мать не смогла бы пойти против традиции. Ты была бы одной из нас. А теперь Царь-мать вызвала Охотницу с гор, и завтра тебя убьет Охотница. На глазах у трех родов.

Я стискиваю зубы. Царь-мать нравится мне все меньше и меньше.

— Кто такая Охотница?

— Увидишь.

— Что, опять будет поединок?

— А как иначе можно восстановить гордость трех родов?

Я пожимаю плечами. Меньше всего на свете мне хотелось бы посягать на волчью гордость.

— Ты так сражалась, — говорит Ярый совсем другим тоном. — Ты... как ты смогла? Безымянная — лучшая ученица Царь-матери. Была.

— Ее что, убили?!

— Нет... только теперь она никогда не выйдет замуж и никого не родит. И имени ей не положено. Все три рода будут звать ее «Безымянная», каждый раз напоминая ей о позоре.

Я берусь за голову. Если нравы и обычаи диких казались мне странными, но симпатичными — повадки людей-волков не нравятся совсем.

— Почему вы все так слушаетесь Царь-матери?

Ярый оглядывается на дверь.

— Потому что мать — голова рода. Царь-мать — голова всему. Только мать может судить своих детей. Учить их. Награждать их. Наказывать. Решать, кому жить, а кому не стоит.

— Мать не может быть жестокой!

— А где тут жестокость? Получить имя — это испытание, которое удастся не всем. Если бы каждый, кто рожден, получал имя, три рода ослабели и выродились бы через несколько поколений.

— У вас выживают только самые сильные, да? А как же самые умные? Самые добрые? Самые красивые, в конце концов?!

— Ты не понимаешь! Получить имя — не значит быть самым сильным. Получить имя — значит быть готовым умереть за три рода. Умереть, а не принять милость от врага!

— Значит, Безымянная должна была гордо тонуть?

— Да. Она ушла бы побежденной, но не опозоренной.

Я берусь за голову. Логика в его словах есть, но принять ее, как ни стараюсь, не могу.

— Царь-мать десять лет опекает наши три рода, — говорит Ярый тоном ниже. — За это время родилось много здоровых и красивых детей. Охотники реже гибнут в лесу: она почти всегда знает наперед, что будет. Она умеет лечить смертельные раны. Она знает, кого к какой работе приспособить. И она... она мать моей матери.

— Значит, она твоя бабушка? — удивляюсь я.

Ярый хмурится. Он не знает такого слова.

— Слушай, — говорю я, подумав. — А ты... ты сам как получил свое имя? Какого врага ты убил?

— Мужчинам не обязательно убивать врагов, — говорит он с достоинством. — Мужчины совершают подвиги на охоте.

— И ты...

— Я убил вепря.

— А что это такое?

— Дикий кабан с клыками.

— И как ты его убил?

— Без оружия, — говорит он, высоко подняв голову. — Голыми руками.

— Как?!

— Я его задушил, — скромно признается Ярый.

И выставляет перед собой ладони. Крепкие ладони с длинными красивыми пальцами.

— Ну, молодец, — бормочу я.

Всей жизни моей осталось несколько часов, но я не могу не восхищаться Ярым. И не удивляться ему.

На следующий день солнца нет. И это замечательно: я могу смотреть по сторонам, не щурясь и не обливаясь слезами.

Поселок людей-волков залит туманом по самые крыши. Не видно гор. Я вспоминаю наши прогулки по верхушкам башен — тогда тоже был туман, и ничего не видно было дальше вытянутой руки...

Меня ведут вверх и вверх по вытоптанной в снегу тропинке. Туман редет. Я оглядываюсь — мы поднялись над слоем тумана, он лежит неподвижно, как тихая вода, из которой торчат вершины гор, лесистых и лысых.

Мы приходим к обрыву. Там уже стоит Царь-мать — мрачнее тучи. Волосы, рассыпанные по плечам, кое-где спутались.

— Ты проиграла свой поединок, — говорит она, глядя мимо меня.

— Почему? Я выиграла!

— Ты проиграла. — Ее глаза делаются тусклыми, желтые искорки почти гаснут. — Ты недостойна поединка, поэтому тебя просто убьют — как скот. Ступай по мосту, и будь забыта.

Я смотрю туда, куда указывает ее черный палец. Рядом с обрывом — скала, крохотный островок среди тумана. На верхушку скалы ведет веревочный мостик, такой хлипкий, что смотреть страшно. Мост, по всему видно, долго не провисит: ветер играет обрывком веревки где-то на его середине. За мостом, на скале, смутно маячит человеческая фигура.

— Это Охотница? — спрашиваю я.

Царь-мать кивает.

— Почему вы так хотите меня убить? — спрашиваю я после секундной паузы.

Ее тусклые глаза на мгновение оживают.

— Потому что у тебя на лбу написана беда для трех родов, — говорит она медленно. И, подняв голову к небу, ни с того ни с сего добавляет: — А завтра будет большой снег.

Я ожидаю увидеть все что угодно, но когда Охотница, поднявшись с камня, поворачивается ко мне лицом, — невольно отступаю и чуть не падаю в пропасть.

Охотница выше меня на три головы. В плечах — половина моего роста. Черные волосы связаны в грубую косу. Глаза круглые, без ресниц и без бровей. Сколько не всматриваюсь, не могу заметить в них ни мысли, ни жалости.

Нос сломан, распластан по лицу, широкие ноздри кажутся двумя черными дырами. Когда Охотница, как скалящийся волк, поднимает верхнюю губу, я вижу, что у нее недостает зубов. А те, которые остались, почти полностью черные.

У нее руки чуть ли не до колен. В правой — топор. Она смотрит на меня, и под этим взглядом я обмираю. Охотница делает шаг, намереваясь подойти и убить меня, как скот.

В последнюю секунду я, опомнившись, бросаюсь наутек.

Каменистый верх чуть шире лестничной площадки: далеко не убежишь. Пропасти с четырех сторон. Туман колышется рядом, из него поднимаются, как статуи, бесформенные белые фигуры. Я оборачиваюсь. Охотница заносит топор, и моего затылка снова касается еле заметное, ледяное, цепенящее дыхание...

Я отпрыгиваю назад. Заснеженный камень под ногами качается, я срываюсь. Пытаюсь удержаться, но сползаю на животе все ниже и ниже. Ноги не находят опоры. В последний момент цепляюсь за край скалы и повисаю на руках.

Высоко надо мной стоит Охотница. Смотрит сверху вниз. Я вспоминаю Григория, как он втащил меня на подножку вагона...

А потом вспоминаю того паренька, что на показухе в Оверграунде выиграл гонки по отвесной стене. Как его звали?

Его звали Держись.

Прижимаясь к почти отвесной стене, следуя от опоры к опоре, пытаюсь обогнуть скалу. Цепляюсь за камни, за корни. Ледышки хрустят под пальцами. Охотница следует за мной — иногда я вижу над собой ее сапоги, на голову мне осыпается снег. Сквозь ветер и шорох снега слышу ее дыхание...

И успеваю угадать удар.

Там, где только что была моя правая рука, опускается топор. Летит каменная крошка. Мгновение — топор опускается там, где только что была моя левая рука. Я срываюсь еще раз, пролетаю несколько метров и из последних сил хватаюсь за ветку чахлой, дохленькой сосны, неизвестно как выросшей в расщелине скалы.

Сосенка трещит. Я болтаюсь над пропастью. И, совершенно неожиданно, приободряюсь.

Сейчас все на моей стороне: высота, ветер, который крепнет с каждой секундой. И даже эта сосна, боровшаяся за жизнь не год и не два, теперь на моей стороне. Подтянувшись, я добираюсь до ее ствола (сейчас он торчит из скалы горизонтально). Устраиваюсь удобнее. Сажусь верхом.

Охотница смотрит на меня с каменного верха. В ее круглых глазах нет ни раздражения, ни злобы, ни ярости. Она привыкла убивать спокойно. Даже строптивую дичь. Она не вступает в поединок, она не меряется силой — она просто убивает.

Я вижу, как она взглядом измеряет расстояние до корня сосны, вцепившегося в расщелину. Ложится на живот, придерживаясь за выступающий камень, свешивается вниз. Бьет топором по сосне — и одним ударом перерубает ствол почти до половины.

Но, прежде чем сосна с треском ломается, я успеваю вскочить на ствол ногами. И успеваю пробежать по стволу, как по тонкому карнизу. Шаг, другой, третий... Ветер помогает мне. Я с разгону наступаю на голову Охотницы, все еще склонившейся над сосной, и выпрыгиваю на каменный верх. И почти одновременно сосна летит в пропасть.

Охотница вскакивает. В ее глазах впервые появляются искры: дичь, которая посмела наступить ей на голову, перестает быть дичью. Она становится врагом.

Я готова пожалеть о том, что сделала.

Охотница идет на меня, в ее движении нет ритма. Вообще. Она не размахивает топором: топор — продолжение ее тела. Она движется быстрее, чем в моем представлении может двигаться человек. Это не женщина — это комбайн для убийства; это по-настоящему страшно.

Я поворачиваюсь и бегу обратно, к веревочному мосту.

Охотница настигает — рывком, на половине моста. Свистит в воздухе топор. Я не пытаюсь уйти из-под удара. Не думая, не оценивая, а только повинаясь интуиции, продолжаю удар своим движением — и прыгаю с моста.

Мы летим.

По инерции Охотница бросается за мной, слишком поздно понимая свою ошибку. Долю секунды мы висим в воздухе без опоры — и я, и она. Но она тяжелее. И еще: она никогда не жила в Оверграунде.

Полы моей куртки напрягаются, как крылья. Ветер делается опорой — на долю мгновения. Этого достаточно, чтобы долететь, дотянуться — и уцепиться за край веревки, свисающей с моста.

А Охотница, перекувыркнувшись в воздухе, летит вниз за своим топором. На ее лице — удивление. Минутой спустя слышу, как далеко внизу бьется о камни ее большое тело.

Я выхожу навстречу Царь-матери. Глядя на меня, она стареет на глазах.

— Хватит, — говорю я и не узнаю своего голоса. — Ты два раза пыталась убить меня, и у тебя ничего не вышло. Не знаю, чего тебе от меня надо, но больше я в твои игры не играю. Я ухожу!

Поворачиваюсь и иду прочь — в горы.

Далеко мне уйти не удастся. Двое мужчин догоняют меня, валят на снег и заворачивают руки за спину.

А на следующий день ничего не происходит, потому что с самого утра валит хлопьями снег, да такой, что ни зги не видно. И я, лежа под шкурой и слушая, как ноют синяки и царапины, все время вспоминаю ее слова: «У тебя на лбу написана беда для наших трех родов. А завтра будет большой снег».

Приходит Ярый, приносит еду. Садится на лавку. Молчит.

— Уходи, — говорю я ему. — Не желаю тебя видеть.

— Почему? — удивляется он.

— Потому что все вы, мужчины-волки, — бабы на самом деле. Меня два раза чуть не убили — ни за что ни про что! А ты мне кашу носишь и вздыхаешь.

Он смотрит на меня так долго и укоризненно, что я отвожу глаза.

— Царь-мать заперлась в своем доме, никого не впускает, — говорит Ярый. — Гадает о твоей судьбе. И о судьбе трех родов.

— Если она такая провидица, твоя Царь-мать, почему она не знала наперед, что я одолею Безымянную? Что Охотница не убьет меня?

— Потому что будущее никогда не открывается полностью. Оно показывается по кусочкам... То, что ты победила Охотницу, — это знак. Никто в трех родах не мог победить Охотницу. Ни мужчины, ни женщины. В тебе есть особая сила. Или особая удача.

— Если бы у меня была удача, я бы сейчас не здесь сидела. Я была бы в городе, среди друзей...

Я замолкаю. Впервые думаю о том, что было бы, останься я в Оверграунде навсегда. Неба хватит на всех... но я не умею жить в облаках. А значит, вся моя жизнь была бы — старые башни, обрушившиеся перекрытия, сорванные крыши. Чужие гнезда. Может быть, я свила бы свое и водила детей на пятьдесят шестой этаж — смотреть энергетическое шоу...

И самые живые краски открывались бы им на искусственном экране, состоящем из пикселей. Ничего ярче в их жизни бы не было и быть не могло.

— Ты о чем задумалась? — спрашивает Ярый.

— Нет во мне никакой особой силы, — говорю медленно. — Я просто хотела попасть на Завод. Только не в качестве топлива.

Ярый мигает. И вчера, и позавчера я пыталась выяснить, что он знает о Заводе. Но всякий раз, как я произносила это слово, он замолкал, и глаза его делались непроницаемые.

А сейчас он смотрит на меня внимательно, и я понимаю: он вот-вот заговорит. Наконец-то. И оказываюсь права.

— Объясни мне, — начинает Ярый, — как можно стремиться... в То Место? Зачем?

— У нас в городе есть легенда, что Завод — это центр маленькой страны, где живут счастливые люди.

— Живут? Счастливые?!

И Ярый выкладывает мне всю правду, которую я так хотела — и боялась — услышать.

На Заводе вообще нет людей. Там только железные автоматы. А управляет ими чудовище, которого никто никогда не видел. Его зовут Сердце Завода — это могучее и совершенно безжалостное сердце.

— Сердце — часть Завода? Или это другое существо?

— Откуда я знаю? — Ярый стискивает пальцы. — То Место... Рассмотреть его нельзя, он все время в дыму, в тумане. И хорошо, что нельзя рассмотреть! Я однажды глянул... Просто так, издали... — Ярый сжимает зубы, одолевая внезапную дрожь. — Это нечеловеческое место. Там вокруг проклятые земли, такие, знаешь, где пропадают и звери, и люди. Пошел — и пропал. Жуткое место. Туда ведет Небесная Нитка...

— Канатная дорога.

— Ну да. Но оттуда никто не возвращается. Никогда.

— Погоди... Откуда ты знаешь? Он устало мотает головой.

— Иногда ему не хватает тех, кого привозит Небесная Нитка. Тогда он отправляет своих чудовищ в горы. Иногда они деревянные или каменные, иногда в человеческом обличье, но без глаз. Они нападают на тех, кто живет вдали от поселка: пастухов, лесорубов. Захватывают живьем и тащат в То Место. Единственная, кто смогла отбиться от них, до сих пор была Охотница.

Несколько минут перевариваю услышанное. Проклятая Царь-мать! Тут такое творится — а она хочет *меня* убить! Мне бы поговорить с Охотницей, может, она рассказала бы что-то очень важное...

А теперь я никогда не поговорю с ней.

Снег идет и идет. Ярый приносит дров со двора. Это куски настоящего дерева, припорошенные снегом. Ярый бросает их в огонь. Они дымятся и шипят.

Я думаю: как далеко остался город. Здесь, в заснеженных горах, странно представить людей, каждую полночь надевающих энергоманжеты. Если бы горожан, всех до единого, выпустить в эти горы, что бы с ними случилось?

Они бы умерли. От голода, холода, от волков. Но прежде — от нежелания жить.

Я открываю рот, чтобы спросить у Ярого, согласился бы он жить в городе или нет. Но в этот момент дверь приоткрывается, впуская поток холодного воздуха.

Ярый оборачивается — и чуть не роняет из рук полено.

В комнату, пригнувшись, входит старик с очень большой головой. У него крючковатый нос, седая — или заснеженная? — борода и светло-голубые глазищи.

Я обмираю: где-то я его видела. Только не могу понять где. Неужели в городе?!

— Идем со мной, — говорит он мне, не обращая внимания на Ярого. — Есть разговор.

Старик ведет меня в сторону от поселка, в бурелом. Снег валит и засыпает тропинки, я проваливаюсь по колено. А старик идет по верхушкам сугробов — его широкие, обмотанные шкурами ступни почти не оставляют следов.

Перед нами открывается узкая нора в снегу. Старик, не оглядываясь, ныряет внутрь — он уверен, что я за ним последую. Ну, а мне ничего не остается, как согнуться и влезть в снежный тоннель следом.

Никогда бы не подумала, что это вход в человеческое жилище. Тоннель все темнее и темнее. Потом впереди загорается огонек. Спустя секунду к запаху земли, мороза и снега примешивается совсем неожиданный запах сухой травы.

В городе очень мало травы. Но иногда зеленый кустик вырастает в щели асфальта, на крыше невысокого дома. В детстве мы разминали травинки между пальцами и нюхали. Иногда жевали. Иногда высушивали и клали под стекло...

— Входи.

Раскрывается дверь. Стряхиваю снег с волос и плеч, топаю ногами, сбивая налипшие комья. Вхожу.

Это землянка. И довольно уютная, хотя и небольшая. Пол устлан сухой травой. Пучки душистых трав свисают со стен и потолка. Никогда в жизни не видела столько травы.

— Садись.

Я усаживаюсь на пол. Старик садится напротив, скрестив ноги. В землянке нет ни печки, ни трубы, но все равно тепло. И совсем не чувствуется сырости.

Плошка с огоньком стоит между нами. Я почему-то уверена, что огонь — для меня. Старик наверняка видит в темноте — без всяких ночных очков.

— Тебе случалось предвидеть будущее?

Я открываю рот. Снова закрываю. Вопрос застает меня врасплох.

— Нет... наверное.

Старик кивает.

— Ты молода. И, скорее всего, умрешь молодой. Царь-мать не остановится — слишком жестокое будущее ты принесла трем родам.

— Я не принесла никакого...

— Помолчи, — чуть улыбается. — Царь-мать видит только один путь. А я вижу развилку. Ты умрешь. Или погубишь три рода. Или спасешь их. Подаришь им новое будущее. Обоснуешь четвертый род — самый живучий и сильный. И тогда нашим детям не придется бояться Завода.

— А они боятся...

— Помолчи. — Снег на его бороде тает, и я вижу, что она не такая уж седая — черная с проседью. — Земля боится весны. Тает лед, разрывая жилы. Напрягаются и лопаются почки — это боль... это роды. Старое, не успевшее отжить свое, схлестывается с молодым, не успевшим войти в силу... Ну-ка, встань.

Мое сердце пропускает удар. Я повинуюсь.

Старик поднимается тоже. Встав напротив меня, прикрывает огромные глазищи. И начинает медленно покачиваться вперед-назад. Как будто тяжелый груз — поток расплавленной лавы — то вытекает вперед и почти касается земли, то втягивается назад, сжимаясь в точку. Не могу даже понять, что происходит, не могу описать этого — но подсознательно повторяю его движения. Мы молча раскачиваемся, как два дерева под одним ветром.

Потом он вскидывает руку, будто отводя от лица паутину. Жест, кажется, совсем не угрожающий, но я отпрыгиваю и налетаю плечом на стену землянки. Треснит сухая трава. Откуда-то сверху на меня летят мелкие легкие зернышки.

— Да, — говорит старик удовлетворенно. — Здесь есть о чем подумать... Здесь есть чего бояться. Ты была синтетиком?

Он знает, кто такие синтетики! И так легко об этом говорит...

Старик ухмыляется, будто мое удивление его забавляет.

— И я был синтетиком. И я был постарше тебя, когда попал в горы... Тогда здесь было два рода. И надо всеми — Царь-мать.

— Вас тоже хотели убить? А как вы попали в горы? Вас тоже отправили на Завод? Вы тогда знали, что это такое? И как вы перестали быть синтетиком? Уже тогда был Оверграунд? И энергетический ритуал?

— Так много вопросов... — Он поднимает верхнюю губу, обнажая белые, совершенно не старческие зубы. — Так мало ответов... Я расскажу тебе все, что сумею. Если переживешь завтрашний день... Дикая.



Уже почти стемнело. Дорожки заметены снегом. Над поселком поднимаются дымы. Никто меня не провожает — старик остался в своей землянке. Конвоиров не видно. Я одна на краю леса — могу, наверное, и уйти...

Хотя куда я денусь одна в зимнем лесу?

Иду, куда глаза глядят. Ноги непонятным образом приносят к тому самому дому, где ждет меня Ярый.

Берусь за дверную ручку — и вдруг вспоминаю, где я видела старика с большой головой. Покрываюсь мурашками. Будто ответом на мои мысли из лесу приходит вой — тоскливый, заунывный. Один голос, второй, третий...

Открываю дверь нешироко, чтобы не выпустить тепло. Нырять внутрь, в сених отряхиваю снег с одежды и, дыша на пальцы, шагаю через порог в душное тепло.

На столе горит огонек. Вижу Ярого, сидящего у печки, и успеваю удивиться, какое у него странное лицо. А потом догадываюсь оглянуться.

Царь-мать сидит на моей лавке. На ее лице играют отблески огня. Волосы лежат на плечах блестящим жестким плащом.

— Здравствуйте, — говорю я, потому что ни Ярый, ни Царь-мать нарушать молчание не собираются.

— Будь ты неладна, — отзывается Царь-мать таким тоном, каким люди обычно здороваются. — Ну, что сказал тебе Головач?

— Он видит два пути. Я вовсе не обязательно всех тут погублю. Я могу, наоборот, принести счастье... Есть такая... развилка. Новое будущее.

— Я родила от него двенадцать детей, — медленно говорит Царь-мать. — Двоих задрал медведь. Двоих забрал Завод. Одну убила ты!

— Я не знала, — бормочу потрясенно, но Царь-мать меня не слушает.

— Как бы то ни было, всех людей из трех родов я считаю своими детьми. Кого ты убьешь завтра? Кого из них? Какими бедами мы заплатим за ту химеру, которую мужчины, — она бросает пренебрежительный взгляд на Ярого, — называют новым будущим? Я отвечаю за три рода. Я, а не он. Мужчина во главе племени — это война и смерть, погоня за лучшим по трупам хорошего... Трем родам не нужно нового будущего. Им довольно старого. Поэтому ты умрешь.

Она поворачивается и уходит, не сказав больше ни слова.

Ночью мне снится город. Снится, как я ищу подзарядку... но не для Евы. Для Головача. А он ходит за мной по пятам и смеется, и глумится. Подзарядку? Для меня?! Ты с ума сошла!

Во сне понимаю, что все идет не так, но поделать ничего не могу. Сон несет меня, как мутная река, и наконец приносит на пустырь в районе башен — вокруг громоздятся железные статуи волков, свезенные, видно, из какого-то музея. Или с выставки сумасшедшего скульптора. У некоторых волков по пять, шесть ног, оскаленные пасти... И огромные соски, почти как у коров. Дойные волчицы? Что за бред!

Посреди пустыря стоит человек, при виде которого я изо всех сил пытаюсь проснуться. Это энергетический контролер — вернее, тот, кто выдавал себя за контролера. Черный призрак. Вестник несчастья. Лицо его в бороздках, но это не старческие морщины. Это будто стыки бронированных плит. Глаза смотрят из черных провалов, словно из глубоких дюз.

— Многие не доживают до утра, — говорит он негромко и жутко. — Энергии на всех не хватает.

Железные плиты, из которых состоит его лицо, приходят в движение. Меняются местами скулы. Падает подбородок, открывая черный тоннель пасти. Я ору...

И просыпаюсь.

Куда ночь, туда и сон. Как бы ни сложилась моя судьба, в город я больше не вернусь.

На другой день за мной приходят конвоиры и ведут... на казнь? Или опять на бой?

Еще не доходя до места, слышу гомон толпы и запах дыма.

В огромной яме с плоским дном разложен костер. Или много костров; я вижу целое поле огня, над которым — примерно в полуметре — натянута полупрозрачная сетка с очень мелкими ячейками. Неужели меня хотят поджарить на решетке?!

Дрожит, переливаясь струйками, разогретый воздух. Из струйчатой дымки выходит Царь-мать — я не сразу ее узнаю.

Она сбросила шкуры, всегда укрывавшие ее до пят. Она гораздо стройнее, чем казалось мне раньше. Белая рубаша до колен перетянута на талии широким поясом. Босые ноги уверенно ступают на сетку над огнем. Царь-мать выходит на середину огненного поля и окидывает взглядом три рода, столпившиеся вокруг костра.

Ее длинные волосы, собранные вокруг головы, кажутся тяжелым шлемом.

— Сегодня я принимаю бой, — хрипло и гулко говорит Царь-мать. — За наше будущее.

И оборачивается ко мне.

Она безоружна. Она босиком. Она гораздо старше меня. И все-таки у меня мурашки бегают по спине, когда смотрю на нее. Мне само собой становится ясно, что эта соперница гораздо страшнее Охотницы, не говоря уже о Безымянной.

Мне помогают стащить с ног ботинки и носки. Ступаю на сетку, внутренне замирая, — жду, что она обжигает. Но она чуть теплая, хотя внизу, прямо подо мной, видны языки пламени. Никогда в жизни мне не доводилось видеть такого большого огня! Почему он не жжет нас? Это колдовство?

И еще — эта сетка очень упругая. Как мембрана.

Я не вижу среди собравшихся ни Ярого, ни Головача. Но это вовсе не значит, что их нет. Толпа такая плотная, и ведь у меня нет времени всматриваться в лица... Последние человеческие лица, которые я, может быть, вижу в своей жизни.

Царь-мать глубоко вздыхает. Смотрит мне в глаза. Без ненависти. Без ярости. Без азарта. На секунду ее взгляд делается похожим на взгляд Охотницы.

Потом она чуть заметно покачивается. Вперед. Назад. Вперед. Как огромный маятник. Это движение завораживает. Я почти вижу, как собранная в поток энергия — сила? воля? — упруго перетекает вперед, почти к самой сетке, и назад, и с каждым покачиванием становится тяжелее, жестче, опаснее.

Потом я чувствую *ритм*.

Это происходит помимо моей воли. Сетка-мембрана под ногами дрожит, и каждый язычок пламени под ней повинуетсЯ ритму. Ровно, как барабан, стучит сердце Царь-матери. То опережая, то чуть отставая от него, выводит ритмический рисунок кровь в артериях и венах. И поверх всего этого звучит боевой ритм — очень сложный и потрясающе красивый. Кажется, Царь-мать каждым движением поет песню.

Она проводит рукой по воздуху — и я вижу зубчатый белый круг, похожий на взбесившуюся циркулярную пилу. Я пригибаюсь, что-то проносится у меня над головой — свет? звук? Не выжидая ни мгновения, Царь-мать вдруг приседает до самой сетки, поворачивается вокруг своей оси, и новый удар, теперь понизу, готов отрубить мне ноги.

Я подскакиваю так высоко, как никогда в жизни не прыгала. А когда снова касаюсь ногами мембраны, ритм меняется.

Новый удар — на уровне пояса. И еще один — на уровне глаз. И еще один — по ногам. Царь-мать одинаково уверенно существует на трех уровнях, она будто размазывается в пространстве, существуя одновременно везде — и нигде. Вероятен любой удар, из любого места; я то ловлю ритм, то теряю его. Поймав, легко ухожу из-под удара. Потеряв, начинаю метаться. Не успев отклониться, пропускаю — на излете — удар по уху. Звон и боль, почти теряю сознание, но в этот момент, будто сжалившись надо мной, ритм из рассыпанного снова становится цельным. В эту минуту я понимаю Царь-мать лучше, чем любое существо на земле. Я срослась с ней. Я сроднилась с ней. Я — почти она, и поэтому точно знаю, что сейчас — доля секунды — меня ожидает страшный удар по сонной артерии...

Со стороны, наверное, кажется, что мы танцуем. Так оно и есть: Царь-мать подчиняется только внутреннему ритму. Я — от этого зависит моя жизнь — должна слышать этот ритм

тоже. Упругая сетка гудит под нашими ногами, вплетая в ритм свои синкопы. Мы танцуем на огромном барабане — над огнем.

Пот заливает мне глаза. Каждая жилка дрожит от напряжения. Самое трудное — заставить себя расслабиться. Ведь ритм — это чередование усилия и отдыха, натяжения и расслабления нервов. Я успеваю подумать о Головаче: ведь это он, вольно или невольно, настроил меня на нужный лад. Показал — специально? — чего мне ждать, к чему готовиться, с чем придется столкнуться в бою...

Царь-мать все ускоряет и усложняет ритм. Пытаюсь не отстать от него, впадаю в странное состояние. Я будто сплю и бодрствую одновременно.

Босые ноги Царь-матери выбивают на мембране свирепый жесткий рисунок. И вдруг впервые в жизни я понимаю, что такое вероятность. Что такое развилка.

Царь-мать идет на меня, покачиваясь в ритме, и я вижу ее путь — наперед. Она, *возможно*, отпрыгнет и атакует справа. А *возможно* — припадет к дрожащей сетке и атакует снизу. Я вижу эти две возможности — мгновение спустя одна из них реализуется, но я не знаю, откуда ждать удара!

Царь-мать подпрыгивает и разворачивается в воздухе. В миг, когда она касается мембраны, возникает сильное колебание; я использую его — и, оттолкнувшись, переворачиваюсь в полете через голову.

Приземляюсь на ноги, но, не устояв, тут же падаю на одно колено. Что делать?! Ждать, пока она выдохнется? Я ведь не могу наносить удары в ответ, я не знаю как! Я могу танцевать и уворачиваться — но не вечно!

Царь-мать снова размазывается, будто пускает возможное будущее от развилки — по двум дорогам. *Вероятно*, ее следующий удар проломит мне переносицу. Или, *вероятно*, сломает бедро. Третьей вероятности, спасительной, я не вижу, сколько ни ищущ...

И тогда, отчаявшись, полностью отдаюсь на милость ритму.

Я не думаю. Я почти не существую. Я везде — и меня нет нигде. Мое тело — набор бесконечных вероятностей, мой дух — чередование ударов и пауз, тени и света, сильной и слабой доли. Кажется, я пою ту же песню, что и Царь-мать. Кажется, я начинаю свою песню. Кажется, два наших ритма схлестываются...

Мы — две реки, текущие в одном русле. Она полноводная, я — ручеек; но с каждой минутой я крепну. Проходит вечность — и мы сравнялись. Проходит еще одна вечность — и я оттягиваю на себя массы струящейся силы. Царь-мать иссякает с каждой минутой. Она иссякает...

Все заканчивается в одно мгновение.

Я — это снова я. Мое тело. Мое лицо. Мое дыхание. Легкие горят, губы трескаются, сердце готово выпрыгнуть через рот и забиться на жесткой сетке. А прямо передо мной...

У моих ног, лежит Царь-мать. На спине. Смотрит в небо. На ее белой рубахе не видно крови. Ни на лице, ни на теле нет следа от удара. Я уверена, что не касалась ее.

Ее грудь вздымается и опадает. Все реже. Все спокойнее. С каждым вздохом Царь-мать делается все более... тонкой. Плоской? Она похожа на оседающий сугроб.

— Ты победила, — беззвучно произносят ее губы. — Лана.

Она закрывает глаза. Желтые искорки гаснут.

Я сразу чувствую, как жжет сквозь сетку угасающее пламя. Я оглядываюсь — три рода стоят кольцом, мужчины, женщины и дети. Ее дети. А она лежит у моих ног, ссохшаяся и неподвижная. От ее белой рубахи, от собранных на голове волос поднимается пар.

— Я не хотела. Она сама... Я не хотела, честное слово!

Стоять на сетке невозможно. Не удержавшись, бегу к краю и спрыгиваю в снег — обожженные ступни обдаёт приятным холодом.

— Царь-мать умерла, — говорит знакомый голос за моей спиной. Я оборачиваюсь и вижу Головача.

— Теперь вы меня отпустите?

Нет ответа. Они смотрят на меня — все, как один, со странным выражением.

Тело Царь-матери над костром начинает странно подергиваться. Пар от него валит сильнее. Пламя под сеткой все разгорается, хотя его никто не раздувает и не подбрасывает дров.

— Заберите ее оттуда! Заберите же!

Я вскакиваю на сетку — но она жжется так, что устоять босыми ногами невозможно. Чужие руки хватают меня за плечи, за пояс, оттаскивают назад. Люди стоят, молча стоят, и смотрят. Белая рубаша Царь-матери на глазах чернеет. Сквозь бурые прорехи вырываются язычки пламени.

Она загорается разом вся — будто облитая маслом. Сноп огня — столб дыма — и тело распадается пеплом, и ветер подхватывает его, уносит — смерчем — в небо. Сетка над костром трескается и плавится — клочьями. Через минуту там, где шел поединок, остается лишь неглубокая яма и догорающие угли.

— Что она тебе сказала? — спрашивает Головач. Я сижу на травах в его землянке. В полной темноте. На этот раз Головач не делает поблажек и не зажигает для меня огонек.

— Она сказала «Ты победила».

— Что-нибудь еще?

— «Лана», — вспоминаю я.

— Лана... — шепотом повторяет Головач. — Что же... Она осталась верна себе.

— Что это значит?

Он усмехается в темноте.

— Ты любишь задавать вопросы, я знаю.

— Вы любили ее? — спрашиваю резко.

Он перестает смеяться.

— Да.

— Почему же вы ее не оплакиваете?

— Потом, Лана, потом. Сегодня ночью я уйду в лес и оплачу мою жену... Царь-мать... над телом косули. Или оленя. Тогда весь лес услышит, как я плачу.

Я секунду молчу. Потом спохватываюсь:

— Как вы меня называли?!

— Тем именем, которое она тебе положила. Это ведь ее право — давать имена. А женщина, убившая врага и получившая имя, имеет право выйти замуж — за кого пожелает.

— Погодите, — говорю я и трясую головой. — Погодите...

— Ты предвидела когда-нибудь будущее?

Я вспоминаю свои видения над огнем.

— Да, — отвечаю пересохшими губами.

— Ты видела ее мертвой?

— Нет. Сначала я видела мертвой себя... А потом... что-то случилось.

— Ты переломила судьбу, — говорит он торжественно. — Ты сама устроила в своей жизни развилку. Вопрос только, принесешь ты нашим родам беду или счастье.

— Я хочу только, чтобы меня оставили в покое!

Он снова тихо смеется.

— Нет, Лана. Теперь тебя не оставят в покое. Приход весны... и наступление лета. Охота, раны, болезни... роды... свадьбы... новые имена...

— О чем вы?

— Разве ты не поняла, что случилось?

— Я победила Царь-мать. И она умерла. И костер ее... — я запинаюсь, — сжег.

— Это не просто костер. И не просто сетка. И не просто поединок... То место, где вы сражались, называется Огненным Коном. На Кон выходят только равные соперники. Кон помогает им сражаться на пределе возможностей... но побеждает тот, кто сумеет преодолеть предел. Выйти за грань, за собственные рамки. Когда одному это удастся, другой слабеет и умирает. И его сила достается победителю.

Я молчу.

— Царь-мать умерла, и от нее ничего не осталось. Только оболочка. Она сгорела, как сухой мох... Она десять лет опекала три рода. Многие из наших волков были ее детьми и внуками. Я помню ее в юности — никого не было сильнее и нежнее ее.

— И кто же теперь... будет Царь-мать? — В горле у меня стоит ком.

— Как, ты не знаешь? — Он в самом деле удивлен. — Конечно, ты, Лана.

Меня зовут Лана. Теперь мне кажется, что меня всегда, всю жизнь, звали этим именем. Оно пришлось мне впору, как собственная кожа.

Головач и Ярый показывают мне поселок — три угла для трех родов. Утопающие в снегу срубы. В пристройках шевелится, поначалу пугая меня, масса животных: в основном овцы. Есть и свиньи, и куры. Весной их выпускают на зеленую травку, говорит Ярый. Весна не за горами, скоро ее нужно будет звать. И хорошо звать, потому что снега в этом году навалило видимо-невидимо.

Люди выходят встречать меня. Иногда приглашают в дом. Я всегда соглашаюсь — ведь это моя семья, моя новая семья... Язык не поворачивается сказать: мои дети. А надо ведь привыкать.

Почти в каждом доме — много детей, сидят, затаившись, на печи или на лавках. Смотрят на меня, вытаращив глаза. Взрослые, наоборот, отводят взгляд. Стараюсь быть приветливой, а в глубине души не понимаю, как мне быть Царь-матерью. Как это возможно? Я для них чужая, они мне чужие...

— Скоро весна, Царь-мать? — спрашивает маленькая девочка, свесившись с печи. У нее каштановые волосы и ярко-голубые, как у Головача, глаза. — Скоро? Скоро?

— Скоро, — говорю я, не успев подумать. И скорее ощущаю, чем слышу, вздох облегчения, пронесшийся по комнате.

— А я им говорил, — сообщает Ярый, когда мы выходим на улицу. — Они не верили... То есть верили, но... Ты ведь по закону Царь-мать! Ты ведь знаешь, как делать весну!

— Что?!

Головач толкает меня в бок, и я замолкаю. Во всех жилищах, куда мы входим, есть изображение волка. Вырезанное из дерева, выжженное на столешнице, нарисованное на печи.

— Головач, — говорю я, когда в очередной раз оказываемся на улице, — мой барабан... на нем тоже волк.

Он кивает:

— Я знаю. Барабан спас тебе жизнь.

И не один раз, добавляю про себя.

— Мне его подарил в городе человек по имени Римус. Ты не знаешь, он бывал в горах?

— Трудно сказать. — Головач по-звериному встряхивает головой, с его волос и бороды летит во все стороны снег. — Не многие люди из города приходят сюда... А чтобы кто-то из гор вернулся в город — о таком я даже не слышал.

— А с Завода?

— С Завода никто не возвращается, — говорит он твердо.

Охотники собираются в лес. Их пять человек, за широкими поясами — ножи и топоры. Одеты в шкуры, они сами похожи на диких зверей, особенно когда, выйдя на околицу, по очереди кувыркаются через обгорелый пень. Пень торчит из-под снега — огромный огарчик вроде той щепки, что я когда-то целовала. Мужчины разгоняются и, оттолкнувшись от утоптанного снега, летят через пень, переворачиваются в воздухе и ловко приземляются на полусогнутые ноги.

— Что они делают?

— Баловство, — пренебрежительно шурится Головач. — Играют. Перекидываются. Понарошку.

Ярый бежит к охотникам, что-то говорит, указывая на лес и на меня.

— Что он говорил про весну? — спрашиваю вполголоса.

— Если ты не знаешь, как призывать весну, — уголком рта сообщает Головач, — никому в этом не признавайся. Даже Ярому. Даже мне. У тебя есть еще немного времени... Одно запомни: если Царь-мать со своими детьми не призовет весну, она не придет. Никогда.

Ледяной ветер прорывается под полы моей меховой куртки.

После слов Головача мне хочется убежать. Я ночью одна, в опустевшем доме Царь-матери, и всю ночь до рассвета думаю, что теперь делать.

Весна вроде бы должна приходить сама, без посторонней помощи. С другой стороны, откуда мне знать? В городе никогда не было ни зимы, ни весны. Может, когда-то и были, но не на моей памяти. Шутил со мной Головач? Он вроде бы не похож на шутника...

Я не знаю, как призывать весну. Понятия не имею. И не должна в этом никому признаваться. Весело?

Головач говорит, что ко мне перешла сила Царь-матери. Но я не чувствую за собой никакой дополнительной силы. Может быть, проверить?

Откинув шкуру, встаю с лежанки. При свете звезд и снега, пробивающегося из окошка, при свете тлеющих углей в печи начинаю приседать на правой ноге, раскинув руки в стороны, вытянув вперед носок левой ноги.

Десять. Пятнадцать. Двадцать. Приседаю, стиснув зубы. Сейчас во мне должна открыться сила Царь-матери. Ведь она была очень сильная. Сейчас... Вот-вот...

Мышцы отказываются держать. Я падаю на холодный деревянный пол. Ногу сводит судорогой. Я массирую ее, потом, перевернувшись на живот, упираюсь в шершавый пол ладонями. Начинаю отжиматься. Не даю себе ни секунды передышки. Работаю, как маятник, как механизм. Жду. Прислушиваюсь. Где сила Царь-матери?

Нету. Отжавшись тридцать восемь раз, бросаю это занятие и сажусь на скамейку.

Может, имелась в виду не физическая сила? А сила духа, например? Может, я смогу держать в руке горячий уголь?

Не оставляя времени на колебания, приоткрываю печную дверцу, кочергой подхватываю красно-сизый уголь из кучи жара. Вытаскиваю из печи (за ним тянется, играя, ленточка дыма). Роняю на ладонь... И тут же, зашипев, сбрасываю на пол. Боль ужасная, и никакая сила духа тут не поможет.

На ладони вспухает волдырь. Уголь дымится на полу; давлю его кочергой. Еще пожар не хватало устроить.

Опускаю руку в ковш с ледяной водой. Перевожу дыхание. Где же сила Царь-матери? Может, это просто традиция, поверье? Так охотники прыгают через пень, в который ударила молния, и верят, что теперь они волки, и в лесу им будет удача...

А Головач?

В лесу, где мы с Ярым собирали хворост, я увидела пень с воткнутом в него ножом — рукояткой вниз. А вокруг — много волчьих следов. Ярый даже близко подойти не дал — сказал, что это место Головача...

Я вытаскиваю руку из ковша, с нее скатываются капли. Гулко падают на барабан — он лежит рядом, на столе.

Промокнув ладонь краем шкуры, сажусь за стол и начинаю тихонько постукивать по гулкой деке с изображением волка. Отбиваю ритмом и эту ночь, и прошедший день, свой страх и сомнения. Я выстукиваю; ритм-блок, добытый из наушников пикселя, отвечает, преобразовывая тему то так, то эдак. Но впервые в жизни ритмы, рожденные генератором, не устраивают меня. Кажутся неточными, лысыми, лишенными энергии.

И не удивительно. Ведь барабан, а с ним ритм-блок, побывали в стольких переделках...

Переворачиваю барабан нижней декой вверх. Вот она, тоненькая электромагнитная мембрана. Это ей передаются колебания ритм-блока, это она рождает звук, резонируя с нижней декой...

Приспособление, когда-то казавшееся совершенным, теперь выглядит искусственным и неуместным, как пятая нога у волка.

Утром в доме так холодно, что вода в ковше замерзает. В печке — остывший пепел. В отхожем месте хрустит лед на полу. Я возвращаюсь в дом и ныряю под шкуры — зуб на зуб не попадает.

Входит Ярый, и вместе с ним входят охапка дров и облако пара.

— Мороз ударил, — говорит он, и в его словах чудится скрытый смысл. — Ты когда пойдешь в горы?

Я хочу спросить, зачем, но вовремя удерживаю язык. Чутье подсказывает: Царь-мать знала бы, зачем идти в горы. Значит, и я должна знать.

— Может быть, сегодня? — спрашиваю я. Ярый мрачнеет: ему не нравится нерешительность в моих словах. Я понимаю: Царь-мать и тени колебания не должна допускать в таком важном деле, как...

А в каком деле, понятия не имею. И никто не собирается подсказывать.

— Сегодня, — говорю я твердо, даже резко. И по лицу Ярого понимаю: угадала.

— Можно, я с тобой? — Он смотрит с надеждой. Я киваю. Он весело сгружает на пол дрова, весело растапливает печь, а я лежу, натянув до подбородка жесткую шкуру, и думаю: куда и зачем мы все-таки идем?

Мороз в самом деле нешуточный. На мне полное облачение женщины-волчицы: штаны из цветной шерсти, плотно вывязанные кольцами — красное, черное, серое, белое. Поверх холщовой рубахи — шерстяная. Короткая меховая юбка. Дубленая куртка из овечьей шкуры, красный пояс. На руках — кожаные шнурки, медные украшения с изображением волчьей морды. Мохнатая шапка, очертаниями напоминающая звериную голову. Сапоги мехом внутрь, на сапогах — снегоступы, хитроумно изготовленные круглые дощечки. Такие же снегоступы у Ярого. Мы идем, оставляя на снегу огромные волчьи следы.

От холода слипаются губы и горят щеки. На меховом воротнике оседает изморозь. Светловолосый Ярый кажется седым.

Поначалу ведет он, мне только и остается, что следовать за ним. Потом он уступает первенство, а значит, я должна выбрать дорогу.

Стараюсь не задумываться. Иду, куда глаза глядят, и скоро приходим к речке.

Речка горная, узкая, в каменистом извилистом ложе. Я мельком видела ее раньше — она храбро бежала среди ледяных надолбов. А сегодня она замерзла: лед неровный, бугристый, не засыпанный снегом. Ледяная дорога вниз.

— У меня тут тайник с ледорезами, — говорит Ярый.

— Вытаскивай, — отвечаю, не глядя. В такие дни, как сегодня, ничего случайного не бывает.

Ледорезами называются складные мечи и складные ножи, пригодные для того, чтобы скользить по льду. После победы над Безымянной я пыталась на них становиться раз или два — с горем пополам. Ярый утверждал: чтобы удержаться на ледорезе, нужно стремительное движение...

Под корнями дуплистого дерева у Ярого спрятаны два ледореза. Один побольше, с прямым клинком. Другой поменьше, полегче, с изогнутым лезвием. Вполне сгодится за саблю, если разогнуть. А если сложить пополам — так, чтобы лезвие на половину ширины выступало из рукоятки, — можно катить по льду.

Я трогаю пальцем острие ледореза. Лезвие — почти метр длиной — выступает из деревянной доски, резной, с двумя креплениями для сапог. Крепления устроены так, что накидываются почти мгновенно. А лезвие, оказывается, подвижное — поворачивается под разным углом к деревяшке и даже гнется. Вот почему Безымянная, покачиваясь так и эдак, ухитрялась не только устоять на нем, а и разогнаться...

— Тяжело на них ездить, — говорю будто сама себе.

— Да, — беспечно отвечает Ярый. — Смотри.

У него блестят глаза. Он скидывает с ног снегоступы. Прежде чем я успеваю что-то сказать, вспрыгивает на ледорез и щелкает креплениями.

Лед не звенит — он грохочет. Ярый, раскинувший руки-крылья, напоминает мне кого-то из диких. По ленте застывшей реки, лавируя между камнями и надолбами, он несется все вниз и вниз, а докатившись до небольшого углубления-озерца, разворачивается со скрипом и ледяными брызгами, спрыгивает с ледореза и смотрит вверх — на меня.

Мы встречаемся взглядами.

Я сильнее тебя, говорят глаза Ярого. Пусть ты Царь-мать, но я умею кое-что такое, чему ты никогда не научишься. Я мужчина. Я плевать хотел на смерть и боль. Смотри, какой я!

Он улыбается и кричит, машет рукой:

— Погоди! Я сейчас к тебе поднимусь!

В такие дни не бывает ничего случайного. Закусив губу, стягиваю снегоступы. Выбираюсь на засыпанный снегом берег. Сажусь на твердый сугроб, ставлю ноги на деревяшку и с усилием застегиваю крепления. Набираю полную грудь воздуха — и вскакиваю на ледорез.

Замерзшая лента реки бросается навстречу. Увидев прямо перед собой огромный, выступающий из-под льда камень, инстинктивно дергаюсь в сторону — ступни сами собой изменяют угол наклона, лезвие чуть изгибается, и я ухожу вправо, едва не вылетев на заснеженный берег.

Сгибаю колени. Изо всех сил стараюсь удержать центр тяжести впереди, на кончике лезвия. Ледяной ветер бьет в лицо — его прикосновение успокаивает. Я вспоминаю полеты в Оверграунде...

Проншу мимо обмершего Ярого. Даже если бы хотела, уже не могу остановиться. Лента реки делается шире, поворачивает то вправо, то влево, ледорез подпрыгивает на застывших волнах, а я лечу — и с каждой секундой чувствую, как ко мне возвращается власть над движением.

Вот я повернула правее. Вот левее. Вот перепрыгнула ледяной выступ. Река, даже замерзшая, не сбилась с собственного ритма — важен каждый ее изгиб. Каждый камень стоит на своем месте. Я могу спускаться с завязанными глазами. Но тогда не увижу ни снега, ни елей, ни сине-белых очертаний гор, ни долины, которая открывается внизу!

Я пою вслух, и в этот момент меня настигает Ярый.

Несколько секунд мы катимся бок о бок. Мы могли бы взяться за руки. Потом он обгоняет меня и начинает выписывать на льду кружева, то разгоняясь, то притормаживая, то пересекая мне дорогу и уходя в сторону за секунду до столкновения.

Я сильнее сгибаю колени и прижимаю локти к бокам. Хочу обогнать его, и обгону. Нужно только найти кратчайший путь между камнями... от надолба к надолбу... По стремнине, срезая излучины, вперед, вперед!

Ярый перестает баловаться и пристраивается за мной. Он не допустит, чтобы я его обогнала. Он силен и опытен, быстро настигает меня и катится впереди, не давая обойти себя ни справа, ни слева. Из-под его лезвия ледяные брызги вихрем летят мне в лицо.

Я прикрываю глаза. Прямо на нашем пути большой плоский камень, Ярый должен обойти его справа. Да, речка в этом месте делает резкий поворот, чтобы обойти препятствие...

Раз. Два. Три. Четыре. Сейчас Ярый свернет...

И он сворачивает. По стремнине, вслед за течением речки.

А я собираюсь с силами, отталкиваюсь ото льда и взлетаю над заснеженным камнем. Скорость чудовищная. Только сейчас, оказавшись в воздухе, я это поняла. Я лечу, как камень, пущенный из самострела, ледорез чиркает лезвием по снежной шапке...

Сложившись, как пружина, приземляюсь опять на лед. На несколько шагов впереди Ярого.

Он кричит — не то от страха, не то от ярости. Плавно покачиваясь, разгоняюсь на ровном участке реки... И река вдруг заканчивается. Я лечу.

Не понимаю, что случилось. Еще лечу; река оказывается далеко внизу. Слишком далеко. Она гораздо шире, все ее ложе усеяно острыми камнями...

Водопад! Обрыв!

Пролетаю над россыпью скальных обломков, неуклюже машу в воздухе руками и ногами и наконец приземляюсь в очень глубокий, очень жесткий сугроб.



В сугробе неожиданно тепло. Пахнет непривычно и остро. Я проверяю, не вывихнула ли лодыжку — нет, кости и связки целы. Тянусь рукой вниз, пытаюсь нащупать в снегу ледорез...

И натыкаюсь на шкуру. Мягкий, теплый, совсем сухой мех.

Поднимаю голову...

На расстоянии вытянутой руки — бурая морда. Маленькие глаза, в первый момент мутные и сонные, вспыхивают злобой. Я видела этих зверей — в детстве, на картинке, а еще видела плюшевые игрушки наподобие этих зверей...

Медведь!

Раскрывается пасть. Я вижу слюнявые желтые зубы. К раздраженному низкому реву примешивается не то хныканье, не то фыркание существ поменьше. Медвежата, двое! А это, оказывается, медведица!

Я падаю. Отползаю на четвереньках. Берлога просторная. Очень удобная, чистая, хорошая берлога, спасибо хозяйке. Спасибо за гостеприимство, я уже ухожу!

Медведица ревет, поедая меня взглядом. Живой она меня не выпустит.

Ледорез находится неожиданно — я на него сажусь. Пытаюсь раскрыть лезвие — пальцы не слушаются, и железные шарниры, наверное, заledenели. Медведица делает шаг. Я наконец-то ухитряюсь вырвать лезвие из рукоятки. Ледорез превращается в кривую саблю. Я выставляю ее перед собой. Медведица видит оружие и ревет совсем уже невыносимо.

— Лана! — Сверху падает веревка. Схватив ледорез в зубы, цепляюсь за нее. Вербка — свое, родное, Оверграунд; я почти выбираюсь наверх (Ярый тянет веревку, помогая мне), когда медведица хватает меня за сапог.

— А пропади ты!

Я рвусь из последних сил. Сапог достается медведице — вместе с изрядным куском моей кожи. Я выскакиваю на снег, перехватываю ледорез и так — одна нога обутая, одна босая и в крови — несусь прочь. За мной бежит Ярый — мимо речки, мимо замерзшего водопада, откуда я прыгнула — и на бегу повторяет, как заведенный:

— Она не оставит медвежат! Она не догонит!

Нам кажется, сзади хрустит снег. И мы подбавляем и подбавляем, пока не выбиваемся из сил и не валимся на снег посреди полонины.

Тишина. Погони нет.

Я стискиваю зубы. Прогулялись. Покатались. И кто мне скажет: зачем мы вообще туда ходили?!

Рядом невнятно ругается Ярый. Бормочет, сопит и вдруг говорит совершенно ясно, светло и благоговейно:

— Знамение! Вот и ответ!

Я сажусь. Прослеживаю его взгляд. Перед нами покачивается голая веточка какого-то куста; там, куда упала моя кровь, лопнула почка и до половины вылез зеленый лист. Я открываю рот от удивления. Ярый протягивает дрожащую руку, срывает веточку и считает почки.

— ...Три, четыре... семь! Семь дней — и на восьмой Оберег, плес Молний!

Я киваю с важным видом. Как будто все поняла.

Праздник плеса Молний начинается на рассвете. День ясный и солнечный: хорошо, что мои глаза уже привыкли и к солнечному свету, и к блеску снега. На пригорке у поселка собрались все три рода. Издали я вижу пеструю толпу, слышу говор и смех. Над головами плещутся четыре полотнища: на одном вышит лис, на другом медведь, на третьем большой рогатый зверь вроде оленя. С четвертого скалится волчья морда. Я подхожу ближе, все лица разворачиваются ко мне...

Нет лиц! От неожиданности я сбиваюсь с шага. Все три рода, и старики и дети, надели маски в этот день. На меня смотрят кабаньи рыла, лисьи, волчьи, медвежьи морды. Сквозь разинутые рты масок блестят глаза. Мне становится стыдно за свой испуг.

Все предвкушают событие. Почти у всех в руках барабаны, бубны, колокольчики, большие и маленькие. Под ногами взрослых носятся дети с колотушками, погремушками, ведрами — со всем, что может производить стук и грохот.

Утоптаный снег покрыт коврами. Наверное, их снесли со всего поселка. Ковры разноцветные, пестрые, полосатые; я ступаю на них и иду, пока не оказываюсь в центре круга.

Хлопают на ветру полотнища с вышитыми зверями.

За прошедшую неделю я успела понять, что Оберег и есть тот день, когда надо заклинять весну. Надо обращаться к энергии земли и солнца, к подземным водам, к южным ветрам. Надо приводить в движение огромные массы воздуха, сухого и влажного. Надо, чтобы тучи сошлись и столкнулись, и на стыке их родилась гроза. Надо, чтобы ударила молния. Надо, чтобы птицы и звери почувствовали в ветре тепло и влагу, а в древесных стволах зашевелились соки. Все это надо, и все это должна сделать я, иначе зима будет длиться бесконечно.

Я стою в центре круга — в который раз за последние две недели? Теперь рядом нет соперницы. Только я, Царь-мать, единственная без маски в этом зверином царстве. И в голове нет ни единой мысли. Ни единой.

Толпа стихает. Все смотрят на меня — сквозь прорези масок, сквозь звериные рты. Все ждут. И руки мои сами собой ложатся на барабан — на барабан с волком, подарок Римуса. На нем больше нет ритм-блока, генератора ритмов. Это просто барабан — пустой.

Но на удары моих пальцев он отзывается с неожиданной силой. Та-та-там, та-та-там — рождается ритм.

За спинами толпы взлетают в небо огромные трубы-трембиты. Каждая из них — я знаю — вырезана из дерева, в которое ударила молния. Все, чего коснулась молния, помечено особенной силой; я продолжаю барабанить, и трембиты одновременно разражаются пронзительным, берущим за сердце ревом.

Это не волчий вой. Это не пение. Это голос трембиты, родившейся из меченного молнией ствола. От этого звука волосы шевелятся на голове.

— Оберег! — выкрикивает кто-то.

— Оберег! — подхватывают множество голосов. — Приходи, гром! Приходи, молния! Приходи, весна!

И ритм моего барабана подхватывают десятки других.

— Гром! — рокочит барабаны.

— Дождь! — надрываются бубны. Высокий мужчина в медвежьей личине, весь увешанный колокольчиками, танцует вокруг меня, и звон его колокольчиков вплетается в слова песни.

— Над вершиной гром сверкает, к нам беду не подпускает — Оберег! Оберег!

Приземистая женщина с головой кабана присоединяется к танцу, лупя деревянной булавой в огромный, больше нее, барабан.

Мальчишка колотит палкой по листу жести.

— Оберег!

Я тоже танцую, не переставая выстукивать ритм. Вокруг стоит страшный грохот железа, дерева, натянутой кожи; казалось бы, он должен заглушить все вокруг — но голос моего барабана по-прежнему слышен.

— Не будет беды! — трещат змеевики, полные сухого гороха. — Не будет беды!

— Идет гроза! — бьют бубны. — Идет гроза!

Звуки барабанов отдаляются. Люди вокруг меня отбрасывают барабаны и бубны, становятся хороводом и кладут руки друг другу на плечи.

— Правая твоя щека — день.

— Левая твоя щека — ночь.

— День, свет твой — к нам! Свет твой — к нам!

— Ночь, тьма твоя — прочь, тьма твоя — прочь!

И начинают вертеться. Все быстрее и быстрее. За их спинами режут трембиты. А я стою в центре круга.

Каждым нервом чувствую, как нарастает напряжение. Как будто сейчас, именно сейчас, я должна что-то сделать. Сейчас, когда вокруг меня кольцо их воли, их силы, их энергии...

Я закрываю глаза, но продолжаю видеть круг танцующих. В темноте, под закрытыми веками, он огненный. Как будто вокруг меня сомкнулась и вертится солнечная корона. Танцуют языки пламени... Перехватывает дыхание, фигуры танцующих сливаются, что-то должно произойти, я разорвусь изнутри, если не произойдет!

Вместо меня разрывается круг. Люди летят в разные стороны, валятся друг на друга. Со смехом подхватываются, обнимаются, стучаясь масками-мордами. Рассыпаются по пригорку, продолжают танцевать как ни в чем не бывало — парами... группками... в одиночку... Я оказываюсь одна среди истоптанных ковров. Страшно кружится голова.

Я иду — кажется, что иду в поселок, а на самом деле все глубже забираюсь в лес. Мне плохо. Меня тошнит. Я прислоняюсь к стволу сосны, крепко ее обнимаю...

И сосна обнимает меня сильными, пахнущими смолой руками.

Я поднимаю голову. Это не сосна. Это человек в маске медведя. Он снимает маску; у Ярого растрепались светлые волосы. В глазах — незнакомое выражение.

Я хочу сказать, что у меня ничего не вышло. Это дурной сон, это беда, все так плохо, как никогда еще не было. Но он не дает произнести ни слова — зажимает мне губы своими губами.

Вокруг в ритуальном танце кружится лес. Деревья положили руки друг другу на плечи.

На снег летит шуба Ярого и моя дубленая куртка. Укрывают замерзшую землю. А поверх постели из шкур Ярый нежно укладывает меня. Сила и нежность. В ушах звон — по всему лесу разбредились дети с колокольчиками...

Я — земля, покрытая льдом и снегом. Во мне обмерли древесные корни. Во мне застыли источники. Я мерзлая, мерзлая земля...

Но под руками Ярого, под его губами я начинаю оттаивать. Мои щеки отогреваются. Мои губы теплеют. Я чувствую каждый волосок на своей коже, каждую складку, каждую клеточку. Каждую травинку, каждый ручеек. Начинает таять снег на волосах. Я чувствую, как бегут по затылку, по шее прохладные струйки. Как бегут ручьи по солнечным склонам, оседают сугробы, мучительно набухают капли на концах сосулек. Во мне, в самых недрах, зарождается огонь, собирается клубком, напрягается, напрягается...

И рвется наружу.

Все, что было льдом, отогревается и закипает. Все, что было снегом, обращается в пар. Я горячая, горячая земля, и плодородная, и щедрая, и оплодотворенная громом, звучащим в моих ушах. Ярый кричит, и я кричу на весь мир. На грудь мне наваливается теплая, сладкая тяжесть, а в спину нежно тычутся, как носы волчат, чьи-то слабые пальцы...

Ветер пахнет теплом и влагой.

Когда мы встаем и Ярый поднимает шкуры с земли — снега под ними нет. Там, где мы лежали, — широкая черная проталина. И на ней распрямляются один за другим тонкие зелено-белые подснежники.

И наступает весна.

Потоки переполняются водой и катят в долину камни. В горах становится опасно ходить — то и дело сходят лавины, большие и маленькие. На солнечных склонах растут проталины, покрываются, как пухом, первой зеленой травой. Скот в загонах волнуется, мекает, мычит, подвывает — хочет на волю.

Небо меняется с каждой минутой. Горы то подергиваются тенью от бегущих облаков, то снова выступают под солнце. С них лепестками сползает снег — огромными серыми лепестками. Еловые ветки опускаются почти до земли, сбрасывают снежную тяжесть и распрямляются, рассыпая брызги.

Подростки и дети ходят лесами, гремя в барабаны и раскручивая над головами трещотки, — будят. Там, где они прошли, оседает снег и набухают почки.

Молодые мужчины заводят на полонине Аркан, и Ярый с ними.

В центре складывают хворост. Становятся кругом, кладут друг другу на плечи руки с топориками. Начинают двигаться — сперва медленно, а потом все скорее, так что ветер

поднимается. Вся их сила, вся нерастроченная энергия, накопившаяся за зиму, разматывается со страшной скоростью, как трос с катушки, но остается в кругу — в замкнутом пространстве. Круг — символ Солнца. Когда мне кажется, что танцоры сейчас сойдут с ума или упадут, хворост в центре круга взлетает, будто подхваченный смерчем, и вспыхивает.

Пылает костер. Круг распадается, но танцоры не валятся обессиленные: наоборот, энергия из них так и брызжет. Разобравшись по парам, они кидаются друг на друга с топорами — без злости, но всерьез. Сталь налетает на сталь, высекая искры.

Дерутся до первой крови. Ярый выходит победителем из всех схваток. Возвращается ко мне, разгоряченный, без тени усталости. Мне кажется, что я вижу синие молнии, проскакивающие в его волосах, будто трескучие змейки.

Мы с ним уходим в лес. И долго, долго, бесконечно продолжается наша весна.

Лес вокруг сходит с ума. Танцуют, обнявшись, медведи. Танцуют дятлы. Любят друг друга белки. Весь лес томится, смеется на разные голоса. В полдень пчела обнимается с первоцветом. В полночь над головой хлопают крылья: не разобрать в темноте, кто и кого там любит, но что любит крепко и нежно, слышно по голосам. И я томлюсь и смеюсь без причины, и не знаю, что со мной. Я никогда не была такой. Никогда в жизни я не была так...

Счастлива?

Наверное.

По вечерам горят ватры на склонах, играет скрипка. Парни танцуют, сражаясь за девушку. Девушки танцуют, соблазняя: лица их — лед, тела — огонь. Бесстрастные лица плывут над землей, отражая свет костров; резкие точные движения, гордый поворот головы, грудь в танце сотрясается, сводя мужчин с ума.

Мне завязывают глаза. Я в танце должна узнать Ярого. Парни проходят вереницей, танцуют со мной по очереди, я слышу, как дрожит земля под их ногами. Ловлю щеками горячее дыхание. Ничего не вижу, повинуюсь ритму, чувствую, как рукава партнеров мимолетно касаются моих рукавов...

И вдруг будто молния бьет — между мною и тем, кто рядом! Я срываю повязку — вот он, Ярый. Не слышу скрипки, смеха, одобрительного рева толпы — беру его за руку и увожу подальше от костров, в темноту, в лес. Или это он меня уводит?

Мы любим друг друга на траве и на расстеленных шкурах. Мы носимся, кувыркаясь, по проталинам, голые, как звери, веселые и страстные. Ни один синтетик в мире подобного не испытал. Как взрывается лед — так я люблю своего Ярого. Как ревет огонь — так я люблю своего мужчину. Как поднимается утро, как налетает ураган — я люблю его ветром и пламенем, и не пойму, где заканчивается моя душа, где начинается небо...

— Одна и та же звезда. Смотри на нее и знай — на нее смотрю я...

Утро встречаем на вершине горы. Сидим, обнявшись, укрывшись одной шкурой.

Расходится туман. С соседней горы вдруг приходит странный звук — как будто трембита поет человеческим голосом.

— Что это?

— Кугыкают...

Ярый улыбается. Вытаскивает из-за пояса дудочку-флюяру и отвечает. Голос флюяры плывет, переплетаясь с голосом гор, и я вспоминаю верхушки небоскребов и птичий язык, на котором говорили мои друзья дикие...

И мне на секунду становится грустно.

Однажды ночью я вижу вагончик канатной дороги. Троса не разглядеть: он теряется на фоне неба. Вагончик плывет, поочередно закрывая звезды, и тускло светится красным. За ним тянется тоненькая струйка дыма.

Вагон уходит за гору, на северо-запад. Я долго смотрю ему вслед.

— Что ты хочешь услышать, Лана? — спрашивает Головач.

Мы сидим на стволе поваленного дерева у входа в его землянку-нору. Я с минуту молчу, а потом спрашиваю совсем не то, что собиралась.

— Почему все так быстро ее забыли? Почему ты — который любил ее, отец ее детей — забыл и не вспоминаешь? И я ведь, вольно или невольно, — ее убийца...

Он улыбается:

— Вспоминает ли нынешняя весна о прошлом лете? Все живое умирает, чтобы удобрить почву и дать рождение новой жизни... Это жизнь, Лана. Рассвет — убийца ночи, но кто способен за это его ненавидеть?

На этот раз я молчу — очень долго. Он прав. Но мне трудно свыкнуться с этой правотой.

— Расскажи мне о Заводе, — прошу наконец. — Ты должен знать больше, чем другие.

— Почему? — Он потирает бороду. — Почему бедный старый волк знает больше, чем Царь-мать?

— Потому что... ты же знаешь, что я... Почему бы тебе просто не рассказать? Без этих твоих... увиливаний?

Он ухмыляется:

— Я знаю не так много. Больше догадываюсь. Слушаю слухи. Сплетаю сплетни. А что из этого правда...

— Расскажи.

Он прикрывает круглые голубые глазницы:

— Спрашивай.

— Можно ли разрушить Завод? — выпаливаю я.

— Можно, — отзывается он, не открывая глаз, подставив лицо солнцу. — Однажды он уже был разрушен. Много-много лет назад.

— Кем?

— Не знаю... Догадываюсь. Этот Завод всегда производил энергию. Но раньше — тогда — он черпал ее из... назовем это стихиями. У него и сейчас сохранились шпиль-громоотводы... теперь они кривые, обугленные. А раньше, я думаю, они сверкали, как молния... приманивали небесный разряд. Молния... Ветер... Дождь... Силы земли... Силы воды... Все это Завод брал и перерабатывал. Я не знаю, кто были его хозяева и куда они девали ту энергию... Колоссальную, чудовищную, непредставимую энергию... Но однажды им сделалось мало. И они перевели Завод на полную мощность — на слишком, слишком полную. И он стал высасывать из стихий все, до чего мог дотянуться. Не оставил горам ни капли дождя... ни дуновения ветра... я так думаю. И тогда стихии... я не знаю, Лана, но думаю, что они взбунтовались. Иначе ничем не объяснить, что Завод — такая громада! — был почти разрушен... Вернее, не так: он был изменен. Он переродился.

Головач замолкает. Смотрит на солнце, не закрывая глаз. Не щурясь.

— Переродился? — тихо спрашиваю я.

— Да. Пришли другие... существа. Вряд ли они были людьми. Потому что решение, которое они предложили Заводу, было совершенно нечеловеческим: Завод стал добывать энергию из людей. Из тех, кто любит жить. Кто любит жизнь. Кто силен. Использовать их, как дрова... И турбины Завода завертелись опять. Если, конечно, у него есть турбины. Построили канатную дорогу. Ты видела, какие там мощные блоки? Думаю, вся энергия Завода уходит на то, чтобы эта дорога работала. Чтобы вовремя поставлялось сырье. Это беспрерывный цикл. Завод добывает топливо. Топливо не дает ему остановиться. И так без конца.

Головач говорит ровно, спокойно, будто повторяет давным-давно известное. У меня пересыхает в горле.

— В городе, — через силу выталкиваю слова, — работает целая система. В сговоре с энергополицией... Целая служба отслеживает людей, которые не нуждаются в подзарядках. Которые... сами несут энергию. Их отбирают для Завода.

— Конечно.

— Послушай... — Я перевожу дыхание. — Когда ты говорил о новом будущем для трех родов... о развилке... что ты имел в виду?

— Будущее никогда не открывается полностью, — говорит он с сожалением. — Царь-мать видела, как ты уводишь молодежь на Завод, чтобы разрушить его. Битва проиграна. Все вы гибнете. Слуги Завода приходят в поселок и в наказание забирают оставшихся мужчин,

женщин, детей — в каждом из них полно энергии, это лакомая дичь для заводских печей... Вот что она видела. Вот почему она так хотела тебя погубить.

— А ты? — спрашиваю я хрипло. — Что видел ты?

Головач улыбается:

— Я видел и второй путь. Ты уводишь нашу молодежь на Завод... и разрушаешь его. Останавливаешь навсегда.

— Это возможно?!

Головач пожимает плечами:

— Будущее подчас играет с нами, как волчонок с мышью. Я ничего не могу сказать наверняка. Ты теперь Царь-мать — ты и решай.

Я Царь-мать. И я что-то делаю не так. В глазах Ярого растет напряжение. И я не знаю, как похитрее задать вопрос, как выяснить все-таки, где я ошиблась.

— Младший Смереки добыл оленя, — говорит Ярый как бы ненароком. — А старший сын Бондаря добыл рысь. Ему давно пора.

— Да? — спрашиваю я с подчеркнутым удивлением. Как будто все, что говорит мне Ярый, я и без того знаю. Держу в уме — до поры. Вот только какой поры?

— Но сын Смереки добыл матерого оленя! Три дня назад — ты видела, как он притащил его в поселок! Рога волочились по земле! Ему шестнадцатая весна, а он уже добыл — сам — такого зверя! Неужели он недостойн имени?!

Я еле удерживаюсь, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Ну конечно!

— А ты считаешь, он достоин? — спрашиваю сурово.

Ярый тушует:

— А разве нет? Если *она* считала, что достоин, то почему же...

Он осекается. Я отвожу взгляд: Ярый уже не в первый раз вспоминает при мне прежнюю Царь-мать. Мне очень неловко от этих его оговорок: я злюсь, чувствуя себя недостойной. И еще ощущаю вину.

— Значит, сын Смереки... — смотрю в сторону. — Сын Бондаря... Еще кто-то?

— Нет, — сухо говорит Ярый. — Этой весной — всего двое.

На обряд имяположения — инициации — собираются, как обычно, все три рода. Сын Смереки — круглощекий красивый парень — выходит наперед, ни капли не тушуясь.

— Ты уже придумала ему имя? — спрашивает Ярый.

— Я?!

— А кто же? Ты ведь Царь-мать!

— Ну да, — говорю как могу уверенно. — Я дам ему имя... только не сейчас.

— Ну конечно же — после обряда!

В глазах Ярого нетерпение. Все смотрят на меня и чего-то ждут.

— Начинайте обряд, — говорю я, просто чтобы что-то сказать. И — о счастье! — угадываю. Дальше мне ничего не надо делать — только смотреть.

На мальчишку наскакивают сразу трое здоровых мужчин. Он отбивается, свирепо сверкая зубами. Его валят на землю и лупят довольно жестоко, приговаривая:

— Волк! Волк!

— Волк! — в одно горло выкрикивают все три рода.

Наперед выходит, усмехаясь, Головач, втыкает в землю знакомый мне нож — лезвием кверху. Парень, в три шага разбежавшись, прыгает — и переворачивается в воздухе над ножом, обхватив руками колени. Приземляется на ноги и тут же выпрямляется.

— Волк!

Его поздравляют. Хлопают по плечам. На голову надевают венок, а сзади за пояс цепляют волчий хвост. Парень становится на четвереньки и, рыча и скаля зубы, по-волчьи идет ко мне.

— Имя, — вполголоса говорит Головач за моим плечом.

А я так засмотрелась на инициацию, что забыла придумать ему имя!

— Р-р-р! — Парень сверкает глазами. Он вошел в роль: сейчас он волк, и я едва удерживаюсь, чтобы не отступить. В толпе смолкают разговоры и смех — все смотрят на меня, боятся пропустить момент, когда назову человека-волка его именем, настоящим, с которым ему жить всю жизнь...

— Держись, — говорю я неожиданно для себя. И повторяю громче, для всей толпы: — Держись! Его зовут Держись!

Зрачки парня расширяются. Он забывает, что он волк. Он улыбается, и я понимаю, что угодила ему с именем. А три рода кричат, хлопают и топают, так что содрогается земля.

Держись поднимается. Его обнимают со всех сторон: мать, отец, какие-то девушки, взрослые парни и совсем еще дети. Всеобщий восторг утихает; наперед выходит другой юноша — постарше. У него желтоватое изможденное лицо и длинные руки. Кого-то он мне напоминает; все время, пока парня колотят, понарошку выбивая пыль, катают по земле, пока Головач втыкает в землю нож, пока парень прыгает, а три рода кричат что есть мочи «Волк!», «Волк!», я пытаюсь вспомнить, на кого он похож.

Он подходит ко мне на четвереньках, рыча волком, смотрит снизу вверх. Венок съехал на правое ухо. Я смотрю на него и, опять-таки неожиданно для себя, выдаю:

— Римус!

И все становится на свои места.

Новые волки — Держись и Римус — празднуют свои имена в кругу друзей и родственников. Держись — из рода Медведя, Римус — из рода Вепря, а друзья у них из рода Рогача, так что и друзей, и родственников набирается весь поселок.

Я потихоньку удираю из-за стола. Люди-волки поют боевые песни, танцуют и борются. Пробираюсь пустыми улицами поселка к своему слишком большому, слишком холодному дому.

У колодца вижу одинокую застывшую тень. Человек, как и я, не хочет сегодня праздновать. Делаю шаг навстречу...

Свет звезд ложится на бледное вытянутое лицо. Безымянная сильно исхудала со времени нашей битвы. Подурнела. Глаза злые и тусклые.

— Погоди, — говорю я, но она уже уходит, неся в каждой руке по ведру. Скрывается за углом.

Я с горечью понимаю: еще один промах. Нужно было дать ей имя, как и парням — сегодня! Это было бы против закона трех родов — но зато по закону справедливости!

Я одна посреди поселка. Заглядываю в колодец и вижу, как отражаются звезды в темной холодной воде.

Звезды?!

Резко вскидываю голову. Там, на страшной высоте, ползет через небо тускло освещенный вагончик канатной дороги.

На другой день прошу Ярого взять меня в круг — танцевать Аркан. Ярый удивляется. Пытается отговорить. Но в конце концов сдается. Становлюсь между Ярым и Носатым — кряжистым мужчиной лет тридцати. Кладу ладони им на плечи. Их тяжелые топорики ложатся на меня, пригибая к земле.

Я вовсе не уверена, что смогу выдержать Аркан. Но решаю про себя: пусть это будет испытание. Пусть сегодня решится, хватит ли у меня сил сделать то, о чем даже подумать страшно.

Начинается движение. Зарождается ритм. Я вижу кучу хвороста в центре круга и лица танцующих напротив; они расплываются, размазываются, я их не узнаю. Ритм все ускоряется и ускоряется, я едва успеваю перебирать ногами, и душа моя, кажется, покидает тело — центробежной силой ее сносит назад, прочь, но замкнутый круг не дает уйти, не пускает. Болят мышцы, связки на коленях готовы разорваться. Я закрываю глаза — но все равно вижу...

Частицы материи, несущие энергию. Крупички. Пылинки. Слипаясь в одно целое, сжимаясь под страшным давлением, рожают новую сущность. В черной пустоте без верха и

низа возникает пульсирующий комок — он сжимается, сжимается, разогреваясь все сильнее, он — дикая энергия, точка отсчета, центр Вселенной за миг до большого взрыва...

Очень длинный миг.

Я проваливаюсь внутрь себя — в темноту. Я вижу высокие горы и темные провалы. На самой недосыгаемой вершине — Солнце запуталось в ветках, горит и не может подняться. Надо помочь ему... освободить... Я тянусь изо всех сил. Солнце у меня на ладонях, золотая тарелка, сияющий диск...

Жмурю ослепленные глаза. Что это? Я поймала Солнце?!

Отлетаю назад и падаю на спину. На новорожденную весеннюю траву. А прямо передо мной — перед лицом — горит высокое пламя. А вокруг звенят сталью, сражаются, смеются, вытирая первую кровь, мои дети — воины, мужчины, бойцы...

— Это знак, — говорю. — Это знамение.

По ту сторону костра сидит Головач. Смотрит испытующе.

Я лежу, укрывшись в кустах ежевики, на вершине горы. И смотрю на далекий Завод.

Он в дымке. Не туманной, привычной, естественной. Нет: над Заваем клубами висит желтый дым. Скрывает от моих глаз то, что человеку видеть не полагается. Но хватает и того, что вижу, чтобы зарычать по-волчьи и вздыбить шерсть на загривке.

Завод огромен.

Горы вокруг покрыты молодым лесом. В том катаклизме, о котором рассказывал Головач, старый лес выгорел дотла. На его пепелище вырос новый — рыжеватый. Ржавый.

Основание Завода залито бетоном — плотная серая шуба. Могильник. Саркофаг. Над бетонным валом нелепо торчат покореженные черные шпильки и еще какие-то конструкции. Туман мешает рассмотреть их подробно. И туда, в эту жуткую мглу, уходит ниточка канатной дороги.

Я закрываю глаза. Где сейчас Григорий? Что стало с парнями и девушками, делившими со мной вагон? Что будет со всеми нами?

Если долго разглядывать завод, человек теряет волю. Хорошо, что я вовремя это понимаю. Соскальзываю с пригорка. Бесшумно ныряю в чащу.

— Видела? — спрашивает Головач.

Тяжело опускаю голову.

— Тебе не понравилось. — Головач усмехается. — Страшно.

— Страшно, — соглашаюсь я. — Скажи...

— Что?

— Неужели есть сила, способная это... это... разрушить? Одолеть?

— Есть. — Зубы Головача блестят при свете весеннего дня, белые волчьи зубы. — Это та самая сила, что разрушила его в первый раз. Сила земли и воды, воздуха, небесного огня. Это стихии, Лана.

Я несколько минут обдумываю его слова.

— Завод разрушит тот, кто заставит стихии служить себе?

Он смеется, приподнимая верхнюю губу.

— Ты это можешь? — спрашиваю с надеждой.

— Я? — удивляется Головач. — Разве это я призвал весну? Растопил лед на вершинах? Пригнал теплый ветер? Разве я все это сделал?

Я молчу.

— У Завода почти нет уязвимых точек, — говорит Головач, будто раздумывая вслух. — Но если одновременно дотянуться четырьмя молниями... по уцелевшим четырем шпилькам... то пятая молния может пробить сердцевину и замкнуть цепи. Тогда на какое-то время накроется основной охранный контур. Включится дополнительный... Но он нестабилен. И если в этот момент рвануть коммуникации... опрокинуть опоры вихрем, разнести смерчем... залить сверху водой... ливнем... тогда в него можно будет войти, Лана, и вонзить клинок в Сердце Завода. Что-то мне подсказывает, что оно мягкое, его можно проткнуть.



— Откуда ты все знаешь? Ты был на Заводе?

Он мотает головой:

— Оттуда никто не возвращается. Не возвращался до сих пор.

Всю ночь мне снятся кошмары. А утром налетает вихрь.

Невозможно выйти из дома. Ветер гнет деревья к самой земле. Испуганно мечется в хлевах скотина: кое-где ветром срывает крышу. Мужчины и женщины спешно укрепляют кровли — под проливным дождем. А мне страшно. Чувствую приближение большой беды. Еще не знаю, какой, но при одной только мысли о ней волосы становятся дыбом.

К полудню ветер немного стихает. Я выхожу, накинув на голову рогожку, бреду к главной площади поселка, где висит набат — гулкая труба с языком внутри.

Я бью в набат — в первый раз с тех пор, как стала Царь-матерью. Звук заунывный и страшный. По всему поселку открываются двери. Ревут младенцы, плачут дети. Люди сходятся, сбегаются, смотрят со страхом. Дождь бьет их по лицам, по плечам, по кое-как прикрытым макушкам.

— Он идет, — говорю я хрипло. — Он уже близко.

Слышен только дождь. Даже маленькие дети не плачут. Онемели от ужаса.

— Мы выйдем на него, — говорю я заплетающимся языком. — Все! Все!

Из толпы выскакивает Ярый. Хватает меня за руку. От его прикосновения я будто просыпаюсь: рвется пелена кошмара. Я понимаю, что не все потеряно. Мы выйдем на него... и, может быть, одолеем.

На вершине горы мы останавливаемся. Я иду первая, поэтому никто не видит моего лица... И хорошо. Потому что в этот момент я впервые вижу *его*.

Это колоссальный черный смерч. Его единственная нога ползет по земле, захватывая деревья и камни, вырывая с корнем столетние сосны. Его тело упругое, темное, как свернутая в жгут просмоленная ткань. А голова его упирается в небо. В тучах, венчающих эту голову, бьет и бьет коленчатая молния.

Неторопливо — и все-таки очень быстро — смерч идет на нас. К поселку.

Никто ничего не говорит. Слова не нужны. Я чувствую в правой руке ладонь Ярого. В цепь становятся мужчины и самые сильные женщины всего поселка. В эту минуту я вижу будущее так ясно, как никогда прежде.

*Вероятно*, кто-то из нас ошибется. Либо смерч окажется сильнее. Тогда — я вижу — нас одного за другим подхватит ветром и втянет в его тугое черное тело. Не имеет значения, разожмем ли мы руки. Нас поднимет на страшную высоту и швырнет вниз, ломая позвоночники, заставляя сломанные ребра ножами протыкать грудную клетку.

*А вероятно...* Нет. Никто не знает, что случится через несколько минут. Будущее никогда не показывается целиком.

Человеческая цепь растягивается по пригорку, обходя страшного гостя справа и слева. Я веду людей с одной стороны, с другой ведет Головач. Наши руки должны встретиться, прежде чем кого-то зацепит вихрем. Чем кто-то испугается и разожмет руки. Прежде чем цепь рассыплется...

Я вижу Головача в десяти шагах перед собой. Осталось совсем чуть-чуть. Вот Головач в пяти шагах. Топорщится борода, горят голубые глазищи. Он протягивает мне твердую ладонь, тяжелую и жесткую, как волчья лапа...

Я сжимаю его руку. Кольцо замкнулось — огромное человеческое кольцо. И смерч в центре. Он заворачивается противосолонь — против хода Солнца. Против часовой стрелки. Люди, держащиеся за руки, секунду стоят неподвижно, а потом трогаются посолонь. По ходу Солнца. По ходу часовой стрелки.

Не оступиться. Не упасть. Разорвать руки сейчас означает погибнуть и навести гибель на других. Лапа Головача сжимает мою ладонь до хруста. Но я не чувствую боли. Черная нога смерча всасывает в себя камни и воду из ручья, мы ступаем по почти пересохшему руслу. Смерч воет — на одной ноте, низко, от этого звука стынет кровь.

Идти становится с каждым шагом тяжелее. Как будто идешь сквозь воду. Но это добрый знак: значит, мы все делаем правильно. Мы поймали его, зацепили и теперь должны его дикой силе противопоставить свою. Раскрутить. Развернуть жгут в противоположную сторону. Расслабить. Одолеть.

— Оберег! — рывкает Головач.

— Оберег! Оберег! — выкрикивают голоса в цепи.

— Правая твоя щека — день!

— Левая твоя щека — ночь!

— День, свет твой — к нам! Свет твой — к нам!

— Ночь, тьма твоя — прочь, тьма твоя — прочь!

— Оберег! Оберег!

Теперь мы не идем, с каждым шагом преодолевая сопротивление, — мы бежим. Несем, не боясь упасть. Наша общая сила перетекает в круг — и вступает в борьбу с черным смерчем.

— Оберег!

— День, свет твой — к нам! К нам!

Вой смерча переходит в визг. Тело его напрягается, потом оседает, становится толще, толще...

Валятся за нашими спинами камни с неба. Льется вода. Смерч оседает, роняя все, что успел захватить.

— Оберег! — кричит Головач.

Колоссальная масса земли и воды падает, сбивая нас с ног.

Прихожу в себя на куче бурелома. Холодно. Сыро. Кто-то кого-то зовет, кто-то стонет, стиснув зубы. Я с трудом поднимаю голову.

Там, где был смерч, теперь яма в земле и вывернутые камни. Молодые и старые деревья лежат вповалку, корнями вверх. Кого-то из наших придавило, кто-то сломал ногу, но мертвых нет. И смерча нет. Мы одолели.

— Царь-мать! Помоги!

Из бурелома делаем носилки и волокуши — нести раненых в поселок. Пострадавших набирается целый двор.

Я не умею сращивать кости. Я не умею затягивать раны. Мне на помощь приходят старухи-целительницы с их травами и заговорами. Они бормочут и помешивают варево в котлах, а я кладу ладони на мокрые лбы и заговариваю боль, как могу. И раненые улыбаются.

Овцы рекой вытекают из поселка и льются по дороге наверх, в горы, на пастбище. Коровы недоверчиво мычат, впервые после зимы покидая хлев.

Горы зеленеют. Зима прошла. Все беды остались позади.

Вместе с овцами уходят мужчины. Устроившись на привычном месте, они добывают огонь трением двух сухих деревяшек. Чистый огонь. Чистая, дикая энергия. Первая искра падает на сухой трут. И, прыгая с ветки на ветку, вырастает огонь.

Девушки плетут венки. Дети поют, водят хороводы. Поют, пуская по ручью кусочки коры с цветными кисточками шерстяных ниток, а иногда с зажженными свечками.

— Потоки-потоки, плывите далеко, несите весну, несите красну!

— Солнышко-солнышко, выгляни в оконышко, на цветочки-веточки, на малые деточки! Тут они играют, тебя дожидаются!

Песня не стихает с раннего утра и до позднего вечера. И даже по ночам кто-то поет.

Соловей?

Молодежь играет в гамбу — бегают по лугу змейкой, ухватив друг друга за талии, ведущий резко изменяет направление, а если кто-то, не удержавшись, вываливается, пытается достать длинным ивовым прутом.

Мальчишки запускают весенних змеев — красных, зеленых, желтых, с непременно нарисованным Солнцем. Змеи стоят в небе, как солнечная стая.

По вечерам горят костры. Через них скачут, повизгивая, смеясь, иногда вдвоем, взявшись за руки, иногда один за другим — веревочкой...

А я целыми днями брожу по лесу, прыгаю с камня на камень. Сажу над рекой, глядя, как кусочки коры с кистями и свечками плывут мимо бесконечным пестрым караваном. Слушаю птиц. И пытаюсь ответить себе: чего, ну чего еще мне не хватает?!

Каждую ночь над горами проплывает вагончик канатной дороги. Теперь он почти не освещен. Я скорее угадываю его, чем вижу.

И где бы я ни была, я чувствую взгляд Завода. Он затаился за горами.

Однажды в горах меня застает гроза. Я вымокаю до нитки. Молнии сверкают без перерыва, а от грома лопаются уши. Одна молния бьет совсем рядом — я на секунду слепа. А чуть позже, когда грохот немного отдаляется, подхожу посмотреть поближе.

Молодая сосна разбита молнией надвое. Черная расщелина дымит. Вытягиваю из-за пояса топор (Ярый приучил меня везде ходить с топором) и берусь за дело.

— Громоваца, — говорит Головач, когда приношу ему обугленную, остро пахнущую древесину. — Из такой выйдет добрая трембита. Отнеси Ясю, он мастер.

— Гроза родила трембиту. Трембита сможет призвать грозу?

Головач внимательно на меня смотрит.

— Да... Но не вздумай тренироваться. Стихии повинуются человеку только тогда, когда это вопрос жизни и смерти.

— А барабан, — я касаюсь рукой своего барабана, висящего на шее, — тоже? Он призывает гром?

— Чем громче, — Головач улыбается, — тем лучше. Чем больше молодых, сильных, полных энергии людей соберется на земле — тем скорее этот грохот услышит небо... Ведь подозвать грозу и вихрь — это совсем не то, что подозвать, к примеру, собаку. Надо очень этого хотеть, Лана... Ты хорошо подумала?

Набат бьет тревожно и надрывно. Люди выбегают из домов — кто в чем.

— Я иду на Завод, — говорю я, когда три рода собираются вокруг. — Все со мной. Все, кто танцует Аркан. Молодые. Сильные. Я иду на Завод, кто со мной?

Тишина. Я смотрю на Ярого — он в толпе прямо передо мной. Но он молчит и отводит глаза.

— Кто со мной?!

Тишина. Я слышу, как стучит мое сердце. Неужели никто? Неужели я ошиблась?

— Я, — тихонько говорят у меня за спиной. Я оборачиваюсь...

Круглолицый Держись, которому я сама дала имя, один из лучших танцоров Аркана. Он вышел наперед и смущенно улыбается. Все три рода смотрят теперь на него.

— Я, — уже громче отзываются из другой группки. Выходит молодой Римус, сутуловатый, длиннорукий, вечно настороженный. — Я иду.

Обвожу толпу глазами...

— Ты не можешь, — резко говорит женский голос, и наперед выходит Безымянная. — Пусть я не имею права упрекать Царь-мать... Но и ты не имеешь права вести молодых на смерть! Если тебе так хочется умереть — иди сама!

Толпа гудит. У меня темнеет перед глазами.

— Мало жизней мы отдали Заводу? — спрашиваю, ни на кого не глядя. — Мало мужчин и женщин, молодых и сильных, погибло просто так, напрасно, без борьбы? Сколько раз в горы приходили слуги Завода...

— А тебе хочется, чтобы они пришли *сейчас*? — Безымянная смотрит мне в глаза. — Тебе не терпится, чтобы с гор прибежали дурные вести. Тогда ты с полным правом позовешь нас биться в его стены — ради своей гордыни! А совсем не ради нас!

Она попадает в точку. Последние несколько ночей я, к стыду своему, ждала плохих вестей. Мне хотелось, чтобы Завод опять кого-то похитил, тогда я с полным правом позвала бы молодежь на битву.

Безымянная видит, что угадала.

— Посмотрите на нее! — говорит она громко. — Это Царь-мать? Это мать-убийца!

— Замолчи, — гудит голос Головача. — Каждый сам выбирает свою судьбу. Ты выбрала свою, Безымянная, и быть тебе Безымянной навеки! А я, — он становится рядом со мной, — иду с Ланой. И сделаю все, чтобы она победила.

Толпа замолкает. Парни и девушки, мужчины и женщины переглядываются.

— Мы позовем грозу, — говорю я уверенно. — Я знаю, как это сделать. Возьмем самые громкие трембиты и самые сильные барабаны. Я сдвину с места тучи... Мы разрушим Завод навсегда.

В наступившей тишине мое сердце делает пять ударов. Шесть...

— Я пойду с тобой, — говорит Ясь, мастер из рода Медведя.

— И я, — говорит Носатый.

— И я, — говорит Смерека. С ним рядом тут же становятся все трое его сыновей.

— И я, — добавляет Бондарь.

Вокруг меня встают люди, молодые и постарше, мужчины и женщины. Я ищу глазами Ярого. Он наверняка где-то здесь. В общем шуме голосов я пропустила минуту, когда он тоже вызвался идти со мной...

— Выходим завтра на рассвете, — говорю я наконец. И, потянув носом воздух, добавляю: — Будет ветреный день.

Моя трембита лежит на пестром шерстяном одеяле. Ясь сделал ее из дерева, меченного молнией — того дерева, которое я сама добыла в лесу. Провожу по трембите рукой. Древесина кажется теплой.

Рядом лежит мой барабан с полустертым изображением волка. Тот самый, что много раз спасал мне жизнь. Подарок Римуса всегда приносил мне удачу — пусть принесет победу.

— Не подведите меня, — говорю я трембите и барабану. — Как крыло служит дикому, так вы послужите мне. Как корни служат дереву, так и вы послужите мне.

Хочу еще что-то сказать, но слова не приходят. Глубоко вздыхаю, ложусь на привычную теперь лежанку. И думаю о Яром. Мне хочется, чтобы он пришел сейчас. Ведь он знает, как важна для меня эта ночь. Мы не успели поговорить на площади. А мне так нужно, чтобы он взял за руку и сказал: все будет хорошо...

Тишина. Я засыпаю. Мне нужно собраться с силами — ведь завтра главный в моей жизни день.

Я просыпаюсь, будто от звука трембиты. За окошком еле-еле сереет небо. В доме пусто. Очаг пустой и темный. Постанывает ветер в трубе. На секунду кажется, что слышу голос Царь-матери — она стонет и жалуется. И от этих звуков делается не по себе.

— Нет, — говорю вслух. — Ты меня не запугаешь и не остановишь. Во мне достаточно силы, чтобы сделать то, о чем ты и подумать боялась — даже ради своих детей!

Ради своих детей, эхом отвечает ветер в трубе. В моих ушах звенит истерический вопль Безымянной: «Ради своей гордыни! А совсем не ради нас!»

Хватит. Я трясую головой, вытряхивая ненужные мысли и звуки. Поднимаюсь и босиком иду через всю комнату — к трембите на столе. К своему барабану. В полутьме протягиваю руку, чтобы погладить теплое дерево — Громовицу...

Трембита распадается под моими пальцами. Рассыпается трухой. Я тянусь к барабану — он оседает, как подтаявший сугроб, и растекается по столу густой вязкой жижей...

Я просыпаюсь. Резко сажусь на кровати. Глубоко дышу — грудь будто сдавило обручем. Колет в боку.

— Куда ночь, туда и сон, — бормочу сквозь зубы.

Ночь уходит. В комнате сереет рассвет. Моя трембита и барабан лежат на столе — там, где я их вчера оставила. Отдышавшись, поднимаюсь. Иду через всю комнату. Останавливаюсь над столом, протягиваю руку, касаюсь теплого дерева...

Трембита распадается надвое — на две длинные половинки. На вспоротой деке барабана темнеет будто разинутый рот. Изображения волка больше нет — оно топорщится бесформенными лохмотьями.

Это снова сон? Это явь. Я стою над обломками музыки, над кладбищем своих надежд...

Знамение? Предупреждение от Царь-матери? Знак?

Не знаю, сколько проходит времени. Мои ноги застывают на холодном полу. Потом за спиной открывается дверь. Я оборачиваюсь. На пороге стоит Ярый.

— Что с тобой? — спрашивает со страхом.

Снаружи светло. Полумрак в комнате поредел настолько, что я могу видеть его глаза. И вот когда я в них заглядываю, вдруг понимаю все-все. В первую секунду мне хочется еще раз проснуться, отбросить от себя это понимание.

— Что случилось? — повторяет Ярый. И улыбается краешками губ, будто подбадривая. Такие мягкие, такие родные губы.

— У тебя ничего не выйдет, — говорю я, перепрыгивая через целую цепь вопросов и ответов. — Ты погубил мою трембиту, мой барабан и нашу любовь. Но я все равно поведу людей на Завод. Сегодня.

Никогда в жизни не видела, чтобы люди так бледнели. У него будто выключили всю краску на лице: погасли красные и желтые прожекторы, остался только синеватый мертвый отсвет.

— И не пытайся мне врать, — говорю я. — Ты скажешь, что сделал это ради меня... А я скажу, что ты трус и предатель.

Он отступает:

— Я сделал... ради тебя! Чтобы сохранить *твою* жизнь!

Я качаю головой:

— Нет. Ты слишком боишься Завода. Ты даже не решаешься выговорить это слово, говоришь «То Место». Но ты не хотел признаваться в своей трусости.

— Я не трус! Я голыми руками убил вепря!

— Если бы ты не был трусом, ты бы пошел со мной. Или объяснил, почему не идешь. Но и то, и другое показалось тебе одинаково страшным.

Он отступает еще. Спиной упирается в закрытую дверь.

— Ты сошла с ума в своей гордыне! Вот оно, пришла беда, которой ждала от тебя Царь-мать!

— Я Царь-мать, — говорю глухо. — И разговор окончен. Уходи.

Обливаюсь ледяной водой из кадки. Считаю до ста. Прогоняю прочь все посторонние мысли. Готовлю себя к большому бою.

Долго стою посреди комнаты, покачиваясь, чувствуя, как сила перетекает вперед, почти касаясь пола невидимым сгустком, как потом перетекает назад, и тяжелым делается затылок. Вперед-назад; все больше амплитуда. Все упруге горячий сгусток. Я сильна сегодня. Может быть, сильнее, чем за всю свою жизнь.

На окраине поселка меня ждет моя армия. Людей меньше, чем я ожидала, — меньше, чем вчера, под набатом, вызывалось идти со мной. Сказалась длинная беспокойная ночь: кого-то уговорили жены, кого-то матери. Я оглядываю собравшихся. Почти все они молоды. Все — смелые. Все любят жизнь. Любой из них умеет танцевать Аркан лучше, чем я.

Так надо, понимаю я. Те, кто дал себя уговорить, оказались бы балластом в походе. Или хуже — тормозом. Мы поступаем правильно, оставляя нерешительных в поселке. Головач, стоящий чуть в стороне от остальных, кивает, будто прочитав мои мысли.

— Где твой барабан? — спрашивает любопытный Держись.

— Он слишком маленький, — отвечаю, стараясь не смотреть на Головача.

— Возьми мой! У меня, кроме барабана, еще змеевик!

И Держись показывает мне длинную деревянную трубку, в которой гулко пересыпается сухой горох. Нет лучше приманки для дождя, чем хороший змеевик.

— Спасибо, Держись, — говорю я и принимаю его большой, новенький, гулкий барабан.

Солнце поднимается — красное, в ошметках облаков. Будет ветренный день, как я и предвидела. С юга приближается масса теплого воздуха, на севере стеной стоит холодный, и вот когда они столкнутся...

— Идем, — говорю я.

И мы выходим — спокойно и буднично, как на охоту. Спускаемся вниз с холма и дальше идем вдоль речки. Не смотрим назад, но знаем, что весь поселок провожает нас взглядами.

К полудню собираются тучи. Чувствую, как они ползут со всех сторон. Стараюсь дышать глубоко и размеренно: столкновение грозových фронтов должно произойти прямо над Заводом. Еще несколько часов пути — и мы увидим склоны, поросшие ржавым лесом, бетонный саркофаг и покрытые копотью громоотводы над стеной желтого дыма.

Хорошо, что все мои спутники уже видели Завод — издали. Каждый молодой охотник рано или поздно приходил сюда, — страшное место тянуло, как магнитом. Каждый наедине с собой переживал этот страх — первый взгляд на чудовище. И потому сейчас, когда мы все вместе оказываемся на пригорке, ничего особенного не происходит. Ну сердце пропустило удар. Ну кто-то резко вдохнул через сомкнутые зубы. А больше ничего: лица остаются безучастными, кто-то даже улыбается.

— Если молний будет не четыре, а три, — бормочет Головач, — или если они ударят не сразу, а с перерывом в долю секунды... Четыре вышки оттянут их на себя. А нам нужна пятая молния — внутрь, в сердцевину. Учти, что защитный контур отключится ненадолго... То есть войти туда и вырубить Сердце надо будет в течение десяти минут... Ну пятнадцати. Пока смерч и ливень будут хозяйничать снаружи, ты, Лана, должна войти внутрь.

— Войду, — говорю я, преодолевая дрожь.

Держись смотрит на меня широко раскрытыми глазами — как на чудо.

— Держись, — говорю я ему и нервно улыбаюсь. — Порядок будет такой: сейчас мы, все вместе...

Налетает ветер. Развевает мои волосы. Пригибает верхушки леса.

— Мы пойдем к Заводу, одновременно призывая грозу, — заканчиваю я. — Ливень, вихрь, смерч... Сюда. На него.

Моя армия берет наизготовку барабаны, трембиты, бубны и змеевики, а я вдруг вспоминаю Ярого. Он мне нужен — здесь и сейчас. Он мне нужен!

И я невольно оборачиваюсь. Всматриваюсь в склон горы напротив. И почти вижу, как он бежит — сюда, к нам. Быть с нами. В руках у него старая охотничья трещотка... Если только он сейчас придет, клянусь Волком, никогда не вспомню ему... все забуду! Только пусть придет!

Шумит ветер. Раскачиваются верхушки. Моя армия смотрит на меня и не может понять, чего я жду.

Склон, откуда мы явились, пустой.

— Лана, — тихо говорит Головач.

И я понимаю, что Ярый не придет. И что гроза, с помощью которой мы одолеем Завод, подошла уже так близко, что можно услышать ее запах.

Поудобнее пристраиваю большой барабан Держися. Вытаскиваю из-за пояса обутые кожей барабанные палочки. Заношу их над декой, на мгновение замираю...

И они опускаются на барабан, будто по своей воле.

Там-м. Там-м. Бум-м. Бу-бум-м.

Началось.

Мой ритм подхватывает десяток барабанов. Гремят змеевики. Ухают, заливаясь, бубны. И над всем этим ритмичным грохотом взвиваются голоса трембит. Голоса гор, леса, потоков, круч. Голоса живых деревьев, помеченных молнией.

Тучи сползаются со всего неба. Они идут, медленные, грузные, беременные и жизнью, и смертью. Ревет мой барабан: тучи медленно разворачиваются по кругу.

Я заставлю их станцевать Аркан!

Ревут трембиты. Что-то быстро приговаривает Головач. Подтанцовывает молодой Римус. А Держись срывается с места и начинает плясать, играя змеевиком, рассыпая звук дождя. Тучи, будто включив другую скорость, заворачиваются винтом.

Есть.

Не переставая выстукивать ритм, шагаю вниз по склону, и моя армия — мои люди, мои дети — за мной.

— Дождь! Дождь! К нам! К нам! Бей! Бей! Гром! Гром!

Небо ворчит, рокошет и — вдруг разражается ударом. От грохота закладывает уши, но молнии не видно. Далеко.

— Громче! — кричу я. — Громче! Сильнее!

Завод все ближе. Все выше поднимается растрескавшаяся стена бетона. Желтый дым пахнет неприятно и резко. Очертания обгорелых конструкций пугают, не надо бы на них смотреть. Я опускаю взгляд и вижу ворота — ржавые, покосившиеся, заляпанные красной и белой краской. Мне предстоит войти туда, внутрь. Я стараюсь пока об этом не думать.

— Гром! Бей! Гром! Бей!

Тучи нависают над головой, тяжелые, слишком тяжелые. Мне хочется встряхнуть их руками, ударить как следует: мы уже почти под стенами Завода! Давайте молнии! Не спите! Давайте!

До Завода остается несколько сотен шагов, не больше. Мы почти пришли. Небо в напряжении ждет последнего сигнала: сейчас ударят молнии, все хорошо...

В следующую секунду я начинаю глохнуть.

Не понимаю, в чем дело. Трясу головой. Звуки на секунду восстанавливаются, а потом снова слабеют, как будто мне затыкают уши.

И приходит страх.

Рядом с Заводом человека оставляет воля. Я знала об этом. Но я не знала, что Завод, неподвижное чудовище, гасит ритмы. Я бью в барабан — звуки тонут, как в вате, я стремительно глохну.

У меня пересыхает гортань, одна за другой захлебываются трембиты. немеют руки — я слышу, как стихают барабаны. Завод навалился на нас, будто колоссальным кляпом затыкая нам рты.

— Давай! — кричу я, ору что есть сил. — Гром! Бей! Не сдавайся! Держись! Играй!

Мой голос звучит едва-едва. Как будто из-под земли, из могилы. Вот тогда-то я вспоминаю слова Ярого: проклятые земли... Пропадают и звери, и люди...

— Гром! — тускло прорывается голос Головача. — К нам!

Вспышка. Одинокая молния бьет в громоотвод. Черный, покореженный, он глотает ее жадно и без остатка.

— Еще! Еще! Греми! Давай!

Каждое слово Головача звучит все тише. Под конец я вижу только, как он открывает рот, от напряжения вздулись жилы на лбу...

Ветер беззвучно поднимает пыль и щепки. Вокруг ходят смерчки — слишком маленькие, чтобы напугать даже курицу. Зато выше стен поднимается тишина — глухая, мертвая. Я еще чувствую, как вибрирует воздух, сотрясаемый барабанными деками, но с каждой секундой эта вибрация все слабее. Беззвучно ревут трембиты. Еще борется Держись, но его змеевик молчит. Пляшет Ясь, мастер из рода Медведя, движения у него замедленные и неуверенные, как у пьяного. Головач, вырвавшись вперед, вдруг начинает танцевать плавно и страшно: это танец волка, танец дикого зверя, танец-вызов...

Тучи замедляют движение. Ветер протекает у меня между пальцами. Еще есть шанс! Вот она, гроза! Совсем близко! Я еще могу дотянуться, столкнуть два фронта, выбить из этих туч хотя бы пару молний подряд! Я...

Мое сердце — я чувствую — бьется все медленнее. Темнеет в глазах. Тучи приостановились, будто раздумывают, что им делать дальше.

Бороться! Еще...

Но бесконечная тишина завода гасит не только звуки. Гибнут все ритмы: и ритм крови, и ритм мозга, и все ритмы живого существа. Обездвиженное, оно превращается в камень, в труп.

Я колочу по барабану, не слыша звука, я сама становлюсь барабаном, я у этих страшных стен — единственный источник живого ритма:

— Гром! Гром! К нам! К нам!

И в этот момент ворота, тяжелые ржавые ворота, отъезжают в сторону. Оттуда, изнутри, валит желтый дым. В глубине, полускрытые в его клубах, медленно двигаются не то люди, не то механизмы.

Головач что-то беззвучно кричит и бросается вперед. Желтый дым сразу же глотает его, и я уже не вижу, что там происходит, перед воротами...

Смотрю на небо. Тучи расходятся. Тучи предали меня! Стихии посмеялись надо мной! Никто не пришел на помощь!

Плотный туман рвется из ворот, как струи пара под давлением. Щупальца желтого дыма тянутся в разных направлениях, окружая и обволакивая мою ослабевшую, оглохшую, лишенную воли армию. Я ничего не слышу — будто постарела на сотни лет и оглохла от безнадежной дряхлости. В месиве туманных струй успеваю увидеть, как валится на землю Держись, как падает обессиленный Римус и остается лежать неподвижно, а над ним встает причудливой статуей сгусток желтого дыма...

Больше я ничего не вижу.

Темнота. И сердце остановилось.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Прихожу в себя от того, что большой ворон клюет меня в руку. Отшвыриваю проклятую птицу. Ворон отлетает, но недалеко. Тяжело вспрыгивает на камень.

Рука болит и кровоточит. Я поднимаюсь на колени.

Вороны! Наверное, они слетелись со всех окрестных гор. Некоторые кружат в ясном небе. Некоторые сидят на камнях и на темных гудах, разбросанных между камнями.

Я встаю. Небо синее. Солнце склоняется над горами. Но я плохо вижу — все как будто в дымке.

В десяти шагах лежит Держись, не переживший свою шестнадцатую весну. Ветер играет ворсом на его меховой безрукавке. Рядом, выбросив вперед натруженные руки, лежит Ясь, мастер из рода Медведя. Молодой Римус лежит ничком, и ворон сидит у него на затылке. А дальше, на груде каменных обломков, лежит еще кто-то, и на склоне горы, откуда мы все спустились, ходят вороны среди убитых...

С Завода никто не возвращается, так говорил Головач.

Головач?!

Спотыкаясь, иду от тела к телу. Заглядываю в лица. Узнаю. Сквозь молодые мертвые лица все яснее проглядывает Царь-мать, желтые искры на дне черных глаз, хриплый и гулкий голос: «Ты принесешь беду трем родам...»

Я принесла им беду. Я и только я виновна в их смерти. Царь-мать была права, а Головач ошибся.

Но среди мертвых нет Головача. У меня появляется надежда.

Отгоняю воронов, но они меня не боятся. Каркают. Слышу их голоса и осознаю, что глухота прошла. Мертвая тишина, погубившая мой отряд, отступила.

Тогда я подбираю с земли трембиту. Отмахиваюсь от проклятых птиц, будто палкой, потом с трудом поднимаю раструб к небу и, набрав полную грудь воздуха, играю.

Трембита разражается ревом. Вороны спрыгивают с тел и отбегают в сторону. Некоторые поднимаются на крыло. Похоронный плач разносится над горами. Если его услышит кто-то из трех родов, узнает, что случилось, и принесет весть в поселок...

Опускаю трембиту. Жду: может, отзовется кто-то живой? Никто не отзывается. Только в спину упирается тяжелый, сосущий взгляд.

Я резко оборачиваюсь.



Вот оно что. Двери Завода не закрылись до конца. Между железной створкой и бетонной стеной осталась щель. И она, эта черная щель, притягивает меня. Подзывает.

Подхожу поближе и понимаю, почему стена и створка не сошлись. Между ними лежит тело Головача. Зубы его по-волчьи оскалены. Борода — в запекшейся крови.

Сажусь рядом. Кладу руку на холодный лоб. Язык не поворачивается упрекнуть его. Сказать: ведь это ты внушил мне надежду. Ты видел развилку, два пути... Но будущее никогда не открывается целиком. И кто же виноват, что правдой оказалось видение Царь-матери?

Изнутри, из черной щели, веет теплым воздухом. Пахнет железом и разогретой изоляцией.

— Я останусь с вами, — говорю вслух. — Не могу теперь вернуться. Не могу смотреть им в глаза... Зачем я уцелела, скажи?!

Головач не отвечает. Я вспоминаю его слова: «...можно будет войти, Лана, и вонзить клинок в Сердце Завода. Что-то мне подсказывает, что оно мягкое, его можно проткнуть...»

Да он же держит для меня дверь!

Головач даже после смерти помогает мне и подсказывает дорогу. Ну конечно, вот для чего я осталась в живых. Вот для чего Головач умер, удерживая двери. Вот для чего погибла молодежь трех родов — лучшие, смелые, веселые...

Снимаю с пояса Головача его знаменитый широкий нож. Мысленно благодарю.

Оглядываюсь. Вороны опять слетелись, опять пируют. Мне бы похоронить погибших...

Но Головач держит дверь. И щель — теперь я это ясно вижу — становится меньше с каждой секундой.

Сжав зубы, молча попросив у ребят прощения, снова оборачиваюсь к Заводу. Из черного нутра веет теплом, и вдруг я понимаю, что не войду туда. Внутрь Завода. По своей воле — не войду.

Отступаю на несколько шагов. Опять оглядываюсь. Я должна похоронить их, потом вернуться в поселок и, глядя в глаза их матерям, сказать...

Нет!

Шагаю к воротам. Бережно, как могу, оттаскиваю от проема тело Головача. И, не давая себе времени на раздумья, протискиваюсь внутрь, в черноту.

Внутри не темно. Откуда-то пробивается красноватый свет. Оглядываюсь на дверь: она закрывается. Будто ворон взмахнул крылом: хлоп — и нету щели. Мои мертвые друзья, Головач — все остались снаружи.

Преодолевая страх, по-волчьи скалю зубы. Здесь, в этой душной полутьме, бьется Сердце Завода. Я должна найти его и проткнуть. Тогда их гибель будет не напрасной.

И, выставив перед собой нож, иду туда, откуда дует горячий ветер.

Ветер становится сильнее. Воздух очень сухой, начинают слезиться глаза. Все осязатее подрагивает пол. Теперь я слышу — ощущаю всей кожей — вибрацию стен и потолка. Волосы шевелятся на голове: это первобытный страх перед сотрясением почвы.

Я считаю шаги. Успеваю досчитать до трехсот семидесяти двух и вижу впереди, в полутьме, источник ветра. Это вентилятор с лопастями в человеческий рост. Он работает, видно, вполсилы. В проемы между вращающимися лопастями пробиваются, как лоскуты, обрывки плотного желтого тумана. Ветер несет их мне навстречу, они тают, не успев долететь до моего лица.

Я отступаю. Потом подхожу ближе. За вентилятором — еще один коридор, до половины залитый желтым туманом.

Лопасты рубят воздух. Они не похожи на лопасти ветряков в городе — красивее, сложнее. И ритмичнее, потому что в городе ветер то налетает, то слабеет, а этот вентилятор крутится с постоянной скоростью.

*Возможно, при попытке пробраться на ту сторону лопасть перерубит меня пополам. А возможно...*

Ритм простой. Нужно только уловить его. Раз, два, три, четыре...

В такие моменты важно не думать — только слушать ритм. Я сильно отталкиваюсь от бетонного пола и прыгаю. На мгновение оказываюсь частью общего колеса, еще одной

лопастью. Ввинчиваюсь в крохотное пространство между двумя смертями, чувствую, как вентилятор отсекает прядь моих волос... Влетаю в туман. Падаю на пол — он больше не бетонный. Пол здесь — стальная решетка. Она впивается в мои ладони, больно бьет по коленям. Я вскакиваю...

Моя голова поднимается над туманом. Я вижу только желтую колеблющуюся поверхность и над ней — потолок, ржавый, в известковых сосульках. Коридор заканчивается через десять шагов, и нет ни боковых ходов, ни дверей.

Тупик?

Набрав сухого горячего воздуха, снова ныряю в туман. Ложусь на живот, пытаюсь увидеть, что там внизу, под решеткой. Там движение и тусклый свет. Сгустки тумана в тумане ходят, как волны, закручиваются воронками в почти полной тишине.

Жаль, что я не осталась под небом, рядом со своими. Там только мертвые и вороны, но там не так страшно.

Выстукиваю ритм — по решетке, лезвием ножа. Звук глухой и неприятный, но ритм напоминает, кто я и зачем сюда пришла. Продвигаюсь вперед, в тумане, на четвереньках, ощупываю стены. Решетку не проломить — каждый прут в палец толщиной, и они переплетены, как нити в хорошей мешковине. Значит, надо искать выход...

И я нахожу выход. Это узкая труба, ведущая вертикально вниз. Из трубы толчками идет желтый туман. Я приноровилась им дышать, но от него высыхает гортань и наворачиваются слезы.

Откручиваю деревянную пуговицу от рубашки и бросаю вниз. Слышу звонкий удар — как будто пуговица упала на барабан.

Страшно не хочется лезть в эту трубу. Сижу, ослепшая в тумане, держусь за решетку пола и вспоминаю энергетическое шоу. Вспоминаю, как мы летали с Алексом... как мы с Ярым призывали весну. От этого делается так горько, что я плачу. Затыкаю нож за пояс и, спустив сначала ноги, ныряю в трубу — сперва приходится, растопырившись, держаться за ржавые стенки локтями, ступнями и коленями, но потом труба становится поуже, и я спускаюсь по ней почти без усилий.

А потом застреваю. Не могу сдвинуться ни вверх, ни вниз. Не могу даже как следует наполнить легкие, хотя бы желтым туманом. Это длинная, жуткая минута — чувствую себя как человек, которого похоронили живьем.

Во рту — железный привкус. На губах — кровь. Пот льется по спине, по вискам, по лбу, заливает глаза. Я буду долго и страшно умирать здесь, одна, в темноте...

Никогда — ни перед лицом энергоконтролера, ни на крыше небоскреба, ни в поединках — мне не требовалось столько мужества, сколько понадобилось сейчас для того, чтобы перестать биться в панике. Чтобы просто расслабиться, отдохнуть и подумать, что делать дальше.

Вверх двигаться не могу — значит, надо спускаться. Надо найти способ просочиться в эту проклятую трубу. Она не может быть бесконечной! Она даже не может быть очень длинной — я же слышала, как упала пуговица, дно где-то рядом!

И тут же приходит другая мысль: а если там нет выхода? Если труба просто заткнута пробкой?

Новый приступ паники. Я задыхаюсь, на губах выступает пена. Может быть, именно так, загнав человека в трубу, Завод и отнимает у него энергию, силу жить — всю, до остатка?!

Дикая энергия...

Вспоминаю, как мы танцевали Аркан. Как сам собой загорался хворост. Какой сильной я была. Какой счастливой. Какой уверенной в себе... Что же, теперь отдам всю эту силу, по капле, Заводу?!

Выдыхаю весь воздух, какой есть у меня в легких. Съеживаюсь, вытягиваюсь в нитку. И потихоньку, поворачиваясь вокруг своей оси, начинаю соскальзывать вниз.

От недостатка кислорода темнеет в глазах. Я останавливаюсь. Вдыхаю — чуть-чуть, сколько позволяют сжатые легкие. Дожидаюсь, пока отступает темная пелена. Снова выдыхаю и протискиваюсь дальше, проворачиваясь по спирали, как сверло.

Я двигаюсь очень медленно, но двигаюсь. Теперь точно не подняться наверх — стараюсь об этом не думать. Что ждет меня наверху? Сейчас труба закончится, я прыгну...

Она заканчивается внезапно, и я лечу вниз. Подворачиваю лодыжку — к счастью, не очень сильно. Связки целы.

Вокруг желтый туман, подсвеченный красным. Ничего не разглядеть. Я иду, вытянув перед собой руки, и натыкаюсь на стену. Иду вдоль стены — и нахожу дверь.

Тот, кто очень-очень хочет найти выход, — найдет его. Из-за двери несет воздухом, настоящим, чистым и влажным. Я стою, вытирая слезы тыльной стороной ладони. Отдышавшись, беру наизготовку нож и иду вперед.

Чутье меня ведет или везение, но, побродив в темных низких коридорах среди мертвых железных шестерней, нахожу источник света. Свет искусственный, белый — такой зажигался в комнате Длинного, когда он пускал в колеса всех своих динамо-белок одновременно. Только этот свет, упавший лучом из бокового коридора и преградивший мне путь, много сильнее и ярче.

Мне приходится подождать, пока глаза к нему привыкнут. Потом прижимаюсь спиной к стене — и потихоньку, беззвучно продвигаюсь вперед.

На что похоже Сердце Завода? Нужен ли ему свет?

Я представляю себе огромный кожаный мешок, пульсирующий, разгоняющий по телу Завода теплый воздух и желтый туман. Или это огромное беличье колесо, вертящееся само по себе? Или механическое чудовище? «Что-то мне подсказывает, что оно мягкое», — говорил Головач.

Мне не страшно. Я даже удивляюсь. Там, в наполненных туманом коридорах, в проклятушей трубе я готова была умереть от страха. А теперь, когда чутье подсказывает, что цель в двух шагах...

Мне не страшно.

Я останавливаюсь перед обыкновенной приоткрытой дверью. Оттуда падает свет. Там что-то движется: слышу толчки, шорох, поскрипывание. Оно там. Сердце Завода. И нож в моей руке.

Бесшумно ступаю вперед. Вижу комнату с высоким потолком. Море света, огромный пульт мерцает экранами, а между мной и пультом стоит — спиной ко мне — человек.

Тем лучше. Прикрываю глаза. *Вероятно*, через секунду мой нож перерубит сонную артерию у него на шее...

Я прыгаю с места, легко преодолеваю те пять шагов, что нас разделяют, и вонзаю нож ему в шею. Вернее, мне кажется, что вонзаю. А на самом деле человек молниеносно разворачивается и перехватывает мое запястье холодными твердыми пальцами.

Я вижу его лицо.

Оно не молодое и не старое. Оно вне времени, и кажется, что оно выковано из металлических плит. Черные складки-стыки. Глаза смотрят будто из дюз. Маленькие, холодные глаза. Под его взглядом я обмираю.

— Я знал, что мы еще встретимся, — говорит он равнодушно.

Сбросив оцепенение, пытаюсь вырваться. Он перехватывает меня за левую руку, а правое запястье сжимает так, что нож валится на пол. Наступив на лезвие, отшвыривает меня, как тряпку.

Я отлетаю к стене. Бьюсь затылком. Сползаю вниз. Вспоминаю, как он за несколько секунд уложил троих — троих матерых бандитов, подручных энергодилера...

Но и я сейчас много сильнее, чем была тогда!

Я поднимаюсь. Охотница превосходила меня в росте, в силе, она была вооружена, а я нет — но я ведь ее одолела!

Жду, пока мой враг сам начнет атаку. Но он не атакует. Стоит, будто железный, и смотрит так, словно я — насекомое. Приходится нападать первой. Делаю обманное движение, *возможно*, сейчас он попытается до меня дотянуться, я подхвачу с пола нож и...

Он легко просчитывает мой обман. Хватает меня за горло — резко, точно, как автомат. Он может задушить меня. Может сломать шею. Мне по-прежнему не страшно, но осознание, что все опять напрасно, сводит меня с ума.

Он опять отбрасывает меня. Он меня не боится. Стоит и смотрит сверху вниз. Я лежу, прислонившись затылком к стене.

— Ты кто? — спрашиваю, пытаюсь отвлечь его внимание. Выжидая момент, чтобы попытаться еще раз.

— Я Сердце Завода, — говорит он, и его глаза в провалах-дюзах становятся еще темнее. — Его хозяин.

— Врешь, — говорю я, покрываясь холодным потом.

— Нет. Ты ведь искала меня? Вот, нашла.

Я молчу. Мне нечего сказать. Головач опять ошибся. Сердце Завода не мягкое, не податливое, его нельзя так легко проткнуть...

— Ты проиграла, — говорит мой враг.

Он прав.

Он не связывает меня и не сковывает. Просто запирает в маленькой комнате с низким потолком. Слабо светится красная щель над дверью, будто зловещее узкое окошко. Железные стены, железный пол. Я сажусь в углу и обнимаю колени.

Все напрасно. Погибшие волки. Головач, своим телом помешавший двери закрыться. Ужас, который я испытала в проклятой трубе. Все зря.

Я сижу, не шевелясь, и час, и два. От жажды склеились губы. Сколько мне осталось? Сколько долгих минут пройдет, прежде чем я наконец умру?

Бесшумно открывается дверь. На пороге стоит Хозяин — я вижу только его силуэт. Хочется отвести взгляд. Но я должна смотреть в глаза своей смерти.

— Пей, — ставит передо мной стеклянную кружку с водой. Такие кружки я видела давным-давно, в городе, в дорогих кафе.

Я не двигаюсь.

— Ты что, решила умереть от жажды?

Я молчу.

— Очень жаль, — говорит он. — Я как раз собирался кое-что тебе показать... кое-что, связанное с Заводом. И с городом. Тебе было бы интересно, но раз ты твердо решила умереть...

И он делает движение, будто собираясь уходить.

— Что? — спрашиваю я растрескавшимися, пересохшими губами.

— Выпей, — кивает на воду.

Сделав первый глоток, уже не могу остановиться — за все сокровища мира. Допиваю до дна, слизываю последнюю каплю и тогда только понимаю, что это не просто вода. Там что-то намешано. Солоноватый вкус. Яд? Тем лучше. Смотрю на Хозяина, ожидая, что он теперь скажет.

— Минеральная вода, из скважины, поддерживает силы, — протягивает мне руку. — Ну, пойдем.

Поднимаюсь без его помощи. Сильно кружится голова. Пережидаю, ухватившись за стену.

— Иди за мной, — говорит Хозяин.

На нем черная куртка с флуоресцирующим узором на спине. Узор зеленовато светится, хорошо заметный даже в полной темноте. Я не свожу глаз с переплетения зеленых линий, и чем больше на него гляжу, тем яснее становится в голове. Хозяин идет, подставив мне незащищенную спину. Я на ходу снимаю черный шнурок, стягивающий ворот рубашки. Он очень прочный, плетенный из нескольких полосок дубленой кожи. А у Хозяина шея открыта...

Он перехватывает меня двумя руками за запястья. Как будто ждал моего броска. Как будто видел наперед.

— Если ты не перестанешь на меня кидаться, я ничего тебе не покажу, — говорит, по обыкновению, равнодушно. Даже не оборачивается, стряхнув меня на пол. Идет дальше. Поднимаюсь и, униженная, почти бегу следом — чтобы не отстать.

Понемногу становится светлее. Воздух удушливый и плотный: сквозь желтый туман трудно разглядеть собственные руки. Мой проводник останавливается.

— Видишь лестницу?

Я вижу. Железная лестница стоит вертикально. Грязная, покрыта копотью и ржавчиной. На середине каждой перекладины тускло блестит пятно, будто отполированное множеством прикосновений.

— Поднимайся, пока хватит сил, — говорит Хозяин. — Когда устанешь, остановись, отдохни. Я подожду.

Я презрительно хмыкаю. Берусь за холодную железную перекладину, подтягиваюсь, ставлю ногу...

Поднимаюсь.

Мерное движение возвращает присутствие духа. Я не сижу на месте — я двигаюсь вверх. Если есть движение, значит, что-то меняется. Если что-то меняется, значит, есть надежда. К тому же этот подъем напоминает, как я в первый раз взбиралась на башню, чтобы встретиться там с Мавром и Алексом...

Я не считаю перекладины-ступеньки. Потом начинаю считать. Потом бросаю. Мельком оглядываюсь вокруг. Темнота редет, сквозь туман хоть что-то можно разглядеть. Я опять в трубе — на этот раз широченной, выложенной из плотно прилегающих друг к другу кирпичей. Это почти красиво.

Я замедляю движение.

— Устала? — спрашивает снизу Хозяин. Он поднимается сразу за мной. Его голос отдается от кирпичных стен и повторяется несколько раз: «Устала? Устала? Устала?»

— Нет, — быстро отвечаю я. И эхо повторяет на этот раз мой голос: «Нет! Нет! Нет!»

Поднимаюсь дальше. Становится все светлее. Запрокинув голову, вижу небо — бледное, утреннее. Настоящее небо.

Невольно ускоряю движение. Хотя пальцы уже порядком устали держаться за железные прутья. Сбивается дыхание — желтый туман не прошел для меня даром. Но небо — вот оно!

Края кирпичной трубы опускаются все ниже. И — пока сквозь туман — я вижу горизонт. На горизонте — дальние горы. Солнце пробивает утренние облака, касается моего лица, я жмурюсь, сдерживая слезы. От солнца? Или еще отчего-то?

Уже едва перебирая руками и ногами, лезу и лезу вверх. Туман редет. Наконец-то моих легких достигает чистый воздух — утренний, свежий, с запахом леса. Я вижу канатную дорогу — толстенный трос, натянутый откуда-то снизу, от заводской стены, к опоре на вершине горы. К опоре... ну конечно, должна же канатка на что-то опираться... Теперь я догадываюсь, что такое эти проклятые места в горах, о которых рассказывают так много страшных сказок. Там пропадают люди и звери — туда под страхом смерти не ходят охотники... Этот страх охраняет тайну опор лучше любого сторожа.

Думая об опорах, я поднимаюсь все выше и наконец-то понимаю, что это за лестница. Мы — на одном из громоотводов. Железный шпиль покачивается над облаком желтого тумана. Я смотрю вниз;

у меня кружится голова. Подо мной Завод — обломки крыши, кое-где поросшие кустами. Черные жерла коротких толстых труб. Выступающие части неведомых железных механизмов — и дым, туман, клочья и облачка, как будто над Заводом бродят души всех, отдавших ему свою жизнь и энергию...

А надо всем этим — прямо передо мной — невозмутимое лицо, будто выкованное из бронированных плит. Хозяин смотрит на меня.

Руки перестают повиноваться. Пальцы не разжимаются. Стою, прижавшись лицом к железной ступеньке.

— Устала? — снова спрашивает Хозяин. Его голос доносится, будто издалека. — Еще немного. Там площадка.

Поднимаю голову и вижу ее — железную площадку почти на самом конце громоотвода. Значит, это сюда должна была ударить молния... Я оглядываюсь. Еще три громоотвода торчат из тумана: один очень высокий, два поменьше, оплавленные, как свечи.

Очень медленно я начинаю подниматься. Руки ужасно устали. Колени не гнутся. Наконец я хватаюсь за край железного люка и выбираюсь на неширокую площадку без перил.

Высотища. Громоотвод покачивается. Не решаюсь подняться на ноги, сижу, вцепившись в пол. Горы, горы; канатная дорога внизу едва различима. Ни с одной башни мне не открывался такой огромный, такой величественный кусок мира.

Хозяин выбирается из люка. Садится рядом.

— Посмотри туда, — приказывает, перекрикивая ветер.

Я смотрю вслед за его длинным пальцем, обтянутым черной перчаткой. Щурюсь от солнца. Прикладываю ладонь к глазам... и вижу далекие странные очертания. Это не горы. Не далекий лес.

— Это город, — говорит Хозяин. — А теперь посмотри сюда.

Его палец опускается чуть ниже. Поначалу не понимаю, что он хочет показать. Канатную дорогу? Нет, она чуть в стороне...

А потом вижу тончайшие нити, протянутые шлейфами от завода, через горы, по направлению к городу. Много нитей, пучки, связки, ярусы. Все они лежат в стороне от освоенных людьми-волками лесов. Все они — с точки зрения трех родов — на проклятой земле, за Заводом...

Пытаюсь понять, что напоминают эти нити, и не могу. Смотреть на них неприятно и жутко.

— Что это?

— Это провода, — говорит Хозяин, приблизив губы к самому моему уху. — Это энергия для горожан. Для всех синтетиков. Ты, когда надевала манжету, подключалась — через множество трансформаторов, переходников, размножителей — к этим проводам. К Заводу. Ты получала — чтобы жить — кусочек энергии, которую дает Завод. Желание жить, радость. И теперь — каждую полночь — сотни тысяч людей надевают манжеты, чтобы получить свой пакет. Чтобы выжить. Ты помнишь энергетический час?

Его глаза совсем близко. Я смотрю в них, как в два провала. А как же Головач говорил... что Завод сам потребляет энергию, которую вырабатывает...

— Я вам не верю, — говорю я.

Он кивает:

— Это защитная реакция. Ты не хочешь в это верить. Но это правда. Если Завод не будет забирать из города тех редких счастливыхчиков, генераторов, живущих собственной силой, собственным ритмом... Если он не будет выкачивать из них живую энергию... он остановится. И не будет энергетического часа — ни для кого. Вспомни свою подругу! Как ее звали?

— Ева, — говорю одними губами.

— Все умрут, как умирала Ева. Останется несколько сотен людей — на весь город!

— Я вам не верю.

— Я тоже не верил.

Я смотрю на эти белесые нити, протянутые от Завода к городу. Я почти вижу, как ползет по ним чья-то препарированная любовь, консервированная надежда, желание жить... Чтобы попасть в общий котел, смешаться и разбиться на крохотные дозы и явиться в двенадцать ночи в квартиры к несчастным синтетикам...

Прикрываю глаза и легко подкатываюсь к краю площадки. Проклятый Хозяин опять опережает меня — догоняет и прижимает к железному полу.

— Это самый простой выход — прыгнуть вниз, — говорит на ухо.

— Ну, так отпустите меня! Вам-то что?

— Не надейся. Не позволю.

— А-а-а... Вам хочется меня тоже — в топку. Чтобы энергия не пропадала... Только вы опоздали. Я больше не хочу жить. Я теперь хуже синтетика.

— Нет, ты хочешь, — говорит он шепотом. — В тебе есть настоящая дикая энергия. Та, которая хочет жить, даже когда жить невыносимо. Если меня послушаешь, поймешь.

— Я не хочу!

Громоотвод гудит и покачивается. Я рвусь изо всей силы — мне всего-то и надо, что соскочить с края площадки и полетать в последний раз. Но он, мой противник, страшно силен и тяжел. Он вжимает меня в железный настил.

— Послушай, мы ничего не можем изменить. Ты хочешь оставить их без энергии? Всех? Всех убить, разом?

— Я ничего не хочу! Я хочу умереть!

— Нет, жить.

— Ради чего?

— Ради жизни. Просто потому, что покоряться смерти, как синтетик, без борьбы — стыдно.

— Что вы знаете о стыде?!

— Все знаю! — рывкает он так, что я на мгновение глохну. — Я все знаю, ты, соплячка! Я знаю такое, о чем ты понятия не имеешь!

Он наваливается на меня. Мне нечем дышать.

— Ты знаешь, что диких все меньше? Ты знаешь, что городу не хватает энергии? Ты знаешь, что такое ежедневный выбор — этому жить, а тому сдохнуть? Ты хорошо научилась умирать и вести на смерть! Ну, давай, прыгай! Поставь достойную точку в своей никчемной жизни!

И он выпускает меня. Я лежу на краю железной площадки. Вокруг небо, внизу — желтые клубы, окутывающие Завод. Одно движение — и я на полпути в смерть.

Я не боюсь умереть в сражении. Или прикрывая друга. Мне плевать на смерть. Но после этих его слов...

К тому же я всегда знала, что прыгают с крыш, вешаются и тому подобное только синтетики. Настоящий дикий никогда не выбросит свою жизнь, будто мятый фантик, просто так, от отчаяния. Что же мне делать?

Проходит очень много времени. Солнце поднимается выше. Оно такое спокойное, будто ничего не случилось. Никто не привел друзей на бессмысленную гибель. Нет ни канатной дороги, ни белесых нитей, связывающих Завод и город. Только Солнце, чистая, дикая энергия.

— Пошли вниз, — глухо говорит Хозяин. — Нам долго спускаться.

В коридоре, полном желтого дыма, нам встречается процессия чудовищ. Впереди, полускрытый туманом, едет на гусеницах огромный ковш. За ним ковыляет на трех суставчатых опорах нечто вроде шагающего крана: платформа, стрела, три крюка. Процессия выходит из арки слева и удаляется в коридор направо. Туман колеблется и поглощает звуки. И скрип, и скрежет, и тяжелые шаги скоро затихают вдали.

— Что это? — спрашиваю шепотом.

— Слуги Завода. Похоронная команда.

И сразу все понимаю: и куда чудовища идут, и что они там будут делать.

Хочется лечь и перестать существовать. Хозяин берет меня за локоть и тащит дальше — почти насильно. Я прихожу в себя в глубоком кресле, кожаном, холодном.

Он подносит к моим губам стеклянную кружку с подсоленной водой. Я не удерживаюсь и начинаю пить. Захлебываюсь. Кашляю.

— Зачем вы их убили?!

— Их убила охранная система Завода.

— Вы не могли ее остановить?

Я жду, что он соврет, но он не опускается до лжи:

— Мог. Но не стал.

Я вспоминаю тишину, погубившую мой план и мою армию; он будто догадывается, о чем я думаю.

— В минуту опасности Завод производит антиритм — звуковая волна накладывается на возвратную волну. Реверсная монотонная ритмика — на выходе тишина, ноль. Останавливается сердце, замирают все процессы в тканях, в клетках... Живое существо перестает быть живым. Автоматы хоронят.

— Почему?! — вырывается у меня.

— Потому что с Завода никто не возвращается. Это закон. Чем дальше от этого места будут держаться окрестные племена, тем дольше проживут.

— Убийца! — Я пытаюсь встать. Ноги не держат. — Меня тоже? В топку? В печь?

— У Завода нет печи.

— А что у него есть?

— Тебе так хочется это знать? — Его лицо похоже на железную маску.

Я бессильно откидываюсь на спинку кресла.

— Позвольте мне тоже похоронить... моих друзей. Поблизости.

— Нет. Ты никогда больше не выйдешь за пределы Завода. Ты знаешь то, что никому другому знать не следует.

И он уходит, задвинув за собой железный засов.

Проходит несколько длинных дней. А может, неделя. А может, сутки. В моей комнате нет окон и нет часов. Есть кожаное кресло, у которого очень удобно откидывается спинка, да еще вытертая шкура. Да еще отхожее место — труба в полу, прикрытая жестяной крышкой.

В углу время от времени открывается окошко, оттуда высовывается, как язык, лента транспортера. По ленте плывут ко мне кружки с водой, миски с дымящейся жидкостью — не то кашей, не то супом. Я не могу есть. Я только пью — и снова засыпаю.

Окошко транспортера слишком узкое. В него не просунуть и головы. Дверь стальная. Мне некуда бежать. Раз за разом простукиваю стены, ощупываю стальные швы и заклепки в поисках потайного хода. Стены бронированные, в них можно бить хоть молотом — они даже не погнутся. Тем не менее я в сотый, в тысячный раз ищу лазейку, не нахожу ее — и засыпаю, свернувшись клубком в кожаном кресле.

Мне снится Держись — он карабкается по вертикальной стене небоскреба. Мне снится Алекс — он танцует Аркан. Мне снится Ярый, и я поскорее стараюсь вынырнуть из этого сна. Мне снится Ева — она плачет и просит подзарядки. А я не могу ей помочь. Потом Ева превращается в Безымянную и говорит со злорадством: «А я говорила! Ты погубила нас всех ради своей гордыни!»

Постепенно мои сны смешиваются с явью. Во сне я беру стакан воды из окошка с транспортером. Наяву — летаю в Оверграунде вместе с Перепелкой. Засыпаю на лету и больше не просыпаюсь. Во сне ощупываю заклепки на стенах — вдруг одна расшаталась? Вдруг она вылетит, и откроется дверь?

Дверь открывается. Я пробираюсь по черному коридору, который становится все уже и уже. Я застреваю и не могу вырваться, как ни пытаюсь. Я зову на помощь Яркого, но он проходит мимо, не взглянув на меня. Он решил взять себе в жены Безымянную — она уже ждет от него ребенка...

Я просыпаюсь от того, что мои зубы стучат о край кружки с солоноватой водой. Я полулежу в кресле. Кресло такое же, но комната другая. Всю стену занимает пульт с клавиатурой и экранами. Сердце Завода сидит рядом, одной рукой придерживает мой затылок, другой — вливает в меня жидкость.

А на экране за его плечом идет энергетическое шоу. Я узнаю заставку. Потом идет цветовая волна — сине-оранжевая, от углов к центру. «Энергетическое шоу — для вас, горожане! Честная работа — дополнительный пакет!»

Экран плоский, вроде того, что был установлен у меня дома, в городе, на руле велосипеда без колес. Но тут не надо крутить педали — экран работает сам по себе, я вижу движущиеся картинки: два клоуна, синий и фиолетовый, дерутся надувными дубинками.

Вот теперь я точно знаю, что сплю. Даже странно, что подсоленная вода такая приятная, свежая на вкус, как наяву.



— Лана, — говорит Хозяин. — Приходи в себя. Приходи в себя!

Он называет меня именем, которое дала мне Царь-мать. Я мотаю головой, отгоняя сон, но он все еще здесь. И пускай. Это вовсе не самый плохой из моих снов.

На экране продолжается действие. Проплывает реклама динамических белок, список вакансий на мусороперерабатывающем комбинате; я знаю, пакет там крошечный, шестьдесят энерго, а работа тяжелая. Снова заставка, снова бегущая картинка: парень и девушка несутся на роликах по темным улицам, парень раскручивает за хвост огромную светящуюся рыбу... Вспыхивают отражатели на углах домов, на вывесках, мерцает дорожная разметка...

— Я хочу домой, — говорю вслух. Все равно это сон.

— А где твой дом? Где он?

Я смотрю на экран. Роллеры подкатываются ближе, парень поднимает рыбину на вытянутых руках. На светящемся рыбьем боку темными чешуйками выложены слова. «Энергетический конкурс „Свободная мысль“. Бонусная энергия — монетка жизни!»

— Откуда вы знаете мое имя?

— Ты сама его сказала. В бреде.

— Я бредила? Я и сейчас...

— Нет, сейчас ты пришла в себя. Ты смотришь энергошоу. Осталось одиннадцать минут.

Я приподнимаюсь на локтях. Оглядываюсь; вижу комнату, в которой впервые встретилась с Хозяином и проиграла бой. Вижу экраны, черно-белые или зеленоватые, и среди них единственный яркий — тот, на котором крупными буквами написано сейчас: «Берегите торговые автоматы! Не допускайте вандализма!»

— Что это, на экране?

Он подходит к пульту, касается панели. Картинка укрупняется, я вижу только несколько букв, потом фрагмент буквы «р», потом цветные точки. Одну точку — красную — на весь экран. И все повторяется в обратном порядке — изображение отъезжает. Картинка меняется. Теперь там показывают рекламу экономичных ветряков.

— Это пиксели?!

— Да. Только здесь, на экране, они просто точки. А там, в городе, — люди.

Я задерживаю дыхание.

Далеко-далеко, на склоне холма, тысячи людей танцуют, повинаясь ритму в наушниках. Солнечный свет заливает холм, картинка отражается в облаках, и другие люди, горожане, видят то же, что сейчас вижу я... Хлопают широченные полы роб. Шлепают босые пятки о плиты прохладных, чуть шершавых платформ. Я так ясно это себе представляю, что сама на какой-то момент становлюсь пикселем — единственной точкой, проводником ритма, преобразователем звука и движения в цвет...

Хозяин касается клавиатуры. На картинке добавляется красного цвета, меньше становится зеленого. Изменение почти не заметно глазу, но оно есть.

— Значит, это *вы* ими управляете, — говорю я.

Мои слова звучат по-дурацки. Город страшно далеко отсюда. Холм залит вечерним солнцем. Там люди-пиксели делают свою работу, зарабатывая очередной энергетический пакет... Как ими может управлять отсюда, с Завода, этот странный и страшный человек?

И тем не менее я знаю, что это правда.

— Да, — кивает он. — Я запускаю программу. По ходу дела могу кое-что подправить... вот как сейчас. Или поменять прямо во время передачи. Но сигнал на все ритм-блоки идет отсюда. Из этой комнаты.

На минуту закрываю глаза. А когда открываю, экран залит красным. Конец шоу.

— Хочешь есть? — спрашивает Хозяин.

И вдруг я понимаю, что смертельно голодна.

У него печка, как у людей-волков, только не глиняная, а железная, и топится не древесиной, а продолговатыми черными брусками, похожими на прессованный уголь. Он разогревает мне суп, в котором плавают кусочки консервированного мяса. Я глотаю варево, обжигаясь и не чувствуя вкуса, а Хозяин сидит напротив и молчит.

— Я думал, что ошибся, — говорит, когда я выщепиваю со дна последние капли. — Ты почти умирала... Я решил было, что в тебе совсем не осталось дикой энергии. Но ты сильнее, чем даже я думал. Твоей энергии хватило бы Заводу на целую неделю. Или даже больше.

— А вашей? — Я смотрю ему в глаза, но вижу только темные провалы.

— Ну и моей приблизительно на столько же, — говорит он, не смущаясь. — Если бы я мог своей энергией спасти десятки тысяч людей, я, пожалуй, сам прыгнул бы на распадатель. Но Завод сожрет тебя, сожрет меня и потребует еще. А у города нет запаски... Так это звучит на жаргоне синтетиков?

— Нет запаски, — повторяю я и вспоминаю Еву. И тут же спохватываюсь. — Что такое распадатель?

— Это то самое место, которое иначе называлось бы печь. Хочешь посмотреть?

— Нет.

— Оно совсем не страшное, это место. Это просто круглая площадка... мембрана, очень жесткий батут. Внизу датчики и трансформаторы. Сверху вытяжка. Вот и все.

Я сглатываю слюну.

— И как... это происходит?

— Мембрана вибрирует, ощутив прикосновение человека, его тяжесть, его ритм, его тепло. Эта вибрация вступает в конфликт с ритмом человеческого тела и разрушает его, высвобождая энергию. Человек рассыпается прахом. Пепел уходит в вытяжку. Датчики фиксируют поступление энергии на сенсоры... А дальше — по проводам. В город. На станцию назначения.

Я молчу, пытаюсь представить все, о чем он говорит. Вспоминаю сетку над костром. Царь-мать, лежащую у моих ног. Ветер, разлетающийся пепел...

— Огненный Кон, — выговариваю с трудом. — У них... людей-волков... есть...

И, мучительно подбирая слова, рассказываю о поединке с Царь-матерью.

Он кивает:

— Да. Горцы используют технологии Завода, сами того не осознавая. Огненный Кон, по-видимому, передает энергию побежденного победителю. По крайней мере, часть. А заводской распадатель передает энергию любого, кто на него попадет, Заводу.

— А может, это Завод использует... технологии горцев? Людей-волков?

Он качает головой:

— Вряд ли. Но точно не знаю.

— *Вы* не знаете?!

— Чему ты удивляешься? Ты думаешь, это я построил Завод? Да я пришел на него, так же как ты... пытаюсь что-то изменить!

Он приоткрывает железную дверцу печи и подбрасывает черный брусок на тлеющие угли. Разгорается пламя, выхватывает из полутьмы его тяжелое, будто бронированное лицо. На дне глазниц вспыхивают огоньки: огонь отражается в маленьких, глубоко посаженных глазах.

— И вам удалось? — спрашиваю я.

— Нет. — Он прикрывает печную дверцу. — Она умерла.

— Кто?

Он достает с полки бутылку с водой, зубами открывает крышку. Вытирает лоб тыльной стороной ладони.

— Моя жена.

— У вас была жена?!

Он молчит. Смотрит в темноту.

— Но Завод подчиняется вам? — спрашиваю я, чтобы хоть что-то сказать.

— Да. Я его Сердце. Ты думаешь, это метафора, красивые слова? Нет. Я стал частью Завода. Я сросся с ним. Иногда, изредка, позволяю себе уйти в город. Ненадолго.

— Да, — бормочу я. — Вы ведь... я видела вас в городе... я поняла, что вы не контролер. Потом. Мне сказали...

— Да. Я просто брожу по улицам. Иногда убиваю дилеров... Если поймаю. Но больше — смотрю на людей. Наблюдаю. Мне нужно видеть человеческую жизнь, особенно после энергетического часа. Понимаешь?

— Нет... Вы говорите о дилерах, как о... тараканах.

Он с силой опускает кулак на стол. Подпрыгивают стаканы.

— Энергии не хватает на всех. Я уже это говорил. С каждым годом ее все меньше. Это я тоже говорил. А они делают себе деньги из человеческих жизней. Непрожитых жизней. Ты слышала о жизнеедах?

— Это сказки...

— Это не сказки! Конечно, жизнееды не чудовища с пастями до пола. Они подлавливают самоубийц на вышках, за несколько минут до прыжка. Высасывают из несчастного синтетика, решившего умереть, жалкие остатки энергии — последние капли. Потом мертвое тело сбрасывают вниз. Или бросают в канализационный коллектор. А из энергии... если это можно так назвать... из того, что они высосали, мастерят фальшивые зарядники. И продают синтетикам, по какой-то причине лишенным пакета. А энергополиция получает проценты от каждой сделки!

Он говорит, как человек, годами не раскрывавший рта, — голос хрипит и срывается, но слова, накопившиеся за долгие дни молчания, так и рвутся из горла.

— А те, кто получает по несколько зарядок за ночь... — бормочу я.

— Это другое. Им-то, чаще всего, достается настоящая энергия. За счет какого-нибудь оштрафованного бедолаги. Но как только человек получает больше одной зарядки за ночь, он начинает умирать. Пройдет несколько месяцев — и ему не хватит, чтобы выжить, целого Завода.

Я вспоминаю человека, умершего на моих глазах в подворотне. И еще вспоминаю Григория.

— Вы же им платите... — Я не узнаю своего голоса. — Вы сами им платите подзарядками, чтобы они вам служили...

— Да. Иначе не получается. Трансформаторная станция... обыкновенная энергетическая подстанция, распределительный щит всего города. Вокруг нее — высшие чины энергетической полиции. Они же все синтетики. Им нужно по сто с лишним энерго каждую ночь. Их женам, детям, родственникам, друзьям. Их советникам. Их верным слугам. Понимаешь? Синтетиков, попавшихся на незаконной сделке с энергией, лишают пакета, обрекая на медленную смерть. А дилеров отпускают. Людей на грязной работе — например, гонять вагоны по канатке — подсаживают на мультидозу... то есть на несколько доз за ночь. Они быстро сменяются на таких работах. Ничего не успевают узнать, ничего не успевают понять. На их место берут других, и так без конца.

— Вы все это знаете... И ничего не пытаетесь изменить?!

Он смеется, не улыбаясь. Не растягивая губ. Жутковатое зрелище.

— Мне надо, чтобы распределительный щит работал. Чтобы по домам синтетиков шла энергия. Потери неизбежны. Сопротивление проводов съедает энергии больше, чем вся эта стая энерго-шакалов. Просто, если я прихожу в город и застаю дилера за работой, я его убиваю. И всех, кто к этому причастен, убиваю тоже.

— А нас вы не убили.

— Я вас пожалел. Я могу себе позволить такую роскошь — кого-то пожалеть.

— А тех, кого привозят по канатке, вы не жалеете?!

— Твою судьбу я мог тогда изменить. Их судьбу никто не изменит. Какая разница, жалею я кого-то, не жалею? — Он запинаясь. Тяжело переводит дыхание. — Ты спрашиваешь, почему я терплю всю эту банду прилипал возле трансформаторной станции? Дело даже не в том, что, прогони я этих, на смену придут другие... Не в этом дело! Дело в том, что главного-то ни я, ни ты, никто изменить не может. Заводу нужна живая энергия, он должен регулярно жрать молодых и сильных людей. И в мире, где это возможно... нет смысла заботиться о справедливости или о чем-то вроде этого.

Стены вздрагивают. Не то звук. Не то вибрация. Мой собеседник поднимает голову: на Заводе что-то случилось.

— Что это?

— Прибыла смена, — говорит он буднично и включает боковой экран.

Не знаю, что я ожидаю увидеть. Но на экране график — десять зеленых столбиков, повыше и пониже, слева шкала с делениями. Справа — диск, разделенный на сегменты, три четверти зеленые, одна пятая — желтая, оставшаяся тонкая долька — темно-серая. По картинке пробегают полосы-помехи.

— Ну вот, — говорит Хозяин, глядя на экран. — Видишь, зеленое поле — дикая энергия, желтое — остаточная синтетическая. До полной загрузки не хватает четырех процентов, и это еще ничего. Бывали смены, что и десятка не хватало.

— Что это? — повторяю я, невольно съежившись в своем кресле.

— Топливо для Завода, — сухо отвечает Хозяин.

— Это люди?!

— Ты что, слепая? Это график! Десять единиц общей емкостью...

— Это люди!

Он кладет мне руку на плечо. Сжимает пальцы — мне больно, но я не решаюсь пошевелиться. Есть в нем что-то... цепенящее. Лишающее мужества.

— Я знаю, что это люди, — говорит он шепотом. — Ты думаешь, зачем я езжу в город после энергетического часа? Я смотрю на них. На счастливых синтетиков. Я говорю себе: вот ради чего. Я записываю их радость на пленку, привожу на Завод и монтирую видеоряд для энергошоу. Просматриваю эти пленки еще раз. И еще. И говорю себе: вот ради чего! Ясно тебе?

— Вы очень несчастный человек, — говорю я шепотом. У меня зуб на зуб не попадает.

— Я?

Становится тихо. Слышно, как вибрируют стены. Как осыпается где-то песок.

— Что сейчас... с ними... делают?

— Сейчас погонщик сгружает их на ленту транспортера. Они сонные, оглушенные. Не понимают, что происходит.

— Погонщик?

— Человек, который их привез. Через шесть минут Завод даст канатке задний ход, и вагон поедет обратно.

— Вместе с погонщиком?

— Да... Если приемка прошла успешно, погонщик находит в вагоне подзарядку.

— А если не успешно? Если в дороге кого-то... потеряли?

Он наконец-то выпускает мое плечо.

— Тогда погонщик ничего не получает.

Нет, не зря Григорий так за меня сражался. До последнего.

— А люди?

— Смена? Сейчас их везет транспортер... Через три минуты выгрузит на распадатель.

Я впиваюсь в подлокотники кресла:

— И ничего нельзя сделать?!

Он садится рядом со мной и вдруг обнимает меня за плечи.

— Ничего. Ничего нельзя сделать. Мы же помним про десятки тысяч людей, которые...

— Пусть бы сдохли все синтетики! — кричу с внезапной злостью. — Трупоеды! На чужой энергии...

— А ты сама? А твоя подруга? А все твои знакомые, друзья... родители?!

Мы молчим. Стены вибрируют. Догорает огонь в печурке.

— Моя жена тоже была синтетик, — говорит он шепотом. — Она никогда в жизни никому не сделала зла. Она не виновата... что не хотела жить. Она честно пыталась. Ради меня. Ради нашего будущего ребенка.

— У вас... ребенок?

Стены Завода содрогаются. Мелко дрожат. Мне мерещится этот транспортер — будто подрагивающий от нетерпения, жадный липкий язык.

— Я не успел, — говорит Хозяин. — Я добыл для нее зарядку, но слишком поздно. Нет у меня никакого ребенка.

Вибрация нарастает. Ритм судорожный, рваный — будто Завод ощущает подступающие конвульсии. Я пытаюсь что-то сказать, но не нахожу слов. Мне хочется проснуться.

— Теперь транспортер сгружает их на мембрану, — говорит он. — Ты слышишь, стены уже не так трясутся. — Он рывком прижимает меня к себе. У меня перехватывает дыхание. — Синтетики не заводят детей. Почти не заводят. Раньше в городе были миллионы людей, теперь гораздо меньше. И они почти не хотят жить. Скоро не останется никого, пригодного для переработки. Тогда Завод все равно остановится, и синтетики все равно умрут. Понимаешь? Но это случится не завтра и не послезавтра. Есть еще время... И, в конце концов, каждый из нас когда-нибудь умрет, но это же не повод бросаться с башни вниз головой?!

Мне кажется, что он бредит. Его рука все плотнее сжимает мое плечо. По всему огромному Заводу проносится не то вздох, не то конвульсия.

— Началось, — говорит Хозяин. — Заработал распадатель.

В недрах Завода зарождается новый ритм. Мои зубы начинают стучать, как от сильного холода. Я крепче сжимаю челюсти. Меня трясет. Хозяин чувствует эту дрожь, я пытаюсь вырваться, но он не пускает. Я замираю.

— Иногда это длится по часу, — говорит он. — Все зависит... Но сегодня быстро. Будет быстро. Вот увидишь.

В недрах Завода что-то с глухим стуком лопается. Я чувствую, как проходит ветер по каждому коридору и каждой вентиляционной шахте, касается моих щек, завывает в щелях, решетках и трубах. Взлетают обрывки желтого тумана. Ярче вспыхивает огонь в печи. Столбом поднимается пыль, по полу ходят маленькие смерчки...

Потом огонь в печи гаснет. Сквозняк слабеет.

— Все, — говорит Хозяин и выпускает мои плечи.

Я сижу на верхушке громоотвода. Смотрю на далекие горы. Металлическая платформа покачивается подо мной. Я взобралась сюда на рассвете, а сейчас солнце опускается за горизонт.

Лето. В горах зреет земляника. Я никогда ее не видела, про нее рассказывал Ярый... Все еще не могу не думать о нем. Но вспоминаю все реже.

Когда солнце прячется, спускаюсь вниз. Хозяин, оказывается, поджидает меня. Смазывает жиром сочленения откатывающейся механической сороконожки.

— Что ты там делала?

— Вам-то что?

— Каждый раз, когда ты туда идешь, я боюсь, что ты не вернешься, — серьезно говорит Хозяин. — Спрыгнешь.

— Я же дикая, — заставляю себя улыбнуться. — А дикие презирают самоубийство.

Он подталкивает сороконожку под зад, и она, гремя сочленениями, укатывается в боковой коридор.

— Что это?

— Чистильщик. — Он вытирает руки тряпкой. — Хочешь, покажу тебе кое-что, что тебя развеселит?

— Развеселит? — Я скептически хмыкаю.

— Ну, развлечет по крайней мере... Пойдем?

Он снова идет впереди. Мерцает зеленый узор у него на куртке. Я уже знаю, что это сенсоры — почти как глаза на спине.

Он приводит меня в подвал. Или как еще можно назвать подземное помещение?

Открываются тяжелые железные двери — почти такие же, как те, в которые я вошла. Хозяин зажигает фонарь, и я раскрываю рот от удивления: передо мной подземный ход! Широкий тоннель ведет вдаль и вдаль, на полу поблескивают рельсы, на них стоит,

упершись буферами в земляную насыпь, платформа на четырех колесах. Журчит вода — под железобетонной конструкцией, под рельсами, протекает ручей.

— Не оступись, — говорит Хозяин.

Я подхожу ближе. На платформе — огромный прозрачный барабан, поставленный на ребро, вроде беличьего колеса. На блестящих боках отражаются блики. Я останавливаюсь.

— Это дрезина на шариковых слизнях, — говорит Хозяин.

— На чем-чем?

— Замечательные твари. Лучше любого механизма. Смотри!

Он подносит фонарь поближе. Прозрачное колесо на треть заполнено маслянистой плотной жидкостью. К стенкам то там, то здесь пристали продолговатые тела больших серых улиток. На подошве у каждой — россыпь ртутно-блестящих шариков.

— Развивают огромную скорость, — говорит Хозяин. — Спариваются только на суше. Здесь, в колесе, самцы. А здесь, — он открывает бак у стены, — самки...

Я заглядываю в бак. В темной жидкости ничего не видно.

— Они такие же, только большие и розовые, — говорит Хозяин.

— А смысл?

— Смысл в том, что, если самок добавить в колесо к самцам, они все неудержимо рванут на сушу. Колесо так устроено, что вскарабкаться на стенку можно только в одном направлении — вперед. Они очень тяжелые, двигаются быстро, ну и... колесо вертится. Дрезина развивает дикую скорость в тоннеле. Поворотов, подъемов почти нет. Рельсы гладкие. А на обратном пути тебя ждет уже следующее поколение улиток — главное, спустить жидкость из барабана сразу же по прибытию. И вовремя рассадить молодых самцов и самок.

— А куда ведет этот тоннель? — медленно спрашиваю я.

Он закрывает бак с розовыми самками. Стучит железная крышка.

— Зачем тебе?

— В город, — говорю я, будто сама себе. — Вот как вы туда добираетесь. Не в вагончике же вам болтаться...

— Пошли, — говорит он сухо. — Спать пора.

Завод живет своим ритмом, столь же постоянным, как смена дня и ночи. Я начинаю ощущать его так жестко, как синтетик ощущает сутки — период между двумя энергетическими часами. Где бы я ни была, я чувствую этот ритм. Гудение, не слышное уху, зато ощутимое кожей. Движение механизмов, шипение пара. Напряжение все растет и растет, пока наконец на приемный транспортер не прибывает смена.

Кажется, я начинаю понимать Хозяина. Я ненавижу его — но понимаю. Для того, чтобы не сойти с ума, надо видеть в сменщиках не людей, а графики на экране. Вот ползет транспортер, вот он сгружает единицы топлива на мембрану, вот оживает ритм распадателя; в эти минуты мы с Хозяином всегда оказываемся рядом. Это не случайно. Нам обоим хочется, чтобы рядом был живой человек — каким бы он ни был.

Хозяин мало говорит — больше расспрашивает. Мне неохота откровенничать, но он всегда ухитряется развязать мне язык. Я рассказываю о Еве, о том, как я работала пикселем. О том, как мы играли в огарчик, какие слухи ходят в городе о жизнеедах. О том, как я однажды пришла в музыкальный магазин...

Я вовремя успеваю прикусить язык. Если я расскажу о барабанщике Римусе — даже не называя имени, — Хозяин сможет найти его сам или натравить своих ловцов. А Римус — это ведь ниточка к диким. А дикие — отличное топливо для Завода: Алекс, Мавр, Лифтер, глухонемой Лешка, Перепелка и двое ее детей...

Я представляю всех их на конвейере. Зеленые столбики на экране... Графики, а не люди. Если на Завод привезут хоть Перепелку, хоть старого Римуса, хоть даже Ярого, я об этом не узнаю — дрогнут стены, пройдет ветер, тронет волосы на затылке. И все.

— Что с тобой? — спрашивает Хозяин.

Я с трудом разжимаю кулаки.

— Ничего, — говорю, как ни в чем не бывало. — Я слышала от одного человека... что раньше завод брал энергию от стихий. А потом стихии взбунтовались, и он... переродился. Это правда?

— Я не знаю.

— Если это правда... Может он еще раз переродиться?

Хозяин равнодушно пожимает плечами.

Мне снится, что все они живы.

Что посреди полонины сложен костер из срубленных под корень смерек — высотой до неба. Костер горит, как Солнце. И три рода танцуют Аркан всей деревней — встав друг другу на плечи.

На фоне огня я вижу их силуэты. Мужчины танцуют, встав в круг, накрепко сцепившись топорами-бартками, на их плечах стоят женщины, обнимая друг друга за плечи, а на плечах у женщин — легкие подростки, девочки и мальчики, их темноволосые головы почти вровень с верхушками деревьев...

Я хочу, чтобы сон продолжался. Но он обрывается.

Коридоры Завода освещены неравномерно. Где-то царит темнота. Где-то пробиваются из щелей красные отсветы. Где-то светится потолок — бледным синеватым светом. Плотный туман лежит, как вода, достигая колен, или поднимается до пояса, или до потолка — тогда я стараюсь в этот коридор не соваться.

Хозяин вроде бы не ограничивает моей свободы. Я могу ходить, куда захочу. Вот только чего мне хотеть? Ясно, что с Завода не выбраться. Я пробовала много раз: коридоры водят по кругу, здесь и там попадают — неожиданно выступают из темноты, выныривают из тумана — отвратительные механизмы и приспособления. Некоторые стоят неподвижно, подняв железные захваты на уровень моих глаз. Другие делают работу — бесполезную, как по мне. Выскабливают до блеска бетонный пол. Чистят стены. Фильтруют воздух, всасывая одним соплом желтый туман и выпуская из другого сопла его же, только чуть разогретый. Я ненавижу железных тварей и боюсь их — до омерзения.

Мне не хватает моего барабана. Не хватает ритма. Иногда забиваюсь в дальние коридоры — просторные, почти не освещенные — и танцую. Молча пою, слушаю свое тело. Разлетаются из-под подошв мелкие лужицы, рвется туман, Я танцую, на короткое время становясь собой — Ланой. Дикой. Сильной. Я танцую в тишине и в темноте.

Я провожу в танце, наверное, несколько часов без передышки. Чуть не падаю от усталости, умираю от жажды, но чувствую себя намного лучше. И не боюсь встретиться с Хозяином лицом к лицу.

Хозяин сидит у себя, в рубке. Монтирует предстоящее энергошоу. Это единственное его занятие, за которым мне нравится наблюдать. Я устраиваюсь в углу, в черном кресле, подтягиваю колени к животу. Хозяин делает вид, что меня не замечает.

«Энергетическое шоу для вас, горожане!» Буквы переливаются красным, зеленым, оранжевым, фон остается белым. Я представляю себе, как окраинные пиксели замерли, повернувшись к солнцу белыми спинами, и только нетерпеливо пошлепывают босыми ступнями о каменные платформы — отбивают ритм. А центральные — те, которым всегда достается самая трудная и интересная работа, — танцуют, всплескивая лапами роб, меняя, меняя, меняя цвета...

Я смотрю, как руки Хозяина — цепкие, почти черные, с длинными крючковатыми пальцами — набивают слова на клавиатуре. На экране появляется надпись: «Ребенок — твоё будущее! Заведи ребенка!»

— Это что-то новенькое, — вырывается у меня.

Он морщится:

— Это бессмысленно. Трата времени. Но я подумал...

Он снова кладет руки на клавиатуру. Надпись меняется: «Ребенок — это престижно! Заведи ребенка!»

— Заводу не хватает топлива, — говорю я. — Надо, чтобы вырастали новые дети. На корм Заводу.

Он никак не реагирует на мою провокацию.

— Скажите, эти... контролеры, ловцы, энергополицейские... знают о вас? Кто вы такой, что делаете, где живете? Что можете и чего не можете? Кто-нибудь вообще знает о вас?

— Пиксель не может видеть картинку, — бормочет он под нос. — Этим людям, на СИНТ, доступны только фрагменты информации. Кому-то большой фрагмент, кому-то меньший. Всей правды не знает никто.

— Что такое СИНТ? — спрашиваю я, нахмурившись. Вспоминаю манжету для подзарядки, как она сдавливает руку повыше локтя. Вспоминаю, как проступает на коже узор, складывается в буквы... которые исчезнут через несколько часов. С.И.Н.Т...

— Станция Импульсной Некоммерческой Трансформации, — говорит Хозяин, манипулируя рычажками на пульте. — Неуклюжее название. Но так исторически сложилось.

— Некоммерческой?

— За деньги продается только фальшивая энергия. Настоящую можно заработать. Пикселем. Рабочим. Полицейским. Агентом для особых поручений... Отработать. Не купить. Ты будешь смотреть сегодня шоу?

Я молчу.

— У меня есть кое-что для тебя.

Он отходит в сторону и открывает продолговатую нишу в стене. В первый момент мне кажется, что у него в руках трембита. Я замираю — и еле сдерживаю вздох разочарования.

Это не трембита. Это странный кожистый материал, собранный в гармошку, как сложенный веер. Хозяин раскрывает его; по темному полю разбегаются острые зеленые вспышки.

— Сенсоры, — говорит Хозяин. — Как у меня на куртке. Сенсорный экран.

Экран очень большой: даже открытый наполовину, он почти перегораживает рубку. Материал чем-то напоминает живую ткань — прошит жилками, сосудами, будто внутренняя поверхность века. Я касаюсь его. Он кажется тонким и уязвимым, но на самом деле очень прочный.

— Хорошая вещь, — говорит Хозяин. — Можешь смотреть шоу у себя в комнате. Можешь настроить, как зеркало. А можешь просто поставить ширмой, от сквозняков.

— Спасибо, — говорю равнодушно.

Уединившись в своей комнате, пытаюсь настроить экран, но он, видно, неисправен. Мне удается найти только три канала: зеркальный (я ужасаюсь, увидев перед собой исхудавшее, бледное лицо в кривом зеркале — мое лицо), канал энергошоу (он работает только двадцать минут в день) и еще один, отображающий рисунок сенсоров на куртке Хозяина. Получается, я смотрю ему в спину — каждый день, каждый час — и все равно не знаю, чем он занят. Сенсоры пригасают, когда Хозяин сидит или стоит, и перемигиваются чуть ярче, когда двигается. Вот и все.

Сложив экран, ставлю его в угол комнаты. Сама выхожу на середину, закрываю глаза и начинаю танцевать, наращивая и наращивая ритм.

И снова — в который раз — тоска и оцепенение, облепившие было меня, как липкая корка, разрушаются и спадают, выпуская меня на свет. Ко мне возвращается мужество. А значит, вернется и удача.

Я чувствую себя громоотводом. Живым, пляшущим громоотводом. Я жду молнию, я притягиваю ее, и вот...

Молния — мысль, беззвучная и невидимая — бьет мне в макушку, да так, что я чуть не падаю. Я вижу путь к свободе. Такой простой и близкий, что мне хочется плакать.

Который час? Там, снаружи, пасмурно — или солнечно? Далеко ли до заката? Мне нужно, чтобы сначала было светло, но вскоре после этого стемнело...

Подхватив под мышку огромный, почти невесомый экран, я пускаюсь в путь по коридорам, каждую секунду обмирая: мне кажется. Хозяин способен прочесть мои мысли на



расстоянии. Поэтому, когда из-за поворота появляется его высоченная темная фигура, я почти не удивляюсь. Только сердце, в последний раз стукнув, останавливается.

— Ты куда собралась? — спрашивает он с обычным своим равнодушием.

— Я испытываю экран, — говорю первое, что приходит в голову.

— Бегая с ним по коридорам?

— Я хотела...

— Иди-ка в рубку.

— Но я...

— Иди!

Я не нахожу в себе сил послушаться.

Может, завтра, говорит моя надежда. Не стоит торопиться. Не стоит привлекать внимание, он может заподозрить неладное. Он проницательный. Он уже заподозрил...

Поворачиваюсь и, по колено утопая в проклятом желтом тумане, иду в рубку. Может, я надоела ему? Докучливая игрушка? Может, он решил отправить меня на мембрану — сегодня?

В рубке пусто. Слепо мерцают экраны. На одном из них — красная заставка. Я потеряла счет времени: ведь сейчас должно начаться шоу...

Оглядываюсь на дверь. Хозяин отстал. А может, и не собирался догонять меня? Может, ему достаточно, чтобы я сидела в рубке как под домашним арестом? Ставлю свернутый экран у стены. Подхожу к пульта. И вижу клавиатуру. Полустертые зеленые буквы на белых клавишах.

Понятия не имею, каким образом передается на экран программа энергетического шоу. Но сейчас, на несколько секунд, мне открывается будущее.

*Возможно...*

Я промахиваюсь пальцами по клавишам, оттого надпись выходит не особенно красивая.

ЗАВОД СУЩЕСТВУЕ ПОЖИАЕТ ЭНЕРИЮ ЛЮДЕЙ НЕ ВЕРЬТЕ  
ЭНЕРГОКОТРОЛЕРМ ЛОВЦАМ ИЩИТЕ СИНТ ЭТО Я ЛАНА

Я жму большую кнопку с надписью «Ввести немедленно». Я почти не верю, что это возможно, но мои корявые слова высвечиваются на экране. Сразу после традиционного приветствия «...для вас, горожане!».

В коридоре шаги.

Я понимаю, что погибла. Теперь совсем. И бросаюсь бежать, подхватив экран, свою последнюю надежду.

Я заворачиваю за угол коридора, когда с противоположной его стороны — всего в двадцати шагах от меня — появляется Хозяин.

Я бегу, как не бегала никогда в жизни. Хозяину требуется несколько минут, чтобы обнаружить мое художество. И броситься вдогонку.

Я слышу его шаги. Каждую секунду жду, что он схватит меня за волосы.

Сейчас надо повернуть. Второй коридор налево — или третий?!

Я останавливаюсь. Теряю время. Один из этих коридоров ведет в тупик, и я не вижу будущего. Я не знаю, куда мне сворачивать.

Шаги Хозяина становятся ближе, и я сломя голову кидаюсь в первый попавшийся коридор. Впереди сгущается туман.

Тупик?!

Это автомат-сороконожка! Я перепрыгиваю через него и ныряю в коридор направо. Теперь я точно знаю, где я. Еще сто шагов — и вход в кирпичную трубу!

У подножия железной лестницы трачу еще несколько секунд, чтобы засунуть свернутый экран за пояс на спине. Хозяин вылетает из-за поворота — я ставлю ногу на железную ступеньку.

— Стой! Дрянь!

Если у него есть пистолет или хоть что-то стреляющее, я погибла. Свернутый экран мешает, бьет по спине; хоть бы он не выскользнул из-за пояса! Хоть бы не упал!

Поднимаюсь по железной лестнице, на штырях-ступенях остаются, наверное, лоскутки моей кожи с ладоней. Я не чувствую. Я играю в догонялки со смертью. Вверх!

Лестница трясется. Мой враг поднимается следом. Либо у него нет пистолета, либо он хочет разорвать меня голыми руками. Учитывая, что он много выше меня и физически сильнее...

А вот посмотрим, кто сильнее!

Ладони липкие. Я не чувствую боли. Мне надо во что бы то ни стало добраться до железной площадки. Тогда у меня будет шанс.

— Стой! Убью!

Я почти ощущаю его руки на своих щиколотках. Прибавляю скорости. Из покачивания громоотвода, из гудения железных ступеней, из моего собственного хриплого дыхания рождается ритм, я ловлю его и примериваюсь к нему, он подхватывает и несет, как быстрая вода.

— Идиотка!

Кажется, он отстал. Ненамного, но отстал. Я не сбавляю скорости. Сейчас! Еще немного!

Вот он, железный люк. Я в последний раз подтягиваюсь — и выбираюсь на железную площадку на страшной высоте.

Солнце склоняется к горизонту. Горы лежат вокруг, как зубцы огромной короны — зеленая цепь, за ней синяя цепь, за ней золотисто-дымчатая цепь. Ветер несет запах травы и хвои. Я замираю — будто громоотвод в ожидании молнии...

— Лана, стой!

Я вижу его лицо в отверстии люка. Его глаза впервые выглянули из тени глазниц, я различаю их цвет. Они зеленовато-карие.

Одним рывком он поднимает свое большое могучее тело на край площадки. Я отступаю. Между нами два шага, не больше.

— Стой, — говорит он. — Послушай, ничего страшного не случилось. Ты сделала глупость. Только и всего. Я не буду тебя наказывать. Я даже не буду тебя...

Одновременно он делает шаг вперед — и я, отступая, выхватываю из-за пояса свернутый экран.

— Лана!!

Его руки хватают воздух в миллиметре от моей груди. А я уже валюсь назад. Уже падаю, и ветер ревет в ушах.

— Лана!

Ветер играет мной, как пустой оберткой от бутерброда. Я переворачиваюсь раз, другой, путаю верх и низ, перед глазами у меня темнеет... И, почти теряя сознание, разворачиваю экран.

Рывок! Мое падение замедляется. Потом ускоряется снова. Я вижу, как с трудом, преодолевая сопротивление воздуха, раскрываются складки и перепонки, как вдруг вспыхивают зеленым сенсоры, как каждая ниточка и жилка экрана-крыла напрягается...

Я перебираю руками, ощупываю несущие ребра крыла-экрана, ловлю ветер. Это единственное, что может еще спасти мою жизнь. Я вишу на развернутом крыле, вцепившись руками в жесткие перепонки, все еще падаю...

А потом резкий порыв ветра, будто подставленная ладонь, превращает падение в скользкий полет.

Я парю, как птица. Я вижу мир сверху. Вижу горы, леса и луга. Солнечные лучи пробиваются сквозь дырявые тучи — веер лучей, растопыренные пальцы. Цветное небо над головой, цветная земля внизу, мерцающее зеленоватое крыло — будто тонкое веко, будто крылышко стрекозы. Я лечу...

Порывом ветра меня сносит в сторону. И прямо на пути, на расстоянии, кажется, вытянутой руки, выступает из тумана бетонная стена.

Я резко меняю наклон крыла...

Меня подбрасывает и проносит над стеной, я чиркаю по бетону подошвами ботинок. И снова падаю, только теперь внизу — чахлый, ржавый лес...

И снова падение переходит в полет. На этот раз почти горизонтальный. Доля секунды...

Я врезаюсь в колючий кустарник.

Очень колючий.

Ладони мои разодраны до мяса. Лицо исцарапано, голова болит, на лбу надулась шишка величиной почти с кулак. Но я жива. И я свободна.

Завод рядом. Завод близко. Через несколько секунд после моего приземления-падения наваливается тишина. Замедляет биение сердца. Сеет панику.

Я бегу, телом прорывая эту смертоносную вату, и постепенно начинаю слышать хруст веток под ногами. Собственное сердце. Хриплое дыхание. Я вышла из зоны антиритма. Я победила. С торжеством оглядываюсь...

Чтобы увидеть сквозь чахлый лесок, как железные ворота открываются, и из черной темноты — не могу без содрогания в нее смотреть — выдвигаются, полускрытые желтым дымом, механизмы.

Хозяин видел мой полет. Не знает точно, жива я или нет, хочет удостовериться. Автоматы принесут ему мое тело. Или меня в беспамятстве. Или засекут движение, поймают на бегу, скрутят, притащат обратно...

Преодолевая боль, забираюсь на самое высокое дерево. И сижу, прижавшись к стволу, среди колючих веток.

Автоматы все ближе. Рассыпаются полукругом. То и дело выбрасывают вперед и в стороны гибкие щупы с сенсорами на конце. Один сбивает — на лету — птицу. Сыплются перья, как черный снег.

Мне надо сделаться частью древесного ствола. Слиться с ним. Остыть, отдать стволу все тепло... Дерево, дерево, спаси меня!

Один из автоматов — шагающее устройство на трех ногах, с тремя когтистыми манипуляторами — осматривает соседнее дерево. Щупы вытягиваются на десять метров вверх, трясут ветку за веткой. Валятся шишки. Обыскав очередной объект, механизм направляется к следующему. К дереву, на котором сижу я.

Хочется заорать и броситься вниз. Попробовать убежать. Хотя попытаться! Но я сижу — и с опозданием вспоминаю, что моя кровь осталась там, на нижних ветках. Кровь из пораненных ладоней.

И автомат находит кровь.

Яростным зеленым огнем вспыхивают сенсоры. Выдвигается антенна — он передает сигнал Хозяину? Щупы — их два — обвивают ствол с двух сторон. Медленно, неторопливо двигаются все выше. Обшаривают ветку за веткой.

Я прижимаюсь к дереву всем телом. Я — дерево. Я — его часть. В моих жилах — древесный сок. Я неподвижна... Я замерла!

Щуп касается подошвы башмака. Вся моя сила воли уходит на то, чтобы не дернуться.

Щуп поднимается выше. Трогает штанину. Скользит по древесному стволу, обшаривает кору, трогает мою спину...

Я перестаю дышать.

Другой щуп появляется прямо передо мной. И, помедлив, касается лица.

Я не двигаюсь. Я дерево. Дереву все равно, кто его трогает. С деревом заигрывает ветер, бродят по веткам птицы, дятел долбит кору...

С резким раздраженным визжанием щупы исчезают. Моментально вытягиваются внутрь, под корпус механизма. Раскачиваясь на трех ногах, автомат идет к следующему дереву.

Я сижу на ветке целую ночь. Слышу, как автоматы обшаривают лес. Все жду, что они вернутся. Все жду, что явится Хозяин; поиски длятся долго, на свету и в темноте. Наконец автоматы отступают на Завод.

Я боюсь, что они оставили надсмотрщика, который дождетсЯ, пока слезу с дерева, и тогда схватит меня. Поэтому я сижу на ветке до утра.

Утром лес просыпается. Ржавый лес. Дерево, давшее мне приют, покрывается росой. Я жадно облизываю каждую иголочку. Потом спускаюсь вниз (руки-ноги онемели так, что почти падаю) и слизываю росу с травы.

Роса на моей одежде. На волосах. Роса смывает кровь с лица и ладоней. Я умываюсь в росе — и оживаю. Как будто не было страшной ночи. Как будто мы гуляем в лесу — с Ярым...

А ведь Ярый остался в поселке трех родов! И, может быть, ждет меня? Может, если я вернусь и расскажу всем правду, он простит меня?

Я не решаюсь выйти из леса на открытое пространство. Прячась за стволами, подбираюсь ближе, вижу холмики ржавой глины и сваленные на них рваные барабаны, негодные бубны, сломанные трембиты. Кладбище моих друзей. Кладбище наших надежд.

Роса высыхает. Поднимается солнце. До поселка — всего полдня пути. Как меня встретят? Что я увижу, когда вернусь?

Сажусь на траву. Страшно хочется есть... И хочется отдыха. Покоя. Нормальной человеческой жизни. Огня в печи. Разговоров. Мужских и женских лиц. И детей. Как мне не хватает назойливых, вечно вертящихся под ногами, шумных детей, каких полным-полно в поселке!

А если автоматы побывали и там?

Хозяин не признался мне, сколько я его не расспрашивала. Эти столбики на экране, эта вибрация стен, этот ветер в коридорах Завода... Может, все три рода уже *там*? И дети?

Понимаю, что этого не может быть. Всякий раз перед поглощением приходил вагончик из города...

Из города.

Что сказали люди, прочитав на экране мое послание? Сбой, авария, нестыковка? Не обвинить же в ошибке пикселей — они все действовали строго по команде ритм-блоков...

«Ищите СИНТ». Я могла бы посоветовать им что-нибудь поумнее. «Не верьте контролерам, ловцам...» А как они различат, кто ловец, а кто нет?

Мне надо в город. Не в поселок — в город. Почему эта простая мысль не навещала меня раньше? Надо предупредить диких. Спасти тех, кого можно спасти...

Я должна рассказать им правду. Они ведь ничего не знают! Может быть, они решат — они, не я, — что Завод надо остановить любой ценой. И тогда мы соберем огромную толпу, огромную, и придем под стены Завода, и тогда победим?

Я поднимаюсь... и останавливаюсь, прислонившись к смолистому стволу. До поселка — полдня пути. А в город... *как* я доберусь в город? Там же непроходимые горы...

Страшно хочется есть.

Бреду, глядя под ноги, нахожу немного земляники, нахожу грибы, которые когда-то показывал Ярый. Ем сырым. Меня сразу же начинает мутить. Не отравиться бы...

Слышу ручей. Подхожу ближе. Ручей большой, шире того, на котором мы с Ярым устраивали гонки на ледорезах... Опять эти воспоминания!

Ложусь на живот и пью, как зверь. Пью, постанывая от удовольствия. Потом закрываю глаза.

Все мои беды оттого, что я хочу слишком многого. Мне не достаточно того, что есть. Я хотела большего — и полезла на башню, к диким. Я хотела большего — и ушла из поселка на штурм Завода... А ведь у меня было все: и любовь, и... Слезы падают в ручей.

По стремнине плывет, наполовину погрузившись в воду, обломок ствола с единственной веткой. Сама не зная зачем, ловлю его за кончик ветки и притягиваю к берегу.

Обломок ствола. Куда он плывет? Выпускаю бревно. Оно плывет, неторопливо и торжественно, дальше, за поворот, скрывается из глаз...

А куда впадает эта река?

Почему-то при мысли об этом начинаю волноваться. Мне надо вспомнить что-то очень важное. Я сижу почти у самого Завода, хотя мне надо поскорее убираться отсюда, может включиться антиритм, автоматы могут устроить еще одну зачистку... А во второй раз их не обмануть!

Почему я не бегу куда глаза глядят, в горы? Шум ручья. Я вспоминаю, где в последний раз слышала такой же шум. В тоннеле, где стоит дрезина на шариковых слизнях!

И подземный ход ведет прямо в город... Пригибаясь, крадучись, скольжу вдоль берега, будто примеряясь, каково это — быть рекой. Завод все ближе. Кроны ржавых сосен, под которыми можно укрыться, все реже. У Хозяина в рубке есть обзорные экраны...

Потом я вижу бревно, застрявшее на излучине, и понимаю, что надо делать.

Вода ледяная. Но мне не привыкать. Как есть, в одежде, я вхожу в ручей, превратившийся уже в маленькую речку, и ложусь, обхватив бревно руками. Бревно переворачивается. Я оказываюсь под водой.

Выбираюсь, поднимая ил со дна. Нахожу на берегу полый гибкий стебель. Перекусываю зубами. Делаю трубку. Снова ложусь, обнимаю бревно, дышу через стебель.

Бревно некоторое время раздумывает, а потом медленно трогается по течению. Бревно плывет, и я под ним. Речка на стремнине достаточно глубокая, чтобы не чиркать по дну спиной.

Бревно выплывает на открытое место. Сквозь пленку воды вижу, как надвигаются стены Завода. Надеюсь, на крохотном экранчике не рассмотреть мои руки, вцепившиеся в бревно? Они покрыты илом, черные, цвета мокрой коры... И они сведены судорогой. Холодно. Я еле терплю.

Река ныряет в отведенную для нее бетонную трубу. Становится темно. Я разжимаю руки, выпускаю бревно и поднимаюсь на ноги.

Вода мне по пояс. Ледяная. Бревно, освободившись, плывет вперед и утыкается в стальную решетку.

Ну конечно! Поскальзываясь на тинистом дне трубы, подхожу ближе. Решетка старая. Кое-где проржавела. Что там за ней, не разглядеть — воду замутили ил и песок, которые я же сама подняла со дна. Но решетку можно сломать, ее нужно сломать, эта решетка отделяет меня от города!

Я берусь за один прут. В другой упираюсь ногами. Раз, два... три!

Прутья только чуть гнутся. Зато решетка вся, целиком, вдруг выламывается и падает на меня, опрокидывает в воду. Я чуть не захлебываюсь.

Бревно медленно и торжественно плывет впереди. Я держусь за него. Я не знаю, кто там сейчас, возле дрезины, кроме шариковых слизней...

Вижу рельсы над головой. Железобетонная конструкция. Хватаюсь, подтягиваюсь из последних сил. Еще сантиметр... Над шпалами поднимается моя голова, потом плечи, затем я сама, как большая рыбина, вываливаюсь на рельсы.

Все.

В тоннеле полутьма. Дрезина стоит, где стояла. Уровень жидкости в стеклянном колесе чуть ниже, чем в прошлый раз. Шариковые слизи-самцы, продолговатые серые тени, дремлют, присосавшись к мутноватому стеклу.

Оставляя за собой лужи, подбегаю к баку у стены. Поднимаю крышку. Кажется, и самки на месте. Только жидкости в колесо надо бы добавить.

Здесь же, в ящике без замка, нахожу черпак на веревке. Набираю жидкости из бака для самок. Жидкость очень, очень тяжелая. Я подливаю ее слизням в колесо — они оживляются. Потом тем же черпаком пытаюсь выловить и самок, но они не вылавливаются.

Я ишу в том же ящике другой черпак, поудобнее, но нахожу вместо этого ночные очки с одним треснувшим стеклом. Это подарок судьбы. Удача снова на моей стороне.

Потеряв терпение, вылавливаю самок просто так, рукой. Они оказываются не противными на ощупь и очень красивыми — большими, розовыми. Я невольно задумываюсь: как их выпускать к самцам? По очереди? Всех сразу?

Отхожу к колесу. Считаю самцов. Их примерно пять десятков. Самок должно быть больше — или меньше?

В горле пересыхает. Не удержавшись, набираю воды из ручья и пью. Снова вылавливаю самок, считаю их и складываю прямо на платформу дрезины. Они пытаются расползтись. Я ловлю их и, одну за другой, подбрасываю в колесо.

Тяжелая жидкость играет. Вырываются пузыри — как в кипятке. Почти вертикально вверх выскакивает серый самец, за ним — розовая самка, и в следующую секунду улитки всей массой наваливаются на стенку колеса. Их накрывает волной жидкости, они снова

наваливаются, их снова накрывает тяжелой волной. Колесо вертится... Но платформа не движется. Беру себя в руки. Надеваю очки и внимательно изучаю дрезину. Ну конечно, для того, чтобы колесо сцеплялось с ходовой частью, нужно его опустить. Вот и рычаг.

Рычаг не поддается. Я обламываю ногти. Колесо со слизнями вертится все быстрее, грохочет все громче, каждую минуту может войти Хозяин... Рычаг натужно щелкает. Колесо опускается, совмещаются зубчатые шестеренки, натягивается цепь. Дрезина трогается.

Несколько минут стою, глядя, как удаляется насыпь. Как все дальше от меня убегают железные ворота завода. Грохот колес отражается от глинистых стенок тоннеля. Улитки, как безумные, рвутся на сушу, на скользкую стенку. Блестят ртутные шарики у них на подошвах. Колесо поворачивается, слизней снова накрывает волной, и они снова рвутся на сушу, и дрезина катится...

Когда свет в начале тоннеля окончательно гаснет, впервые смотрю вперед. В ночных очках все красновато-бурое. Я вижу стенки тоннеля и рельсы, уводящие вперед.

Иногда тоннель поворачивает. Тогда колесо с улитками накрывается, а я, чтобы не упасть, хватаюсь за низкие поручни.

Чем дальше смотрю вперед, тем яснее представляется, что меня проглотила огромная змея. И вот я скольжу по ее пищеводу. Корни деревьев, иногда проступающие на стенах, кажутся ребрами. Я отворачиваюсь. Сажусь на вытертую кожаную подушку — спиной по ходу движения. Снимаю ночные очки.

Пахнет влагой и плесенью. На мне мокрая одежда — я мерзну. Обхватываю плечи руками. Ну вот. Все у меня получилось. Теперь осталось чуть-чуть.

Слизни несутся по стеклянным стенкам, мерцают шариками на подошвах, жаждут продолжения рода. И я несусь сквозь темноту подземного хода. Что ждет меня в городе?

Так, скорчившись в попытке сохранить тепло, я задремаю. Просыпаюсь от щелчка и одновременно — рывка. Судорожно хватаюсь за поручень.

Дрезина свернула.

Что это так щелкнуло под колесами? Была там стрелка, развилка пути — или мне приснилось? Может быть, просто камень упал на рельсы?

Развилка.

Я вижу развилку, говорил Головач. Кто был мудрее — он, во всем искавший *вероятности*, или Царь-мать, всегда видевшая один-единственный путь и единственную цель? Головач мертв. Но ведь и Царь-мать мертва. Кто мне теперь скажет?

Я засыпаю. Я страшно устала — за ночь на ветке ни разу не сомкнула глаз. Меня знобит. У меня все болит...

Дрезина катится и катится. Сколько ей еще катиться? Вагончик канатной дороги ползет почти сутки. Но ведь он идет не по прямой и медленнее...

Я сплю, держась за поручень. Мне снится молодая женщина. Она ведет меня за руку. Я маленькая. Я тоже была ребенком; плохо, что я смутно помню то время. Только обрывками. И уж, конечно, мне никогда не снились родители.

Я хочу увидеть лицо этой женщины. Но оно слишком высоко. Ее все время что-то отвлекает: она то отворачивается, разглядывая витрины, то встречает знакомого и долго говорит с ним, а я поднимаюсь на цыпочки и все пытаюсь увидеть ее лицо. Наконец, потеряв терпение, зову, топаю ногой, требую: мама!

Дрезина дергается, я хватаюсь за поручень и просыпаюсь. Еще одна развилка? Или это часть сна? Вон как разогнались слизни, ветер свистит в ушах, и куртка почти высохла.

Впереди показывается свет. Я подскакиваю на ноги: сколько же я проспала?!

Дрезина, сбавляя ход, выкатывается к земляной насыпи. Налетает на буферы — я чуть не падаю. Щелкает рычаг — стеклянное колесо автоматически поднимается, слизни все еще бегут, но сцепления с ходовой частью нет.

Я прыгаю с дрезины. Вижу открытые ворота. Вижу человека с фонарем в руке. Кто это? Кто меня встречает?

— Накаталась? — спрашивает знакомый голос. Хозяин светит мне в лицо фонарем.

— Ты считаешь меня идиотом, Лана? Ты думаешь, я показал тебе это место, чтобы ты без труда сбежала? Там лабиринт! Ловушка для дурачков!

Я бью его в лицо. Пытаюсь ударить. Он легко блокирует мой удар и, чуть не сломав мне руку, отшвыривает назад. Я едва удерживаюсь на ногах.

— Тебе мало тех людей, которых уже закопали под стенами? Ты приведешь других?

Перед глазами на секунду делается светло-светло. Я отлетаю, бьюсь затылком о стену. Теплая кровь из носа заливает подбородок и губы. И только тогда понимаю, что он меня ударил.

Я сползаю по стене. Падаю. Я одолела Царь-мать, но он слишком силен. И сила его иная.

Он идет ко мне. Я вижу, как мягко ступают по перемешанному с глиной гравию его тяжелые ботинки. Хочу закрыть глаза, но заставляю себя смотреть.

Он наклоняется. Берет меня за ворот. Подтягивает повыше... и вдруг поднимает на руки.

Железные двери закрываются за его спиной. Я снова на Заводе. Снова отвратительный запах желтого тумана. Снова ненавистный ритм, гудение и гул — на грани слышимости.

Хозяин Завода несет меня, не говоря ни слова. Несет так осторожно, будто я его главное сокровище.

Он отпаивает меня солоноватой водой и рассказывает, как в юности гонялся в пневмотоннелях. Оказывается, много лет назад в городе была система пневматических перевозок: по узким тоннелям, проложенным над землей и под землей, переправляли грузы при помощи воздуха под давлением. Отчаянные ребята летали в этих потоках на самодельных крыльях и воздушных досках — как я понимаю, именно там, в пневмотоннелях, родилось искусство полета, которым овладели потом дикие обитатели башен.

И Хозяин, который еще не стал тогда Сердцем Завода, летал вместе с ними.

Это было опасно — гораздо опаснее, чем даже нынешние полеты диких. Пневмонавты — а среди них немало было и девчонок — нередко калечились и даже гибли, у них рвались барабанные перепонки и шла носом кровь. И все равно они гонялись — летали в узких темных тоннелях, всего на мгновение опережая груды каких-нибудь летящих мешков или ящиков, всегда на спор, на выигрыш, и победителем становился тот, кто дошел до финиша первым, без потерь и травм.

Хозяин рассказывает мне все это подробно — как делались крылья, как обтачивались воздушные доски, как это все работало, — и я прекрасно понимаю, что он не врет. Он действительно там был и выжил. И летал, вероятно, одним из первых.

Я лежу и слушаю. Ни о чем не спрашиваю. Я не могу говорить: у меня сильный жар, голова свинцовая, из глаз текут слезы — не потому, что я плачу. А просто слезятся глаза. Воспалились все мои раны и царапины, он обрабатывает их мазью. Поит меня и кормит из ложечки. Носит на руках в отхожее место. У меня нет сил сопротивляться. Да и что бы я делала без него?

— Экран, в принципе, не должен был тебя выдержать. Просто ты поймала ветер. Это очень трудно.

Сейчас он спросит, кто меня научил. Я не скажу — даже под пыткой.

Но он не спрашивает. Он рассказывает, все тем же ровным голосом, что самым трудным в искусстве пневмонавтики был не старт, а финиш. И долго рассказывает о девушке, которая так форсила перед ним, что шла иногда на совершенно сумасшедший риск.

— Она погибла? — хриплю я.

— Нет, что ты! Она потом... у нее был муж. Кажется, она родила ребенка. Девочку.

Он замолкает.

Его ладонь лежит на моем лбу. Я не могу ее сбросить. От этого прикосновения утихает боль.

— Ты помнишь своих родителей?

Примерно о том же спрашивал Римус. Старый Римус, из магазина барабанов.

— Помнишь?

— Смутно.

— Мне почему-то кажется, что та девушка... стала потом твоей матерью. Ты на нее похожа.

— Правда?

— Ну да. Я заметил это сразу, когда увидел тебя там, на этой свалке... рядом с дилерами. Ненавижу этих тварей.

— А ваша жена, — мне тяжело говорить, — она... не гонялась в пневмотоннелях?

— Нет. Она была синтетик из синтетиков... Тихая. Робкая. Та девушка в тоннеле была, как трава, пробивающаяся сквозь асфальт. А другая, моя жена, — как цветок на открытой земле.

Я молчу.

Он обнимает меня. Прижимает к себе. Я слышу его сердце.

— Знаешь... когда гонишься в пневмотоннеле, очень важно, какую песню поешь про себя. Все, в конце концов, зависит не столько от скорости реакции или от умения. И умелые, бывало, разбивались в лепешку вместе со своей реакцией. А вот важно правильно выбрать песню. Веришь?

Я думаю. Головач пел про себя, когда сражался или охотился. И Царь-мать, по-моему, тоже.

— У меня была очень простая песня, — говорит Хозяин. — Но она никогда не подводила.

Я не спешу освобождаться из его рук. Может, потому, что слишком ослабела. А может, потому, что просто не хочу.

Хозяин не то поет, не то говорит нараспев:

— Жил-был парень, звали его Ветер, он девчонкам головы кружил. Раз-два-три, славно жить на свете, если ты лапки не сложил. Три-два-раз, лапки не сложил... Ну и так далее. — Он обрывает песню, будто смутившись.

Песня странная и немножко смешная. Никогда раньше ее не слышала, но запоминаю сразу же. «...Лапки не сложил... Три-два-раз, лапки не сложил...» Ловлю себя на том, что повторяю слова — одними губами.

Хозяин чуть разжимает руки. Смотрит на меня сверху вниз.

— Лана, не оставляй меня, — говорит очень тихо. — Ты последняя радость в моей длинной, нехорошей жизни. Не беги от меня. Пожалуйста.

Мне снится, что я лечу в плотном потоке воздуха вдоль подземного тоннеля. На стенах горят ярко-желтые лампы, сливаются в движении, превращаясь в две нитки света справа и слева. На виражах доска-крыло чиркает по стенам, выбивая искры. Это похоже на наши гонки с Ярым по замерзшей реке, но страшнее.

Я знаю, что опережаю соперника на несколько долей секунды, он дышит мне в затылок, и, когда пролетаем мимо очередной лампы, вижу его тень на стене.

— Не догонишь!

Я знаю, кто это. Но не позволю ему еще раз поймать меня. Пусть сколько угодно поет свою песню.

— Жил-был парень, звали его Ветер...

Я ловлю воздушный поток, пытаюсь сделаться частью его, частью этого ветра, пройти к финишу кратчайшим путем. Иногда поток взмывает под потолок, иногда опускается до самого бетонного пола, но если я коснусь его, мгновенно потеряю скорость. Я лечу, ошалев от полета, от мелькания огней, я свободна...

И, не вписавшись в поворот, врезаюсь в стену.

Прсыпаюсь, обливаясь холодным потом. Вокруг бетон, железо, запертые двери.

Я в тюрьме.

Вагон канатной дороги приближается ко входу на транспортер. Я вижу его крышу — далеко внизу.

Вагон входит в тоннель. У меня шесть минут — пока погонщик выведет смену, пока принимающая автоматика сопоставит зеленые столбики графика с другими, присланными с



СИНТа при загрузке. Погрузили столько-то людей — выгрузили столько-то единиц топлива общей емкостью такой-то, столько-то процентов загрузки распадателя. Если цифры совпадут, погонщик уедет обратно с переносным аккумулятором, заряженным на несколько доз. Если не совпадут — уедет без аккумулятора. Но в любом случае у меня осталось пять с половиной минут до отправления вагончика.

Бросаю вниз веревку. Она летит, раскручиваясь в полете, конец повисает, чуть-чуть не достав до входа в тоннель. Я очень долго высчитывала длину этой веревки — совсем не надо, чтобы погонщик ее увидел. Осталось четыре минуты. Я осторожно сползаю с узкого карниза, где просидела несколько часов, и, перебирая руками, отталкиваясь ногами от стены, начинаю спуск.

Я почти полностью восстановила силы после болезни. Почти. Секунды бегут, я опускаюсь все ниже метр за метром. На веревке завязаны узелки, по ним отсчитываю расстояние. Стараюсь дышать потише, но сердце колотится и грудь ходит ходуном.

Добравшись до последнего узелка, самого большого, я останавливаюсь. Вишу на отвесной стене Завода, прямо над входом в тоннель, в метре подо мной тускло поблескивает железный трос канатки. Гудит транспортер — вообще-то, он работает почти бесшумно, но за много дней, проведенных на Заводе, я научилась различать его звук среди множества посторонних шумов. До отправления вагончика остались считанные секунды, смена сейчас ступит на ленту последнего конвейера... Успеваю услышать слабый девичий голосок:

— А куда теперь?

— На ленту, — говорит мягкий, почти ласковый голос, это, конечно, погонщик. — Тут движущаяся дорога, она отвезет вас, куда надо.

— А куда?

— Увидишь! Прости, мне надо уезжать, тут все по часам, ты понимаешь...

Последние его слова сливаются со стуком двери в кабину. Пот ручейками течет по спине. Простите, ребята, сегодня я не смогу вас спасти. Простите!

Трос содрогается. Из тоннеля показывается крыша вагона. Замешкавшись, пропускаю нужную секунду, и вот уже выезжает каретка — если я прыгну сейчас, меня намотает на блок. Только и остается, что переждать еще секунду и тогда уже...

Транспортер работает. Стена Завода содрогается едва ощутимо — распадатель готовится к запуску. Когда каретка отъезжает, выпускаю веревку и мягко спрыгиваю на крышу в нескольких сантиметрах правее троса.

Как ни стараюсь, толчок все-таки есть. Вагон качнулся. Мог ли погонщик этого не заметить? Сейчас он закричит: «Стоп, машина! Проверьте крышу!»

Блок скрипит. Я падаю на крышу прямо под тросом — лицом вниз, ногами к Заводу. Наверное, погонщик там, в кабине, вопросительно смотрит в потолок. Догадается ли поднять люк, заглянуть на крышу и проверить?

Скрип обрывается. Каретка входит в рабочий ритм, блоки катятся по тросу, как перевернутые колеса по опрокинутым рельсам. Вагон покачивается. Погонщик молчит. Я лежу, стремясь сделаться плоской, как ткань. С каждой секундой Завод все дальше.

В последние дни я нарушила нашу с Хозяином традицию: встречать смену вместе. Он знает, что теперь, когда прибывает вагончик из города, я прячусь в темных коридорах, забиваюсь далеко-далеко. Вот пусть поищет меня: в обычных тайных убежищах, в подземном тоннеле, на площадке громоотвода. А вагон тем временем уедет уже далеко...

Чуть поворачиваю голову.

В горах осень. Я вижу синие, зеленые, закатно-розовые горные гряды. Вижу огромный мир таким, каким его видят самые смелые птицы.

Вижу гроздь проводов справа от канатной дороги — по ним идет энергия в город. И справа, и слева от линии передач желтеют и краснеют склоны, покрытые кустарником. Я пробыла на Заводе долго, очень долго.

Я вырвалась!

Солнце садится. Еще теплое. Крыша вагона почти горячая — он ведь был в пути весь день, хорошо нагрелся и не успел остыть за шесть минут в тоннеле. От каретки несет машинным маслом. А снизу поднимается запах гор, леса, листвы и хвои.

Почему люди не могут жить в мире и покое, как эти горы? Все на свете — энергия. Дрова, сгорая, отдают энергию Солнца, которую копили всю жизнь. Люди живут, греясь у огня, питаюсь свежей дичью или бесплатной вермишелью, но энергию черпают из совсем других, иногда случайных, иногда странных источников; примерно так говорил Хозяин. Я даже не спросила, как его зовут. Ведь у него наверняка есть имя. Он не назвал мне его, а я не догадалась спросить.

Слышу, как ходит по кабине погонщик. Теплая крыша вагона остывает с каждой минутой, но я все равно чувствую себя, как на сковородке. В любую минуту он может поднять люк и увидеть меня.

Оглядываюсь на Завод: в закатном свете видны только очертания, страшные очертания бетонного саркофага. Пора перебираться пониже.

Я готовила свой побег много дней и ночей. Я следила за вагончиками. Я знаю, что всего их два, и ходят они по очереди. На один когда-то погрузили меня. Другой — вот этот, и отличается от первого прежде всего тем, что на днище у него есть две большие железные скобы.

На них-то я и рассчитываю.

Конечно, нелегко будет провести весь путь, сидя на железной скобе под вагоном. Но если мне доводилось ночевать на деревьях — неужели я не смогу выдержать сутки на скобе? Сейчас не зима. Сейчас почти лето, хоть ночи и прохладные. У меня с собой ремни и карабины — я пристегнусь и смогу, наверное, даже спать. А главное — там, внизу, меня никто не найдет. Даже если погонщик станет специально обыскивать вагон — под днище ему не заглянуть никогда, да и кому придет в голову заглядывать под днище?!

Я представляю погонщика, как он изо всех сил просовывает голову в дыру вагонного сортира — только так возможно проверить дно. Улыбаюсь. Пусть бы застрял так, головой в дыре. Пусть бы ехал так всю дорогу...

Вагон проходит первую опору. Раскачивается. Этого мне и надо — поднимаюсь на четвереньки и, затаив дыхание, пробираюсь к задней стенке вагона: там нет окна, вернее, оно замазано краской. А железная сетка есть. Она скрежещет, когда я повисаю на ней. Я замираю. По счастью, блоки тоже раздражаются скрипом, я, стиснув зубы, спускаюсь все ниже, ищу опору для ног — знаю, здесь есть что-то вроде ступеньки сзади... Вот она... Перевожу дыхание. Теперь осталось совсем чуть-чуть: ухватиться за ступеньку руками. Повиснуть над пропастью. И осторожно перебраться на первую скобу...

Я вишу, как на турнике. Подо мной гора — сосны зеленые, высоченные, значит, миновали рыжий лес вокруг Завода. Я вижу каждую верхушку. Если присмотреться, разгляжу и белку на вершине, и сойку, и...

А скобы нет.

Я протерла бы глаза, если бы руки не были заняты. Нет скобы! Для того, чтобы осмотреть вагон снизу, мне приходилось пробираться в грязные, залитые туманом тоннели, сбивать куски растрескавшегося бетона с древних окон в железной оплетке, пробираться в узенькие щели — ради того, чтобы взглянуть снизу вверх на канатку...

Скобы были. Их, наверное, сбило, когда вагон неловко приземлился на станции назначения, на СИНТе. От первой остались пенечки-штыри. А вторая, дальняя, так погнулась, что на ней можно только висеть. Но и это не имеет значения: без первой скобы до второй все равно не добраться...

Я чуть было не разжимаю пальцы. Ладони горят — на них едва успела нарасти нежная, без мозолей, кожа.

Опора осталась далеко позади. Что теперь?

Беру себя в руки — в прямом и переносном смысле. Подтягиваюсь снова. Становлюсь на ступеньку коленом. Хватаюсь за нижний край железной сетки. Ехать на крыше, конечно, удобнее...

Может, погонщик не станет туда заглядывать? Может, сейчас он подзарядится, порадуется жизни с полчаса — да и ляжет спать?

Темнеет.

В полутьме снова взбираюсь на крышу и ложусь как можно дальше от люка. Над горами поднимается туман. Раз или два вижу огонек. Может быть, там сидят пастухи, варят вечернюю кашу. А может, танцуют Аркан...

Резкий звук вплетается в мерный скрип каретки. И почти сразу я слышу испуганный голос погонщика:

— Да?

Ответный голос искажен переговорным устройством. Но я все равно его узнаю. И плотнее вжимаюсь в крышу.

— Нет, — говорит погонщик, голос его немного охрип. — Здесь никого нет. То есть я, конечно, посмотрю... Но ведь их приняли по счету!

Снова слушает голос в переговорном устройстве.

— Да, — говорит совсем уже хрипло. — Конечно. Сейчас проверю крышу.

Я отползаю назад. Цепляюсь за железную сетку — она грохочет, но я не обращаю внимания. Спускаюсь ниже, повисаю на руках... Это все, что я могу сделать. Ночь, темно, я болтаюсь между небом и землей, если он не присмотрится, он меня не увидит!

Воет ветер в ушах. Сквозь этот звук я слышу, как открывается люк. Потом появляется свет — луч фонарика-эспандера.

— Здесь никого нет, — говорит погонщик в переговорное устройство. — Повторяю, на крыше никого нет...

Останавливается прямо надо мной. И, видимо для очистки совести, светит вниз. Луч фонаря заливает меня полностью. Синий круг с белой спиралью в центре — отпечаток света в полуслепших глазах. Лица погонщика не разглядеть. И без того понятно, что он смотрит прямо на меня.

Ну что, разжимать пальцы?!

— Никого нет, — повторяет погонщик после длинной, длинной паузы. — Пусто.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Мы прибываем в город утром следующего дня. Над городом туман — не желтый, как на Заводе, а обыкновенный серо-бурый смог, какой часто бывает в городе. Я не очень люблю его, но сегодня он мне на руку. Выбрав момент, спрыгиваю на крышу какого-то здания (вагончик опустился так низко, что лететь приходится метра три, от силы пять).

Приземляюсь относительно мягко. Сажу, жду, пока пройдет боль в отбитых ступнях. И ошалело думаю: вот и все.

Я так и не узнала, как зовут этого погонщика и кто он такой. Всю дорогу я лежала на крыше, а он сидел в кабине, не говоря ни слова. И только когда вплотную приблизились к городу, еле слышно стукнул в потолок, давая знать, что пора эвакуироваться...

Я никогда не узнаю, кто он и что за судьба привела его на службу Заводу. Я не узнаю даже, сколько он проживет после нашей встречи. Но я буду помнить его всегда.

Я поднимаюсь. Глубоко вдыхаю промозглый туман. Я в городе. Я дома.

Первое, на что обращаю внимание, — на улицах очень много патрулей. Энергополицейские, в полном боевом обмундировании, ходят по двое-четверо, время от времени останавливая кого-то из прохожих и требуя предъявить гражданский код. А мой код давно аннулирован, поэтому ни в коем случае нельзя им попадаться. Я иду, независимо поглядывая по сторонам, но при виде патруля сразу же ныряю в подворотню. Мой путь до района небоскребов, и без того неблизкий, занимает, таким образом, почти весь день.

Башни возвышаются над городом, верхушки утопают в тумане. При виде их я начинаю волноваться. Все, случившееся в последние сутки, не укладывается в голове. Вчера в это время

я висела на стене, ожидая отправления вагона, а сегодня — уже скоро — увижу своих. Диких. Алекса, Мавра, Перепелку. Лешку. Всех.

Только сейчас понимаю, до чего устала. Присаживаюсь на край тротуара. Тут же подкатывает автоматический уличный разносчик, сгружает в протянутую ладонь упаковку энерджи-дринка. Делаю большой глоток; разносчик катит дальше: низкая тележка на трех пластиковых гусеницах, один подслеповатый сенсор и разъем для маршрутной карты. Пирамида картонных банок с питьем опасно кренится вправо.

Вокруг снуют прохожие. Обыкновенные люди. То и дело одергиваю себя — хочется жадно всматриваться в лица, о чем-то спрашивать, привлекать внимание. Я соскучилась по ним. Меня прямо-таки распирает от знания, которое я им принесла. Которое, может быть, изменит их жизнь. Но вряд ли сделает счастливыми...

Бросаю упаковку от дринка в круглую пасть мусороприемника. Налетает ветер, подхватывает мятый кусок картона, подбрасывает вверх и тащит по тротуару.

— Нарушение общественного порядка!

Едва удерживаюсь, чтобы не вздрогнуть. Полицейских четверо — в шлемах, со щитами, в полной амуниции. Один — со множеством нашивок на рукаве, вероятно, старший.

— Ты почему бросаешь мусор мимо урны?

— Это ветер, — говорю я. — Я сейчас подберу.

И наклоняюсь, чтобы поднять картонку, но он наступает на упаковку ногой.

— Почему не на работе?

— Я работаю пикселем, — говорю я первое, что приходит в голову. — Еще не время.

— Пикселем? — Он поднимает брови. — Предъяви гражданский код.

— Сейчас, — говорю я. Делаю вид, что лезу за пазуху. Нырять под его локоть и сломя голову кидаюсь бежать.

— Стой!

Спиной почуяв опасность, резко кидаюсь влево. Мимо правого плеча проносится... я не успеваю понять, что это. Сгусток ветра? Выстрел из разрядника? Да как они смеют стрелять по мирным горожанам?!

Дорогу перегораживает велорикша. Я перескакиваю через коляску и кидаюсь за угол направо. Налево. Снова налево. Справа заманчиво темнеет подворотня.

Поднимаю голову. Гладкая стена без окон, в щелях кое-где мох и бледно-серая трава...

Полицейские появляются через двадцать секунд. Разумеется, кидаются в подворотню. Грохот шагов стихает.

Тогда я потихоньку слезаю со стены и что есть силы бегу в противоположную сторону.

По ступеням башни гуляет ветер. Заносит следы мелким песком. После тридцать пятого я специально разыскиваю сторожки на старых местах и срываю их все до единой. Пусть они выйдут ко мне навстречу. Пусть они удивятся!

Но никто не выходит.

Я поднимаюсь все быстрее. Начинаю задыхаться. Все-таки проклятая болезнь здорово меня подкосила... Выбираюсь на сто первый. Отсюда легко можно подняться в гнездо с помощью Лифтера...

Заглядываю в пролом лифтовой шахты. Оттуда несет холодом, пахнет нечистотами.

Мне становится страшно.

— Мавр!

Эхо подхватывает крик, и он начинает прыгать от этажа к этажу.

— Алекс! Перепелка!

— Кого ты ищешь? — мягко спрашивает чужой голос.

Я резко оборачиваюсь.

На лестнице, перекрывая путь вниз, стоит человек в щегольском черном костюме. Нижняя часть лица завязана платком. В руках — маленький плоский чемоданчик.

— Зачем ты забралась так высоко? — Его глаза улыбаются. — Тебе надоело жить, девочка? Решила полетать с башни?

Молча смотрю на него. Это жизнеед. По легенде — тот, кто питается непрожитыми жизнями самоубийц. В реальности — пособник дилеров, выжимающий остатки энергии из синтетиков, решивших покончить с собой.

Он глядит на меня очень внимательно. Глаза его делаются серьезными. Очевидно, прежние жертвы вели себя иначе. И уж во всяком случае — иначе смотрели.

— Я знаю одного человека, — говорю я. — Он таких, как ты, размазывает по стенке. Как клопов.

— Познакомишь? — В его голосе звучит злая насмешка.

— Нет, — говорю с сожалением. — Он далеко отсюда. Но я могу передать тебе от него привет.

— Попробуй, — говорит он. — Маленькая храбрая пичужка залетела так высоко, и...

Я стою несколькими ступеньками выше. Он статичен и не ожидает нападения. Те несколько уроков, которые в свое время преподавал мне Головач, приходятся как нельзя кстати.

Подпрыгиваю и бью его ногами в лицо. Он, не ожидавший удара, валится на спину. Я приземляюсь ему на грудь. Срываю платок с лица.

У него обыкновенный рот. Никакой дыры, в которую, по легенде, видно череп изнутри. Губы в крови. Он сбрасывает меня. Я отлетаю — и сразу же поднимаюсь на ноги.

Мы кружим по лестничной площадке. У него рваный, непредсказуемый, очень неприятный ритм. Он разворачивается так, что за моей спиной оказывается оконный проем.

— Потерял из-за тебя порцию, — бормочет жизнеед. — Придется выкинуть целенькой, как есть...

И бросается на меня, собираясь столкнуть в окно. Я ловлю его движение и, продлевая начатую врагом траекторию, перебрасываю черное тело через низкий подоконник. Он орет, пытаясь уцепиться за воздух. И через долю секунды скрывается в тумане.

После сотого этажа начинает попадаться мусор из разоренного гнезда: битая посуда, комки одежды. Обломки мебели.

Внутренний вход в гнездо Перепелки — люк — распахнут настежь.

Я вхожу.

Все окна разбиты. Следы погрома занесены пылью. Ржавые катушки, сгнившие тросы, сломанные крылья. Продавленный диван опрокинут. Жестяной бак лежит на боку. Тут сражались.

Я стою посреди этого погрома, опустив руки. И думаю только об одном: ведь я не сказала ему ни слова! Ни слова о диких, ни слова о башнях!

И все равно твердо знаю, что это — из-за меня. Из-за той вспышки прожекторов в «Сорванной крыше». Или из-за моего прыжка с канатки — в снег. Или из-за нашей атаки на Завод...

Неужели их всех отправили на Завод?!

Долгую минуту стою в проеме балконной двери без балкона. Той самой, с надписью «Добро пожаловать». Внизу — едва различимый в тумане серый город. Напротив — другой небоскреб, на его вершине соседнее гнездо. Даже сквозь туман видны пятна черной копоти вокруг каждого окна: там, внутри, наверное, все сгорело дотла...

В эту минуту я близка к смерти, как никогда. Я не хочу жить. Я решила прыгнуть.

Меня спасает, как ни странно, воспоминание о Хозяине. «Человек дикой энергии никогда не покончит с собой от отчаяния...»

Я не брошу свою жизнь вот так, на ветер. Я отлично знаю, для чего она мне нужна.

Энергетический час переживаю за вывеской большого кафе.

Сначала улицы пустеют. Луч фары последнего велосипедиста скользит по вывеске, заставляя ее светиться белым. Слышу, как человек дышит — он спешит, он опаздывает, он почти в отчаянии...

И становится темно и тихо на долгих пять минут. А потом начинают бить городские часы. Их удары вязнут в тумане: бом-м... бом-м... Унылый, цепенящий ритм.

Потом несколько секунд ничего не слышно...

И над вывеской, прямо надо мной, распаивается окно, и сильный мужской голос, бас, запекает песню. Поет замечательно. Страстно. В голосе звучит радость жизни — этой радости хватит ему на несколько часов. А жизни — худо-бедно — до следующей полуночи. Но сейчас он живет и дышит полной грудью.

Улицы наполняются народом. Всем хорошо. Все друг друга любят. Катятся роллеры на коньках. У многих — светящиеся волосы, почти у всех девушек — светящаяся косметика, у парней горят татуировки на голых руках. Вспыхивают отражатели на одежде. Парни и девушки целуются. У них горят глаза, но не от счастья, а от фосфоресцирующих капель под названием «ночной взгляд»...

Я сижу за вывеской и думаю: может, это частичка глухонемого Лешки досталась только что этим людям? Или маленького сына Перепелки? У мальчишки-то дикой энергии было хоть отбавляй... желания жить... мужества... на всю жизнь. На всю жизнь, которую он не прожил...

Вытираю слезы тыльной стороной ладони. На самом деле, кто мне сказал, что их отправили на Завод? Может, я сумею их отбить?

Я храбрюсь. Бужу в себе надежду. Хотя умом понимаю: гнездо Перепелки было разорено несколько месяцев тому назад. Может быть, еще тогда, когда я была Царь-матерью трех родов и любила Ярого.

Витрина магазина Римуса уставлена манекенами в разноцветной одежде. Я сбиваюсь с шага. Может, это другая улица?

Нет, адрес тот же. И двери те же. Я узнаю даже дверные ручки.

В магазине душно, пахнет пылью и косметикой. Из-за строя манекенов выбирается женщина лет тридцати: при виде меня профессиональная улыбка слетает с ее губ.

— Девушка, вы ошиблись магазином. Вы здесь ничего не купите.

— Мне и не надо. — Я слишком устала, чтобы обижаться. — Я ищу прежнего владельца магазина. Его звали Римус. Он торговал барабанами.

— Барабанами? — Она играет удивление, хотя отлично знает, о чем речь. — Секундочку...

Она снова ныряет за спины манекенов. Я оглядываюсь. Здесь все как при Римусе, даже полки остались. Только теперь на них сложены стопками цветные тряпки. А там, где стояла барабанная установка, толпятся манекены... вернее, стоят плечом к плечу. В их пластмассовых улыбках чудится что-то зловещее.

— Как вас зовут? — спрашивает продавщица, невидимая за спинами искусственных людей.

— Меня? Лана, — отвечаю рассеянно. — Я ищу Римуса...

И только сейчас, услышав и собственное имя, и имя моего друга, понимаю, откуда чувство опасности. Женщина выныривает из-за манекенов, снова улыбается, но я не смотрю на нее — кидаюсь к двери.

Поздно.

Все повторяется, как в страшном сне. Как тогда в аптеке, когда покупала лекарство для сына Перепелки. В дверях стоят двое. Смотрят на меня в упор. Еще один неторопливо выходит из подсобки, цепляя манекены.

Прикрываю глаза. Смерть не дышит в затылок — им приказано брать меня живой. Ну что же...

Двое у двери только начинают движение, их ритмы замедленны. Тот, что вышел из подсобки, идет не как боец — как охотник. Его примитивный ритм немного скрашивают гулкие пластмассовые манекены, полые изнутри: в падении они толкают друг друга, получается дружный нарастающий грохот.

Я припадаю к полу и проворачиваюсь вокруг своей оси, как жернов, — подсекаю того, что был за спиной. Один из тех, что у двери, вскидывает руку с разрядником — слишком медленно. Разрядник улетает в угол. Орет продавщица — именно орет: для нее происходящее выглядит дико, кошмарно, будто я превратилась в смерч посреди магазина.

Обезоруженный полицейский поскальзывается на какой-то тряпке и падает. Валится манекен. Отлетает кудрявая, улыбающаяся голова, красиво катится, подпрыгивая, — в этом движении есть стиль, есть ритм.

Третий по-прежнему стоит в дверях. Жду, когда он кинется, но он остается на месте. Проходит секунда. У меня еще есть время, но очень-очень мало... Он вытягивает губы, будто дразнится, что хочет меня поцеловать. Из рта у него — из трубки — вылетает тоненькая иголочка и вонзается мне в щеку.

Это парализатор.

Подкашиваются колени, но я еще стою; круша стекло, кидаюсь в витрину. Ноги еще держат... с каждой секундой слабеют... в дожде стеклянных брызг вылетаю на улицу, заворачиваю за угол...

И падаю.

Он подбирает меня и, нимало не заботясь о раненых товарищах, грузит в полицейскую машину. Сам садится на педали. Нажимает что есть силы, дергает шнурок сирены, дикий вой раздается над улицами, по которым мы едем. Люди шарахаются с дороги. Едет полиция, везет важную добычу!

Я в полном сознании. Только почти не чувствую своего тела. Могу сгибать и разгибать пальцы, но это, пожалуй, все. Щека, в которую вонзилась иголочка, кажется ледяной. Отмороженной. Лежу на спине и вижу только верхние этажи домов. Туман сгущается. И поэтому я не могу понять, по каким улицам меня везут.

Сирена стихает.

Энергетический час на исходе, людей на улицах все меньше. Я больше не слышу ни смеха, ни голосов, ни шороха подошв об асфальт. Скоро утро. Слышу короткий тоненький скрип: полицейский жмет на тормоз. Приехали?

Он встает с седла и склоняется надо мной. Его лицо закрыто щитком. Я вижу, как глаза поблескивают в смотровых щелях.

— Значит, ты — Лана?

Могу лишь утвердительно опустить веки.

— Что было на барабане, который Римус тебе подарил?

Я молчу. Хлопаю веками.

— Ты уже можешь говорить, — цедит он сквозь зубы. — Ну давай, вспоминай, что было нарисовано на барабане! Или ты не знаешь?

Я чуть сжимаю губы. Двигаю языком. Говорить вряд ли, скорее мычать...

— ...олк.

— Что?

— В...олк, — выдавливаю я.

Вижу, как расширяются глаза полицейского. Он медленно поднимает забрало. Этому человеку лет двадцать пять. Ко лбу прилипли пряди черных волос.

— Как звали... того, кто тебя... *отгрузил* ? — говорит шепотом.

Я не сразу понимаю, о чем речь.

— Те... Стефан. Ло...ец.

— Не может быть, — говорит он с суеверным ужасом. — Не может быть... Значит, это правда!

В глазах у него блестят слезы. А может быть, мне показалось.

Теперь мы едем еще быстрее, но уже без сирены. Небо светлеет. Я все так же лежу в кузове, ко мне постепенно возвращается способность двигаться, но я все еще слабая, как тряпка. Полицейский налегает на педали, вкатывает в низкий пассаж (когда-то здесь была торговая зона, теперь витрины заколочены) и, завернув в узкий переулок, останавливается.

— Вылезай.

Я с трудом поднимаюсь. Шея не двигается: чтобы оглянуться, приходится поворачиваться всем телом. Серые стены, вдоль тротуара полосы отражателей, забрызганные грязью, решетка водостока на асфальте.

— Ну и куда? — спрашиваю я, едва ворочая огромным, как губка, языком.

Он не отвечает. Берется за решетку канализационного стока (руки у него в перчатках), рывком поднимает. Открывается путь вниз, я вижу железные скобы на вертикальной бетонной стенке.

— Туда, — говорит полицейский, переводя дыхание. — И очень быстро. Я уже должен вернуться.

Заглядываю в колодец. Оттуда несет сыростью. Неприветливое место.

— Почему я должна тебе доверять?

— Потому что ради тебя я рискую шкурой.

Странное дело, но эти его слова убеждают меня больше, чем полчаса подробных объяснений. Я спускаюсь в люк. Полицейский — или кто он такой? — устанавливает решетку на место. Я вижу его — снизу вверх, сквозь решетку.

— Иди вниз, пока не попадешь в коллектор. Там стой и жди. Не сходи с места, ясно? Просто стой и жди. Там опасно.

Я вздыхаю.

— Стой и жди, — повторяет он в третий раз. — Ну, я пошел.

Я слышу, как отъезжает полицейский велосоциаль. Потом потихонечку приподнимаю решетку. Это не так уж трудно. Даже сейчас я могу выбраться наружу, на улицу...

И дальше что? Римуса нет. Гнезда опустели. К кому в этом городе я могу обратиться — уж не к Игнату ли, бывшему соседу по комнате?!

А полицейские вокруг так и шастают...

Раздумываю еще немного. Потом, шаг за шагом, начинаю спускаться вниз.

Я все еще слаба, но и усилий здесь много не требуется. После железной лестницы, ведущей на вершину водоотвода, этот спуск под землю — сушая ерунда.

Мои ноги и руки выполняют привычную работу. Тусклый свет, пробивающийся сквозь решетку, не может ничего осветить — здесь почти полная тьма. Но и смотреть-то не на что. Волглые стенки. Звук моих подошв и тяжелое дыхание отражаются эхом и возвращаются снова. Получается затейливый, кружевной ритм.

Вспоминаю Хозяина Завода, как он поднимался вслед за мной по железной лестнице: «Когда устанешь, отдохни, я подожду». Что-то в последнее время я слишком часто его вспоминаю...

Оказываюсь на дне колодца, дальше ступенек нет. Оглядываюсь. Нос и уши говорят куда больше, чем глаза: слышу пустое пространство. Слева несет холодом и гнилью. Справа — теплом и плесенью. Где я? Чего мне ждать?

Еву нашли в коллекторе. Как она там оказалась?

Хочется немедленно подняться наверх и выбраться на поверхность, но я медлю. Если здесь жизнееды, тем лучше. Я раскитаюсь с ними и за Еву тоже. Пусть приходят.

Потом в коридоре справа мелькает свет. Ближе. Ближе. Человек старается ступать бесшумно, но я все равно его слышу. Шагах в десяти он останавливается. Луч фонаря заливает меня сверху донизу. Фонарик слабенький, не то что у погонщика. Обыкновенный суперэспандер.

— Ну? — раздраженно спрашиваю я. Если это жизнеед, его ждет большое удивление. И разочарование, пожалуй, тоже.

Человек с фонарем молчит. Я не могу разглядеть его лица.

— Ну? — повторяю я, делая шаг навстречу. В левой руке у него фонарь, в правой — оружие, я не могу разобрать, какое, и это плохо...

— Ты? — спрашивает он еле слышно, но эхо подхватывает его голос и начинает играть — от стенки к стенке.

— Ну, я.

— А это я, — говорит он и светит себе в лицо.



Они выжили.

Пока усиленный отряд полиции поднимался с тридцатого этажа на сто пятидесятый, все обитатели гнезда Перепелки успели переправиться на соседний небоскреб. Район башен был оцеплен, спасения не предвиделось и здесь, но хитроумный Мавр отыскал ход в подвал, а оттуда — в канализационную систему.

— А соседей накрыли, — рассказывала бледная, исхудавшая Перепелка. — Они похвалялись скинуть полицейских вниз со своего гнезда. Несколько скинули, а потом их подожгли... Мы видели, как они разлетались: крылья горели, тросы лопались... Кто остался жив, полицейские забрали.

Я облизываю сухие губы.

Ребра у меня трещат от объятий. Рядом с Перепелкой сидят ее дети, они здорово выросли. Мальчик здоров, но немного прихрамывает. Здесь же Алекс (он сидит на педалях динамо-лампы), Лифтер, Лешка-барабанщик, еще кое-кто из давних знакомых. Все смотрят на меня, как на чудо.

— Вы так и живете — под землей?

Все молчат.

— Видишь ли, — с неохотой говорит Мавр, — после той истории... Во время энергошоу... Когда на экране появилась надпись неизвестно откуда...

— Завод существует, — прикрыв глаза, декламирует Перепелка. — Пожирает энергию людей. Не верьте энергоконтролерам, ловцам. Ищите СИНТ. Это я, Лана...

— Это я, — повторяю эхом. — Это... не неизвестно откуда. Это из рубки Хозяина Завода. Это он управляет энергетическим шоу. Это он решает, что будут смотреть синтетики.

В тесной подземной комнатке — тишина. Слышно, как бежит вода по стокам. Алекс перестает вертеть педали, и лампа медленно гаснет.

— Шизофрения, — говорит Алекс в полной темноте.

И тогда я начинаю рассказывать. Все подробно — с того самого момента, как я спустилась с башни, чтобы добыть лекарства для Перепелкиного сына.

По мере того, как я рассказываю, Алекс налегает на педали — сперва понемногу, потом все сильнее и сильнее. Динамо-лампа разгорается так ярко, что я вижу складку на лбу Перепелки. Вижу потрясенные глаза мальчика и девочки. Вижу седину на висках Алекса и черные ногти Лифтера. Вижу известковые потеки на потолке, вижу рисунки углем на стенке напротив...

Я рассказываю о людях-волках, о поселке трех родов, о Царь-матери, о Головаче. Только о Яром не говорю ничего. Рассказываю о поединке с Царь-матерью, о том, как, умирая, она дала мне имя...

— Лана?! — произносят одновременно несколько голосов.

— Что? — спрашиваю я.

— Рассказывай, — хрипло говорит Мавр.

Я рассказываю о плесе Молний, о приходе весны, об обряде имяположения, о развилке в будущем и о своем решении. Все слушают. Алекс налегает на педали. Когда я дохожу до атаки на Завод, лампочка, накалившаяся до белого блеска, вдруг лопается и разлетается стеклянными осколками.

Никто не говорит ни слова.

— Погоди, — мрачно бормочет Алекс в полной темноте. — Новую лампу поставлю. А то Лешке не слышно.

И он в полной тишине меняет лампочку. На педали садится теперь уже Лифтер. Он светит экономно: только затем, чтобы глухонемой Лешка видел мои губы.

Я рассказываю, как погибли мои товарищи. Как попала на Завод, но не смогла остановить его Сердце. И как Хозяин рассказал мне правду: Завод питается энергией людей, чтобы аккумулировать ее и передавать в город, на СИНТ...

Все молчат.

— Что такое СИНТ? — спрашивает Мавр после длинной паузы.

Я объясняю. Они переглядываются.

— Знаешь, — говорит Мавр, — если бы это была не ты... я бы не поверил ни слову.

— Он тебя отпустил? — звонко спрашивает мальчик.

Я вздыхаю и рассказываю дальше. О первой попытке побега. И о том, как мне удалось убежать во второй раз: просто потому, что погонщик не выдал меня. Наверное, пожалел.

— Пожалел? — нехорошим голосом спрашивает Алекс.

— Не все они негодяи, — говорю я. — Они... очень зависят от энергии. Получают несколько доз за ночь, им требуется все больше...

— Я видел таких, — говорит Лифтер.

И снова становится тихо.

— Я искала вас, — говорю шепотом. — Я уже думала, вас всех скормили Заводу. Я зашла к Римусу, а у него...

Они переглядываются.

Алекс, переступая через сидящих, подходит ко мне. Светит в лицо фонариком. Заглядывает в глаза. Оттягивает веко. Я удивленно смотрю на него.

— Ты думаешь, я сумасшедшая?

— Нельзя отрицать. Твой бред логичен, но... как ты докажешь, что была в горах? Что была на Заводе? Что Лана — это ты? А ты — Лана?

Мне почему-то становится весело.

— Хочешь, я научу тебя танцевать Аркан?

— А ты можешь? — быстро спрашивает Мавр.

Этот подвал чем-то похож на «Сорванную крышу»: стойка барменов, ударная установка, круглые туши барабанов в центре. Только танцевать на них нельзя: упрешься головой в потолок, довольно низкий, недавно выкрашенный белой краской, но уже покрывшийся ржавыми потеками.

В подвал можно войти с улицы. Вывеска небольшая, но задиристая: «Бан-Кротство: У Крутого Крота». Здесь веселятся синтетики после энергочаса. Совершенно легальное, законопослушное заведение.

Есть и другой вход. Из канализационного люка. В него-то мы и вошли.

Хозяина зовут Бан. Прозвище, разумеется, Крутой Крот. Я поражаюсь, увидев его: он очень тощий, бледный и почти слепой. Щурится, то и дело снимает темные очки, чтобы протереть слезящиеся глаза.

— Что это с ним? — спрашиваю Алекса, когда Бан отходит проверить, заперта ли дверь.

— Он крот, — говорит Алекс еле слышно.

— Чего?

— Понимаешь... мы живем в подземелье потому только, что нам позволили кроты. Это их территория. Хотя сами они живут гораздо глубже.

— Кроты?!

— Ты — Лана, и ты не знаешь, кто такие кроты? — спрашивает Бан, незаметно оказавшийся рядом. У него странная походка — неуклюжая и немножко смешная, зато он передвигается с молниеносной быстротой.

— Я Лана, — говорю я, — потому что меня так зовут. Что именно тебя удивляет? Алекс и Бан переглядываются.

— Потом, — решает Бан. — Значит... ты хочешь сегодня хорошенько потанцевать?

— Да, — говорю я. — Повеселимся как следует.

Внешняя дверь клуба по-прежнему закрыта. Бан впускает только тех, кто стучит особым стуком. Этот стук — коротенький ритмический фрагмент — Лешка-барабанщик перевел бы как «свой, безопасно, очень нужно». Приходят разные люди — такие разные, что мне вообще непонятно, как Бан решается всех впустить.

Приходят синтетики — всегда парами. Один приводит другого: парень девушку или девушка парня, или друг друга. Ведущий в такой паре старается казаться спокойным, уверенным. Другой — ведомый — сильно нервничает и не может этого скрыть.

Приходят дикие, замаскированные под синтетиков. Я сразу узнаю их — по повадкам, по взгляду.

Приходят и вовсе странные личности с бегающими глазками. Я бы на порог их не пускала — с первого же взгляда ясно, что это мультипакетники, одной дозой такого не прошибешь!

Другой поток посетителей поднимается из люка. Приходят все наши дикие, даже Перепелка с детьми. И являются несколько человек, внешне похожих на Бана — тощие, бледные, в непроницаемых темных очках, несмотря на полумрак.

Это и есть Кроты?

Подземный зал понемногу наполняется. В полумраке бармены позвякивают посудой, тихонько переговариваются с посетителями. Проскакивает молния — искусственная, бледная.

— Что тебе сегодня смешать? — спрашивает кто-то.

— Циклон.

— Алекс, — говорю я шепотом. — Мне кажется, что это все уже было. Это повторение... понимаешь...

— Дежа вю, — он кивает. — Обычное дело. Не обращай внима...

В этот момент внешняя дверь снова открывается, и в проеме появляются двое. Я присматриваюсь...

Один — мой полицейский. Я с трудом узнаю его, потому что он одет, как обыкновенный синтетик. Он обводит глазами зал; я хочу сказать о нем Алексу, но в этот момент спутник полицейского поворачивается ко мне лицом...

Это Римус!

Я бегу через весь зал, люди удивленно на меня косятся. Не обращая ни на кого внимания, я кидаюсь на шею Римусу. А он обнимает меня.

Он ужасно рад. Но, кажется, совсем не удивлен.

До полуночи остается совсем немного времени. В клетке с барабанами сидит Лешка, потихоньку пробует ударную установку. Бармены работают вовсю — в бокалах вертятся, пенятся, искрятся пузырьками дикие коктейли. Я сижу на полу у стенки — рядом с Римусом и его спутником, Максимом.

Я быстро, шепотом пересказываю им все, что уже слышали дикие. Римус чуть улыбается. Максим слушает, плотно сжав губы.

— Значит, это была ты, — говорит Римус мечтательно. — Знаешь, я ведь никогда не смотрю шоу. А в тот день меня будто что-то толкнуло. И я посмотрел.

— Римус, она ведь ничего не понимает, — вмешивается Максим. — Она не знает, что тут случилось, пока ее... ну, в общем, из-за нее.

— А что из-за меня случилось?!

Оба смотрят на меня. Мне становится очень не по себе.

— Ну, говорите!

— Все полицейские подразделения подняты по тревоге, — говорит Максим. — После того, как ты объявилась в магазине. После того, как я тебя якобы взял, а потом упустил. Операция «Лана» полным ходом идет с тех пор, как появилось твое сообщение на экране.

Я молчу.

— В бывшем магазине Римуса сидела засада — изо дня в день, — продолжает Максим. — Я дежурил через сутки. Знаешь, у меня повторяющийся кошмарный сон: я прихожу утром на службу, а мне говорят, что тебя уже взяли — именно в магазине Римуса.

— Почему? — Я понимаю, что вопрос глупый, но и молчать не могу.

Макс и Римус переглядываются.

— Максим мой друг, — медленно говорит Римус. — Это я его убедил, что Лана, о которой все говорят, когда рядом нету патруля, — это не легенда и не сказка. Это реальный человек. И ему надо помочь.

— Как это — «все говорят»?!

Они переглядываются. Максим сжимает губы так, что их почти не видно.

— Слушайте, — я волнуюсь, — я должна всем рассказать... Здесь никто не знает о СИНТ!

— Кое-кто знает, — скучным голосом говорит Максим.

— Ну да: контролеры, высшие чины энергополиции...

— Скоро полночь, — говорит Римус. — Макс, тебе пора.

Максим поднимается.

— Ты что, синтетик?! — Я не верю своим глазам.

— Я должен использовать свой служебный пакет, — говорит он сухо. — Ведется строгая отчетность. Я ведь энергополицейский.

— А... — Я запинаюсь. — А как тебе удалось выкрутиться... после того, как ты... меня упустил?

— Меня понизили в звании, — говорит он все так же сухо.

Больше я ни о чем не решаюсь спросить. Максим уходит, пожав руку Бану.

Мы с Римусом долго молчим.

— Он рискует очень многим, — тихо говорит Римус. — Его отец работает на СИНТ.

Бьют городские часы. Сюда, под землю, их звон едва доносится, но в клубе такая тишина, что слышно каждый удар.

Бом-м, бьют часы. Энергетический час. Весь город сейчас вздохнул с облегчением, чувствуя теплое покалывание манжеты.

Синтетики стоят плотной группкой, прижавшись друг к другу. Им страшно. Кто-то из них переживет эту ночь и справится. А кто-то обречен. Они знали это, когда шли сюда; они знали, что рискуют жизнью, но все-таки попытались — жить своим ритмом. Жить без манжеты.

Я очень уважаю этих людей. Мне хочется помочь им.

Бом-м, часы все бьют. Бом-м.

Лешкина палочка начинает свой ритм: вопреки часам. Отрицая извечный порядок. Отрицая манжеты, отрицая Завод с мембраной распадателя, отрицая весь этот людоедский режим пакетов и штрафов. И все, кто есть в клубе — почти все — начинают отбивать этот ритм. Ладонями. Подошвами. Лешка играет, отдаваясь ритму. Я знаю, он не слышит его — чувствует всем телом. Негромко, жестко, по нарастающей вступают остальные барабаны: «Мы — энергия. Мы — энергия. Мы...»

Но я вижу, что это не энергия. Это всего лишь ритм, пробуждающий в человеке скрытые резервы. У кого они есть.

Синтетики по-прежнему стоят в углу, взявшись за руки. Я отлично вижу, кто из них доживет до рассвета, а кто — нет. Вот эта бледная девочка с двумя светлыми косичками не доживет. Этот красивый парень с тенью усов над верхней губой — не доживет, и напрасно его подруга привела, напрасная надежда, завтра она будет чувствовать себя убийцей...

Лешка мечется в клетке. Он делает, что может. Те из синтетиков, кто посильнее, начинают помогать ему, отбивать ритм, заставляя собственное сердце работать самостоятельно, пробуждая волю жить и любовь к жизни — только свою, только в себе...

— Мы энергия! Иди со мной!

Они пойдут. Но дойдут — не все. Это правильно. Это естественный отбор. Паразитам, поглощающим чужую волю к жизни, не место на земле — все равно они не живут, а существуют... Остановить Завод! Пусть выживают сильные! — так грохочут барабаны. Или так мне слышится?

Я трясую головой, вытряхивая чужой ритм. Выхожу вперед — передо мной расступаются. Кладу руки на плечи девочке с косичками и красивому парню, который уже едва держится на ногах. Взглядом велю — приказываю! — Римусу, Мавру, Алексу сделать то же самое. И вот в низком подвале, под белым с потеками потолком выстраивается круг: мы стоим, положив руки друг другу на плечи.

— Играй, Лешка! — приказываю я, и глухонемой музыкант читает слова с моих губ. На мгновение воцаряется тишина...

Я начинаю движение. Завожу круг. Задаю ритм. Лешка подхватывает его почти сразу. Ударяет по барабанам, на мгновение кажется, что у него не две руки, а по меньшей мере восемь.

Я вижу лица танцующих напротив: они расплываются, размазываются, и уже не понять, кто дикий, а кто синтетик. Ритм все ускоряется и ускоряется, я веду его, не щадя тех, кто встал со мной в круг, кто доверился мне. Кто-то спотыкается... Держаться! Если один упадет — всем конец!

*Ты не синтетик. Ты — Дикий !*

Душа моя, кажется, покидает тело — центробежной силой ее сносит назад, прочь, но замкнутый круг не дает уйти, не пускает. Болят мышцы, связки на коленях готовы разорваться. Я закрываю глаза — но все равно вижу...

Частишки материи, несущие энергию. Крупички. Пылинки. Слипаясь в одно целое, сжимаясь под страшным давлением, рождают новую сущность.

*Если ты с нами — ты Дикий !*

В черной пустоте без верха и низа возникает пульсирующий комок — он сжимается, сжимается, разогреваясь все сильнее, он — дикая энергия, точка отсчета, центр Вселенной за миг до большого взрыва...

Очень длинный миг.

Я проваливаюсь внутрь себя — в темноту. Я вижу высокие горы и темные провалы. На самой недосыгаемой вершине — Солнце запуталось в ветках, горит и не может подняться. Надо помочь ему... освободить...

*Освободи !Освободись !Будь свободным и добрым, как Солнце !*

Я тянусь изо всех сил. Солнце у меня на ладонях, золотая тарелка, сияющий диск...

Я поймала Солнце?!

Круг распадается. Я отлетаю назад и врезаюсь спиной в большой барабан. На затылке тут же наливается шишка. На секунду наступает тишина, только хрипло дышит Лешка, уронивший палочки на бетонный пол. Хватает ртом воздух и смотрит на меня. У него ясные, счастливые, очень добрые глаза.

Кто-то шарит руками по полу, пытаюсь подняться. Кто-то кому-то протягивает руку...

— Мама, — тихонько говорит девочка с косичками. — Я живу! Я...

И начинает плакать и танцевать.

Тишина взрывается. Все смеются, плачут, вопят, поют, бьют в барабаны, танцуют, как бешеные, их ритмы сливаются в один и распадаются снова, перекликаются, сплетаются и сталкиваются, чтобы снова разойтись. Сквозь этот грохот прорывается, тоненько и отрешенно, чей-то голос совсем рядом, девочка не то поет, не то молится:

Но однажды  
Смогу я прыгнуть,  
Быть может, в пропасть,  
А может, в небо  
Смогу...

Из-под каблучков, бьющих в пол, летят искры. В подвале делается жарко; кто-то берет меня за руку трясущейся горячей рукой. Я поворачиваю голову. Это Бан, крот.

— Ты Лана, — говорит он с суеверным ужасом.

Его приятели, такие же кроты, останавливаются рядом, справа и слева.

— Что ты хочешь? — говорит один. — Чем мы можем тебе помочь?

А другой прибавляет:

— Мы можем спрятать тебя в самом глубоком канале. Там тебя не найдут.

— Я не собираюсь прятаться, — отвечаю я и добавляю, спохватившись: — Спасибо. Но мне пока не надо.

Бан молча открывает внешнюю дверь. Через несколько минут веселой толпой входят молодые синтетики, только что получившие свои пакеты, и останавливаются, пораженные невиданной пляской.

— Входите! — кричит от стойки один из барменов. — Хватит на всех! — И бросает кому-то запечатанную колбу с коктейлем.

Римус берет меня за руку и выводит на центр зала.

— Это Лана, — говорит он почти шепотом. Удивительное дело: среди смеха и криков, среди топота многих ног его слова звучат как удар грома.

Все — и те, что танцевали со мной, и те, что только что пришли, — застывают с открытыми ртами и смотрят на меня.

Потом среди вновь прибывших начинаются перешептывания: «Это правда? Не может быть! А я говорила... Не может быть!»

— Я Лана, — говорю я немного сварливо. — Что дальше?

Проходит два дня. Мы с Алексом сидим, свесив ноги, на подоконнике пятьдесят шестого этажа. Туман, стоявший с утра, разошелся, нам отлично видно небо над холмом. Мы ждем начала энергетического шоу.

Алекс бледен, как все обитатели подвалов. Его мускулы по-прежнему бугрятся, вызываяще выступают шрамы на коже, но лицо постаревшее и глаза тоскливые.

— Почему бы вам не вернуться в гнездо? — спрашиваю я. — Ведь полиция...

— Мы и так чудом спаслись, — говорит он глухо. — Полиция хорошо научилась ставить ловушки. Вот, у соседей видишь что...

Смотрим на обгорелый дом по соседству.

— Ты обещал рассказать про кротов.

— Они тоже дикие, — говорит он нехотя. — Но только не летающие. Еще их родители нашли какие-то брошенные подземелья и перебрались туда. У них там подземные реки, турбины работают, худо-бедно есть свет, тепло... А солнца нет. И разогнуться негде. Видишь, какие они все сутулые.

— Тебе не нравится такая жизнь, — говорю я.

— Лана... — Алекс вздыхает. — Я... помнишь, как мы с тобой летали на показуху? — В голосе его горечь.

— Мы еще будем летать, — говорю я твердо. — Мы будем жить под солнцем и так, как сами захотим. Надо собирать синтетиков, тех, что оштрафованы, тех, кто едва дотягивает до энергочаса. Надо собирать их... и они будут жить.

— Скажи, — Алекс колеблется, — они... ты их навсегда... они становятся дикими, да? Ты их переделываешь?

Я качаю головой:

— Я только помогаю им выжить. А потом — они могут, если постараются, найти Дикую Энергию — в себе. Если не побоятся. Если очень захотят... Это трудно, но это возможно. Мы соберем много-много людей... соберем их, вооружим и поведем на Завод. И остановим его.

— Скажи, — Алекс смотрит на низкие тучи, — а если просто перекрыть подачу сырья? Захватить СИНТ... Это тоже тяжело, но возможно. Остановить *погрузки*. Завод без сырья станет, разве нет?

— Понимаешь, — мой голос внезапно хрипнет, — если он не получит сырья из города, он отправит свои автоматы в поселок трех родов. И будет работать еще долго, убивая горных жителей — всех, до кого сможет дотянуться. И присылать нам... нашим синтетикам... эту энергию.

Я сглатываю. Алекс молчит.

— И потом, — я говорю все тише, — понимаешь... Захватить СИНТ куда труднее, чем Завод. Просто потому, что СИНТ подкупает. Вот он пообещает человеку... или его жене, или детям... хороший гарантированный пакет каждый день. И человек не будет рассуждать, откуда взялся этот пакет. Он возьмет его, потому что подумает: «Не я возьму, так возьмет кто-то другой». И будет на нем жить. И еще... понимаешь... захватить СИНТ — это все равно, что

принять участие в *дележке*. Делить энергию... которую произвели из живых людей. Из горцев, из... — Я чуть было не говорю «из Ярого», но вовремя прикусываю язык. — Пусть ты или я не станем ее делить, но обязательно найдутся такие, которые станут! Ради денег или ради своих любимых людей... Понимаешь? Нам надо остановить Завод! Если не будет Завода, СИНТ развалится сам по себе. Но сначала...

Алекс хочет что-то сказать, но тут начинается энергошоу. Вспыхивает экран — красным, белым, потом ярко-зеленым. По нему ползут буквы: братья и сестры мои, пиксели, работают, стараются.

Мы с Алексом смотрим, как на экране сменяют друг друга яркие рисованные картинки. Забавные люди с длинными, как сосиска, головами гоняются друг за другом по нарисованным улицам города... Я невольно улыбаюсь. Это действительно весело. Это смешно. Кто это придумал, нарисовал — неужели сам Хозяин?! Трудно поверить...

Появляется заставка. Потом реклама водяного насоса. Я поворачиваю голову, чтобы что-то сказать Алексу, но у него вдруг меняется лицо, он смотрит на экран...

Я оборачиваюсь — и успеваю увидеть огромную надпись, черным по красному: «ЛАНА, ПОМНИ СЛОВА ЦАРЬ-МАТЕРИ. ПОЩАДИ ИХ».

Дни проходят за днями, а я почти не сплю. Клубы, комнаты, какие-то мастерские: люди собираются тайно, накануне энергочаса. Каждая встреча начинается со страха и неверия.

— Ты — Лана? — спрашивают они презрительно и недоуменно. — Докажи!

Мне меньше всего хочется что-нибудь им доказывать. Я просто с ними танцую — танцую для них.

Некоторые подхватывают ритм сразу же. Некоторые — после долгих попыток. Мне попадает несколько человек, вообще лишенных чувства ритма, они не могут повторить — прохлопать — простейшего ритмического узора. Они разбалансированы, не слышат собственного сердца, тела их, как студень, но я должна спасти и их тоже.

Удивительное дело: день ото дня я не становлюсь слабее. Наоборот — чем больше изматываюсь, тем больше сил во мне накапливается. Люди за моей спиной переглядываются многозначительно.

Зато когда я засыпаю, вижу один и тот же страшный сон. Будто выхожу из клуба, сворачиваю за угол, а там стоит, поджидая меня. Хозяин Завода. Пытаюсь убежать и не могу. Ноги прилипли к асфальту. Такое жуткое ощущение — ноги прилипли...

«Помни слова Царь-Матери. Пощади их».

А себя я разве щажу?!

— Римус... где все твои барабаны?

— Раздал, — говорит он беспечно. — Синтетикам.

— Не жалко?

— Что делать, если у меня отобрали магазин? К тому же, может быть, они нам еще пригодятся...

Мы сидим в дальнем углу подземного клуба. Уже утро, синтетики расходятся. Мы с Римусом забились в уголок, где никто не мешает. И еще — это важно — здесь есть второй выход, в глубину, к кротам. На всякий случай.

В последнее время это стало моей повадкой — всегда проверять, есть ли второй выход. А лучше третий. Вся полиция города мобилизована на поимку «этой Ланы». Нам все труднее найти клуб для встречи с синтетиками, все больше риск, что кто-то, польстившись на обещанный властями призовой пакет, меня выдаст. И все больше не по себе — могу привести хвост к той норе, где живут сейчас прежние обитатели гнезда Перепелки.

— Тебе нелегко, — говорит Римус.

— Такое чувство, будто я пытаюсь выкопать подземный тоннель чайной ложечкой.

— Твой ритм — это не чайная ложечка. Твое имя сейчас делает больше, чем все мои барабаны, заговори они одновременно.

Я усмехаюсь. Римус кладет передо мной на жестяную тарелку кусочек витаминного торта — две тонких высохших полосочки со вкусом клубники. Торт хрустит на зубах.

— Римус, — говорю я, — ты помнишь, когда-то была такая забава... гонки в пневмотоннелях?

— Да, — он улыбается. — Хорошее было время. Я и сам там гонялся пацаном, ногу сломал... А что?

— Это правда, что пневмонавты пели песни, когда гонялись? Про себя? Задавали ритм?

Он присматривается ко мне и вдруг настораживается.

— Лана... это важно?

— Ты должен был знать *его*, — говорю я.

— Кого?

— Там был, — я подбираю слова, — такой человек... среди гонщиков. Он, когда летал, всегда пел про себя вот так: «Жил-был парень, звали его Ветер, он девчонкам головы кружил...»

— А как его звали?

— Я не знаю.

Римус смотрит мне в глаза. Откидывается на спинку стула.

— Это правда, мы все пели про себя. Те, кто не пел, или пел неправильно, вскоре разбивались. Я и ногу-то сломал оттого, что перешел на другую песню... слишком медленную... настроение у меня было... такое. Лана, песня — это талисман. Мы никогда не говорили друг другу, кто что поет.

— Там была еще женщина, — говорю я. — Похожая на меня.

— Откуда ты знаешь? — спрашивает он почти резко.

— Он сказал.

— Да кто же он такой?

— Лучше скажи, ты эту женщину знаешь?

Он качает головой:

— Мы все расстались. Она потом родила ребенка. А еще потом, я слышал, она умерла...

— Ребята, — за перегородку заглядывает хозяин клуба, — я закрываюсь. Уходите. Если можно, разными путями.

Я тут же встаю. Римус не двигается с места: смотрит на меня вопросительно.

— Я тебе потом все объясню, — обещаю я честно. — Мне надо подумать.

«Жил-был парень, звали его Ветер...»

Я выхожу из клуба. Оглядываюсь: улица пуста. На бетонной стене мерцает тусклая рекламная надпись: «Горожане! Для Вас! Завтра! Праздник Энергии! Незабываемый Энергочас! Приди и Отметь Двадцать Пятую Годовщину...» Годовщину чего, не разобрать: в этом месте на стену кого-то вырвало.

Сегодня ночью в городе будет особенно шумно. К каждому пакету добавят по два-три энерго. И синтетики выйдут на улицу, где будут ждать их дешевые развлечения, и радоваться без памяти — без мысли о завтрашнем дне...

Задумавшись, сворачиваю за угол. Прямо передо мной стоит, расставив ноги, высокая фигура в черном плаще. Я отшатываюсь; замечаю сперва полицейские нашивки и только потом, почти секунду спустя, узнаю Максима.

— Ты обалдел? Я могла тебя...

— Скорее.

У него такое лицо, что я слушаюсь без вопросов. Он хватает меня за локоть и куда-то тащит; не успеваю и глазом моргнуть, как оказываюсь в багажнике полицейской машины, рядом с двумя толстыми, жирными от масла велоцепями. Вдалеке слышен свист, топот, отрывистые приказы «Всем стоять на месте»... Я тихо радуюсь, что Римус ушел через подземелье.

Лежу, стараясь не дышать. Минут через пятнадцать слышу над головой стук подошв, скрип днища, кашель и брань. Машина наполняется полицейскими.



— Опять упустили, — говорит простуженный голос. — Сучка.  
— Кто-то ей помогает...  
— Если она вообще существует в природе, — добавляет третий голос.  
— Существует, — глухо говорит Макс. — Можешь мне поверить.  
— А, — насмехается первый, — ты же из-за нее лычки потерял...  
— Тебя бы туда! — огрызается Макс.

Кто-то садится на педали. Цепи напрягаются возле самого моего лица, колеса вертятся, машина несется неизвестно куда...

Проходит почти час, прежде чем полицейские расходятся и все затихает. Еще через полчаса является Макс и вынимает меня из багажника. Руки-ноги затекли, разумеется. Я представляю, как волнуются Алекс, Мавр, Перепелка, и мне делается не по себе.

Мы в гараже. В полутьме рядами стоят полицейские велосипеды.

— Слушай, — шепотом говорит Макс. — У меня к тебе... странная просьба.

— Какая?

Он долго не решается заговорить. Впервые вижу его таким нерешительным.

— Я тебе жизнь спас. Два раза.

Мне не нравится это вступление.

— Чего тебе, Максим?

— Ты не могла бы помочь моему отцу и матери? И еще там... нескольким людям? Они тоже синтетики.

— Помочь?

— Лана, весь город знает, что ты производишь дикую энергию. И передаешь ее людям. Которые после этого... перестают быть синтетиками. Если, конечно, сами постараются.

— Ты хочешь, чтобы я подбодрила дикой энергией работников СИНТа? Тех, кто каждый день отгружает Заводу людей, как топливо?

— Да ведь не все! Главная задача СИНТа — распределение энергии, понимаешь? Чтобы каждый получил свой пакет вовремя!

— Распределение пакетов, — говорю я медленно. — Никогда не поверю, чтобы твой отец... кем он работает?

— Он главный инженер.

— Не поверю, чтобы главный инженер страдал оттого, что пакет маленький.

— У них там постоянная грызня, — говорит Макс очень тихо. — Знаешь, от чего умер прежний начальник СИНТа? От недостатка энергии! Его сместили... и сразу же оштрафовали якобы за недоработки. И он умер.

— Твоего отца собираются сместить?

Длинная пауза.

— Пока нет... но очень скоро, может быть. Место главного инженера всегда было таким... лакомым...

— Как ты себе это представляешь, Макс? — спрашиваю резко. — Явиться на СИНТ и сказать: здравствуйте, я Лана?

— Слушай, — он сжимает мою руку. — Я ведь могу быть тебе полезным! Я покажу тебе СИНТ. Трансформаторы, станцию отгрузки... Честное слово, я проведу тебя. Покажу все, что сумею.

Я внимательно смотрю на него, пытаюсь понять, ловушка это или нет.

— Я не предаю тебя, клянусь отцом, — говорит Макс, и мне вдруг становится завидно. У него хоть отец есть... — Лана? — Макс почти заискивающе заглядывает мне в лицо.

— А как? — Я все еще раздумываю. Он выдыхает:

— Я знаю как. Сегодня на СИНТе... Видишь ли, они тоже отмечают Праздник Энергии. Только на свой лад.

Никогда в жизни не видела так много света. Разве что в разгар лета, в ясный день, на верхушке громоотвода.

Опираясь на руку Макса, вхожу в огромный зал. На Максе — парадная форма энергополицейского, черная с серебром. На мне — платье, которое он принес полчаса назад. Платье сидит неплохо. Волосы уложены под круглую шляпку. Лицо наполовину закрыто огромными темными очками — последняя мода, как объяснил Максим. Дамам, живущим среди такого блеска, необходимо беречь глаза.

Я вижу, как мимо проходит женщина лет двадцати, высокая и тонкая, с ног до головы увешанная лампочками. Мигают огни на цветном ожерелье, гроздьями вспыхивают броши и заколки в волосах, цепь огней тянется по подолу платья, фонари на туфлях подсвечивают снизу стройные ноги, натертые, для полноты картины, отражающей пудрой. За всей этой роскошью тянется шлейф проводов, и четверо слуг несут аккумулятор.

— Это жена нынешнего начальника, — бормочет Максим.

Зал освещен миллионом огней. Пол и потолок почти зеркальные, у меня скоро начинает рябить в глазах, несмотря на очки. С Максом здороваются разные люди, и сам он здоровается, представляя меня как подругу. В толпе снуют официанты с подносами. Макс берет два бокала, один протягивает мне. Я делаю глоток — это обыкновенный энеджи-дринк, хотя, может быть, слегка подслащенный.

— Сейчас будет концерт, — говорит Макс.

Я допиваю свой бокал до дна, и все равно у меня сухо в горле.

— Все эти люди — они кто?

— По-разному. Есть инженеры. Есть администраторы. Есть ловцы.

— Ловцы?!

Я вглядываюсь. В парадных костюмах мужчины неотличимы друг от друга, только полицейские в черных с серебром формах хоть как-то выделяются. У многих на рукавах, на лацканах пиджаков ярко горят фонари, но аккумуляторы, как видно, спрятаны под одеждой. А вот женщинам сложнее: две дамы, мило поболтав, расходятся, но так неудачно, что провода, ведущие от украшений к аккумуляторам, путаются. Неловкость, взаимные упреки, две бригады носильщиков суетятся вокруг, пытаюсь высвободить красавиц...

Я вспоминаю темные улицы города, отражатели, фонарики-эспандеры и динамо-фары велорикш.

— Я знаю, о чем ты думаешь, — говорит Макс.

— Не знаешь, — отвечаю резко. — Я помогу тебе — но только ради тебя, Макс. А не ради твоего отца!

На возвышение в углу зала поднимается десяток мужчин и женщин, у кого-то гитары в руках, у кого-то скрипки, у кого-то бубны, у одного парня — барабан. Я смотрю с интересом; барабанщик трижды стучит палочкой, и начинается музыка, такая же аморфная и мертвая, как бесплатная вермишель.

— Погоди, — говорит Макс. — Мне надо переговорить с отцом. Я сейчас вас познакомлю!

И скрывается в разукрашенной лампочками толпе. Я остаюсь одна — с пустым бокалом в руках и мертвым ритмом, вязнущим на барабанных перепонках.

Мне очень хочется выскочить на возвышение и отобрать у парня инструмент. Я сдерживаюсь из последних сил, верчу бокал, выстукиваю ногтями по стеклу. Те из гостей, что стоят поближе, поглядывают на меня с возрастающим интересом.

Дура! Я же не должна привлекать внимания, Максим мне сто раз об этом напоминал!

— Вы позволите? — Мужчина с ярким созвездием лампочек на лацкане отбирает у меня бокал, ставит на поднос пробегающего официанта, вместо него берет новый и протягивает мне. — Я впервые вас вижу, милая барышня, вы подруга Максима?

Я бормочу что-то невнятное. Жадно пью. Мужчина не сводит с меня маленьких блестящих глаз.

— Вам нравится?

Он имеет в виду музыку. Я мотаю головой, не в силах притворяться.

— Мы можем пригласить другой коллектив, — говорит мой собеседник. У него мягкий вкрадчивый голос — и очень властная манера держаться. Заметив кого-то в толпе, он резко машет рукой:

— Стефан! Поди сюда.

Я поворачиваю голову...

Стефана-Ловца я никогда не забуду и не спутаю ни с кем, какой бы наряд он ни нацепил на себя. Сейчас он вышагивает в темно-бордовом костюме, на лацканах которого справа и слева целым морем огней горят знаки отличия. Я сглатываю: может, Ловцу дают по ордену-огню за каждый десяток жертв? Или за каждую сотню?

Я хочу убежать. Но ноги будто приклеились к блестящему полу. Так бывает во сне. Я опрокидываю бокал в рот — и кашляю, поперхнувшись.

Мужчина, первый заговоривший со мной, мягко похлопывает меня по спине:

— Ну, ну... Познакомьтесь, это Стефан, мой заместитель. А это подруга маленького Макса, милая... Как вас зовут?

Стефан смотрит на меня. Я знаю, черные очки маскируют меня. Знаю и другое: у людей с таким взглядом обычно профессиональная память на лица.

Я кашляю.

— Мы виделись раньше? — спрашивает Стефан.

Я резко киваю. Продолжаю кашлять, теперь уже нарочно. Через силу.

Все еще глядя на меня, Стефан склоняется к моему собеседнику и что-то шепчет. У мужчины с лампочками на рукаве на секунду вытягивается лицо — и тут же удивление сменяется довольной улыбкой.

— Молодец, — говорит он вкрадчиво. — Браво, Ловец. — И переводит взгляд на меня.

Из оружия у меня только опустевший бокал. И то неплохо. Стою, ожидая, что он скажет.

Он не замечает моего напряжения.

— Хорошие новости. Очень хорошие, милая барышня.

Я сбита с толку. Что сказал ему Ловец? Мое имя — или...

И в этот момент из толпы появляется Максим. Он внешне спокоен. Только бледен, и на скулах горят пятна. У меня сам собой подтягивается живот: что-то случилось. Еще что-то.

Макс находит в себе силы почтительно поздороваться и с моим собеседником, и со Стефаном. Потом берет меня за руку и ведет сквозь толпу — мимо дам с аккумуляторами. Мимо сцены с музыкантами. Прочь, к выходу в коридор. Я все жду окрика в спину: стой! Это Лана! Но окрика нет. У двери я не выдерживаю и оборачиваюсь: мой бывший собеседник и Ловец о чем-то беседуют, не глядя в нашу сторону...

Значит, все-таки обошлось?

Мы с Максом останавливаемся возле окна, плотно задернутого тяжелой портьерой. Здесь не так светло. Хочется снять темные очки, но я вовремя удерживаюсь.

— Взяли твоих диких, — еле слышно говорит Макс. — Только что... минут сорок назад. Проследили... от клуба... всех, и Перепелку с детьми...

Я цепляюсь за портьеру.

— Мавр? Лешка? Алекс? Лифтер? И...

— Всех... — Максим судорожно сглатывает. — Больше того, копают уже и под меня... Ты знаешь, с кем ты разговаривала? Это главный координатор отгрузок...

В глубине меня — в голове? в груди? — зарождается тоненький звук. Как будто писк комара ночью в лесу. Он нарастает, становится похож на вой ветра в трубе... на вой волка в лесу... и в нем прорезывается ритм. Неторопливый, сдержанный, даже холодный. Мои пальцы сами собой начинают барабанить по подоконнику. Так вот о чем сообщил Ловец своему начальнику...

— Их отправят на Завод сегодня, — шепчет Макс. — Уже отдан приказ *отгрузить* их...

— Макс, — говорю я очень низким, непривычно низким и уверенным голосом, — Завод *не получит* их. Ни сегодня. Ни завтра. Никогда!

С этого момента все, что происходит со мной и вокруг меня, подчинено строгому, даже суровому ритму.

Праздник продолжается. Тоненько, пошлыми масляными голосами поют скрипки. Гул голосов становится громче. Минута или две — и Ловец вспомнит меня, а за Максом явятся вооруженные коллеги, и на этот раз его не спасет даже отец, главный инженер.

Дурацкое вечернее платье начинает мешать. Высоко подняв голову, ни на кого не глядя, иду к выходу. Чувствую, как напряжена рука Макса под рукавом парадного мундира.

— Уже уходите? — приветливо спрашивает привратник у большой, плотно закрытой двери. Он улыбается, но в его словах мне мерещится скрытый смысл.

— Да, — говорю холодно. — Откройте нам, пожалуйста.

— Ваши пропуска?

В это здание проще войти, чем выйти из него. Максим протягивает две лиловые бумажки с печатями. Привратник всматривается в них, за его спиной сидят на диванчике двое полицейских в полном обмундировании, с разрядниками в расстегнутых кобурах. Мой внутренний ритм подстегивает: быстрее, быстрее!

Привратник очень медленно поднимает голову. Медленно-медленно протягивает руку, возвращая пропуск Максиму:

— Жаль, что вы так рано...

На столе пищит сигнал переговорного устройства. Привратник подносит к уху наушник, к губам микрофон:

— Вахта слушает.

У Макса не выдерживают нервы.

— Мы спешим! — говорит он резко. Полицейские на диване удивленно поворачивают головы.

— Понял, — говорит привратник. Кладет наушник и микрофон на место. Ни слова не говоря, начинает открывать кодовые замки — один, другой...

Когда дверь наконец приоткрывается, переговорное устройство звонит снова.

— Вахта, — говорит привратник.

Мы выходим на высокое крыльцо. Справа и слева горят мощные фонари. Ни в коем случае нельзя бежать.

— Одну минуту! — кричит привратник нам в спину. — Одну минуту!

Мы одновременно срываемся с места. Бежим по ступенькам вниз: только бы завернуть за угол, а там темнота...

На крыше здания СИИТ вспыхивает мощный прожектор. Щелкают разрядники полицейских — сзади, всего в нескольких десятках шагов.

— Держите ее! Это Лана!

Макс оборачивается на бегу. В руке у него — полицейский разрядник.

— Уходи. Я их задержу.

Влетая в узкий переулок, залитый контрастным светом прожектора, слышу за спиной перестрелку.

Я опять одна. И действую на свой страх и риск. Праздник Энергии закончился. Город опустел. На углу велорикша — вертит головой, пытаюсь понять, откуда свет и что это за странные звуки. Медленно думает. Наконец решает уехать от греха подальше. Сбиваю его на тротуар, прежде чем он успевает поставить ноги на педали.

Мой внутренний ритм наконец-то прорывается наружу. Машина хорошая: большие колеса, и шестеренки вертятся без единого скрипа. На дикой скорости проезжаю три квартала, потом торможу — дым из-под покрышек — и трачу несколько драгоценных минут, чтобы как следует спрятать машину в тени подворотни.

Сама, ухватившись за край низко нависающего балкона, подтягиваюсь — и поднимаюсь вверх по стене, от балкона к окну, от окна к выступающей балке, от балки к другому балкону, и так до самого верха. Спрыгнув на залитую битумом крышу, низко пригибаюсь и бегу что есть сил.

Бежать легко. Внутренний ритм приходит в гармонию с внешним. А значит, я могу думать.

Ничего не готово. Синтетики разобщены, я ни о чем не успела договориться. Я не спросила их, готовы ли они рискнуть жизнью, готовы ли они умереть, если понадобится, ради того, чтобы был остановлен Завод... Да и что бы они ответили?

Мрачно улыбаюсь на бегу. Одно дело — легенда о всесильной Лане, которая дает энергию, дает жизнь. Другое дело — вот эта ночная гонка по крышам, и осознание, что я ни капельки не всесильна, и его послание: «Лана, помни слова Царь-Матери. Пощади их».

Спотыкаюсь и растягиваюсь на крыше во весь рост. Проклятое вечернее платье, будь я в штанах — не ссадила бы колени...

Поднимаюсь. Оглядываюсь. Позади и внизу, на перекрестке, мерцают фонари. Растекаются направо и налево. Берут меня в кольцо. У полиции есть новый опыт: им ведь удалось захватить диких на верхушках башен...

Снова бегу. Все дома на этой стороне улицы стоят вплотную друг к другу, так что я запросто перебираюсь с крыши на крышу. Пока передо мной не открывается улица — широченная щель, которую ни перепрыгнуть, ни перелететь. Оглядываюсь. Полицейские будут здесь через пять минут, и отсидеться на крыше на этот раз не удастся.

К торцевой стене приколочена пожарная лестница. Я спускаюсь за несколько секунд. Вагон на Завод будет отправлен утром, завтра — уже сегодня — через несколько часов. А меня, кажется, затравили. Как зверя.

Спрыгиваю на землю. Озираюсь. Вижу в нескольких шагах, прямо посреди дороги, канализационный люк.

Тяжеленная крышка. Нечем поддеть. Цепляюсь за край люка пальцами, ногтями, наконец сдвигаю на несколько миллиметров. Еще.

Вдоль улицы ложится свет фонарей. Полицейские гонят на велосипеде — прямо ко мне. Прямо по осевой. Рыча от напряжения, отодвигаю люк (вход в колодец становится похож на месяц накануне полнолуния) и ныряю вниз. Успеваю заметить фары полицейской машины — в нескольких шагах перед собой...

Через несколько секунд колесо попадает в открытый люк и машина — я слышу — терпит крушение.

Я пробираюсь вдоль бетонной шахты. Где-то льется вода. За спиной мечутся лучи фонариков — меня преследуют по пятам. А время уходит, секунда за секундой. Уходит драгоценное время!

Железные трубы. Гирлянды старых проводов, давно никому не нужных. Я пробираюсь, где на четвереньках, где в полный рост, обхожу завалы, перелезаю через оборванные провода. Мне не хватает очков ночного видения. Продвигаюсь почти вслепую, вытягиваю руку вперед, пытаюсь нащупать проход...

Меня хватают за запястье.

Я не удерживаюсь и кричу. Эхо прыгает от стены к стене, полицейские слышат мой крик и поворачивают в мою сторону лучи фонариков...

— Тихо, — говорит у меня над ухом скрипучий голос. — За мной.

Я видела этого человека раньше. Это один из кротов, что предлагал мне помощь в клубе у Бана. Теперь он молча протягивает ночные очки.

Он двигается, как вода, непринужденно просачиваясь в любые щели. Я — за ним, чуть медленнее, но все-таки пробираясь в узкой щели между двумя бетонными блоками. Вспоминается та труба, в которой я застряла на Заводе. Алекс сказал бы клаустрофобия...

Воспоминание об Алексее подстегивает.

Полиция остается далеко позади. Крот доползает до пролома в бетонном покрытии и спрыгивает вниз. И я за ним.

Здесь можно выпрямиться в полный рост. Это огромный, давно заброшенный, темный и сырой коридор. Может быть, это один из пневмотоннелей, в котором гонялся еще Хозяин Завода?

— Что тебе нужно, Лана? — спрашивает крот. Здесь, в темноте, его глаза широко открыты. И на нем нет очков.

Я тяжело дышу. Из расцарапанной щеки капельками скатывается кровь. Вечернее платье разодрано в клочья.

— Что тебе нужно? — спрашивает он еще раз. — Помнишь, мы говорили тебе: все, что ни попросишь, сделаем для тебя?

— Пожалуйста, — говорю я умоляюще. — Дайте мне во что-нибудь переодеться.

Весь город под землей пронизан тоннелями. Вдоль тоннелей тянутся трубы, большей частью мертвые, пустые. Я сижу у одной из таких труб, в руках два старинных гаечных ключа. Я играю на трубе.

Труба дрожит, вибрирует. Вибрация передается моим рукам. Никогда в жизни, ни у кого на свете не было такого инструмента. Выбиваю ритм, он растекается по тоннелям от трубы к трубе. Проникает в отверстия, куда не пробраться человеку. В глубину и вширь. Где-то осыпаются с труб чешуйки ржавчины. Где-то сыпется песок, капает вода. Я играю.

В подземный зал, куда крот привел меня, стягиваются люди. Кого-то из них я видела раньше. Кого-то вижу впервые. Все они знают мое имя.

— Лана пришла к нам за помощью, — говорит Бан, хозяин «Бан-кротства». — Говори, Лана.

— Мне нужно отбить моих друзей, — говорю я. — Они в СИНТ.

— Где?

— В том месте, откуда отправляют топливо на Завод... Там полно полиции. Там все контролеры города. Я не знаю, что делать!

Они переглядываются. Они тоже не знают, что делать, но в этот момент у входа начинается сутолока. Расталкивая кротов, ко мне прорывается человек в разорванной на плече рубашке.

— Римус! — Я не верю своим глазам. — Ты уцелел! Они тебя не забрали!

Он обнимает меня. И мне, впервые за долгое время, делается спокойно.

До рассвета несколько часов. Синтетики спят без задних ног, утомленные фальшивым «Праздником Энергии».

Мы с Римусом пробираемся на Сломанную Башню. Тот самый небоскреб, который обрушился много лет назад, от которого остался пень. То самое место, где впервые почувствовала себя дикой. Где когда-то был клуб «Сорванная крыша», разоренный полицией.

Прожекторы разбиты все до единого, и ветер унес осколки. Ударная установка разобрана, стойка барменов опрокинута, вместо насестов болтаются оборванные цепи. Зато в центре площадки по-прежнему стоит огромный барабан. Верхняя дека занесена пылью и мелким летучим хламом.

— Помнишь, я говорил тебе, что раздал свои барабаны синтетикам? Барабаны, бубны, все, что звенело и гремело, все, что у меня было?

Я молчу.

— Пробуй. — Он протягивает барабанные палочки. — Если у тебя не выйдет, не выйдет ни у кого.

Я касаюсь верхней деки тяжелой барабанной палочкой. Барабан гудит.

— Римус, — спрашиваю я. — А... зачем? Чем они нам помогут?

— Бей, — говорит Римус.

Я задерживаю дыхание — и бью изо всей силы.

Взлетает пыль. Подпрыгивают песчинки. Подпрыгивают крошки и ссохшиеся комья картона. Взлетают, зависая над декой, капельки воды, хотят опуститься и не могут,

подброшенные новой взрывной волной. Еще, еще, еще; я мерно колочу, понемногу заражаясь спокойной уверенностью барабана, который повидал всякое, и многое еще пе-ре-жи-вет...

Римус кладет мне руку на плечо. Я замираю, а барабан все еще гудит, и сквозь это гудение я слышу ответный барабанный бой.

Первый барабан отзывается совсем неподалеку — где-то на крышах пятиэтажек. Он звонкий, высокий и дерзкий, как голос храброго подростка. Ему отзывается другой, басовитый, и третий, глуховатый, и ритм — мой ритм летит от одного к другому, как отражение. Как отблеск огня. Как приказ.

По всему городу. На юге, на юго-востоке, на западе. На севере. Барабаны перекликаются, изменяя, развивая, перебрасывая друг другу один и тот же ритм — мой ритм.

— Это мои барабаны. — Римус улыбается в полутьме. — Вот видишь, я был прав. Они нам еще пригодятся.

Синтетики выходят на улицу. Как после энергетического часа. Только нет эйфории: лица бледные, настороженные, почти не видно улыбок. Я присматриваюсь и узнаю бледную девушку с косичками, другую, черноволосую, узнаю молодых синтетиков, которые совсем недавно отважились отказаться от манжеты. Кто-то на один день. Кто-то навсегда. Среди знакомых лиц мелькают незнакомые: застывшие, встревоженные.

— Тащите все железное, что может звучать и греметь, — говорю я. — В горах так призывают гром. А нам очень нужна гроза. Сегодня. Сейчас.

Они переглядываются. Не понимают. Многие вообще не знают, что такое гроза.

— Надо отвлечь полицию, — объясняет Римус. — Надо, чтобы поднялась тревога. Чтобы они не знали, что делать и куда бежать, а мы в это время...

— Римус, — я стискиваю его руку, — спасибо. Но в СИНТ я пойду одна.

Мы почти деремся. Мы почти разругались навеки. Он хочет идти со мной, время утекает, а я не могу, *не могу* объяснить ему, что это мое, только мое дело!

Римус сотрясает кулаком. Я ловлю его на особо темпераментном жесте и, продлевая его движение, бросаю через себя, стараясь не больно уронить на асфальт.

Он молча поднимается. И долго не говорит ни слова.

— Ладно, — сообщает наконец, не разжимая зубов. — Тогда так... Я сделаю так, что СИНТ в эти часы вообще опустеет.

Светает. У меня в запасе остается час, не больше. В городе царит предрассветная тишина...

И тишина вдруг взрывается.

Они пришли. Их больше, чем я могла ожидать. Они несут с собой железные баки и крышки кастрюль, листы жести и цепи, наконечники шлангов и обрезки труб. В центре колонны едет Римус на велосипеде, и вся машина увешана большими и малыми колоколами. Римус вертит педали, я иду рядом и бью во все колокола, а вокруг творится невообразимое.

Ревут сирены с динамическим приводом. Грохочут жестяные банки, полные камней. Грохочут бочки, грохают цепи, бьет железный прут по обломку железной решетки — и вот из этого адского шума мало-помалу вырастает ритм.

«Мы идем» — слышится в этом ритме. И у меня по коже ползут мурашки.

— Мы идем!

— Жить своим ритмом! — кричит Римус в динамо-мегафон.

— Жить сво-им рит-мом! Жить сво-им рит-мом! — подхватывают люди вокруг.

Содрогаются стены домов. Летят разбитые стекла, не выдержавшие нагрузки. Город раздрается между восторгом и паникой. За окнами мечутся лица. На подоконниках подпрыгивают стаканы. Падают и бьются, добавляя звона в музыку нашего шествия. Я выбиваю синкопы по колоколам, вплетаясь в общий ритм особенным узором. Получается красиво, хотя слышу это, наверное, я одна.

— Давай! Вперед! Иди вперед к вершине!

— Я — не синтетик! — кричит в мегафон Римуса девушка, на секунду вскочившая на подножку велосипеда.

Римус широко разевает рот, чтобы сохранить барабанные перепонки.

— Я — не син-те-тик! — выкрикиваю я вместе со всеми, как клятву.

Римус еще что-то хочет сказать, но в мегафоне кончился заряд. Римус на минуту выпускает руль, левой рукой дергает за шнур — раскручивается динамка, мегафон заряжается снова.

— Дикая энергия! — кричит Римус. — Хей-го! Хей-го! Если ты с нами, ты дикий!

— Хей-го! — вторит толпа. — Ты дикий!

И этот крик подхватывает небо над нашими головами. Тревожно и радостно воют сирены мегафонов. Справа и слева, с крыш невысоких зданий к нам планируют, спускаются по тросам, висят над головами толпы уцелевшие дикие.

Им надоело ютиться по подвалам, притворяться синтетиками, прятаться и дрожать. Они вытащили из тайников свои крылья, мегафоны, фонари, они кричат и переговариваются на птичьем языке, они вливаются в наше шествие: идут по крышам, по отвесным стенам, выстукивая ритм железными прутьями по решеткам балконов, по крыльям ветряков, по стеклу и по жести.

Мне кажется, что я вижу, как бьют прямые лучи света из ревущих, поющих мегафонов. И одновременно ощущаю, как содрогается земля под ногами и булыжники мостовой начинают подпрыгивать в своих гнездах. Во мне оживает ужас предков: землетрясение! Но в ту же секунду я вижу, как сдвигается крышка канализационного люка и оттуда до пояса вылезает крот — худой, сутулый, в темных очках, с огромным гаечным ключом в мохлявой сильной руке.

Не слышно, что он кричит. Я читаю, как Лешка, по губам: мы с вами. Мы с вами. Мы с вами.

И наше шествие продолжается: по улице идет, грохоча, колонна взбунтовавшихся синтетиков, по крышам и стенам несутся дикие, по подземным галереям пробираются, сотрясая землю, кроты.

Я колочу по колоколам, вливаясь в ритм, растворяясь в нем, — и вдруг понимаю, что из похода-гремелки наше шествие превратилось в нечто большее. Ритм, родившийся в толпе, обрел собственную жизнь. И не мы ведем ритм — ритм ведет нас. Это мощный, веселый и безжалостный поводырь. Мы создаем ритмы, ритмы создают нас, человеческая река течет по улице, над улицей, под улицей, с каждым шагом становится больше, принимая в себя ручейки из соседних улиц и переулков, производя новую, тугую энергию, заражая своей силой и слабым, и отчаявшимся, и тех, чьи испуганные лица белеют за стеклами...

Я снова чувствую себя пикселем. На короткий миг.

Римус протягивает мне мегафон, я кричу:

— Освободи! Освободись! Будь свободным и добрым, как Солнце!

— Свободным! Как Солнце! — подхватывает толпа. — Хей-го! Хей-го!

— Ты сможешь! Ты сможешь! Энергия внутри тебя!

— Энергия внутри тебя!

Улица заканчивается. Ритм заливает теперь площадь, небо над площадью и фасады домов вокруг. Толпа идет, ритм раскачивается над нашими головами, как тяжелый, обитый сталью таран...

И навстречу ему выползает, неуклюже ворочаясь в русле улицы напротив, другой таран. Это полицейские — они в броне, у них щиты и дубинки, они колотят металлом о пластик и металлом о металл. Чужой ритм, уверенный и мощный, схлестывается с ритмом нашей колонны.

Удар.

Хочется присесть, зажав ладонями уши. На секунду меня охватывает страх, что вот сейчас из столкновения ритмов родится ватная убивающая тишина...

Тишины нет. Это мои уши, пораженные ударом, на секунду отказали. А ритмы сшибаются, пытаются одолеть друг друга, сломать, заглушить.



— Свободным! Как Солнце!

— Повинуйся.

— Энергия внутри тебя!

— По-ви-нуй-ся.

Наш ритм живой и гибкий, в этом его сила. Ритм полицейской колонны не меняется, он устойчивый и монотонный — в этом его сила. Я вижу, как колонны замерли: между передними рядами пустое пространство — десять шагов. Барабанщики на железных баках и медных тазак — против барабанщиков на железных и пластиковых щитах. От страшной звуковой атаки подпрыгивают, кажется, камни мостовой...

Нет, не кажется. Кроты бьют снизу в чугунные крышки канализационных люков, и люки подпрыгивают. И камни танцуют. Дикие, захватившие все крыши вокруг площади, танцуют и прыгают на кровельной жести, и каждый их прыжок оборачивается раскатом грома. Я вижу, как синтетики во главе колонны ставят на землю свои бочки и тоже, по примеру диких, вскакивают на них ногами... Гремят, пытаюсь подавить, одолеть, захлестнуть полицейских своей энергией, подчинить собственному ритму...

Римус оборачивается ко мне.

— Давай! — читаю я по губам. — Делай свое дело, а мы с ребятами — свое!

Он прав.

С трудом выбираюсь из гремящей толпы. Сворачиваю на соседнюю улицу, бегу вдоль железной ограды. Направо. Налево. Еще раз налево. Через арку — дальше. Противостояние на площади продолжается — его не надо видеть, оно раскатывается над крышами громче грозы. Я инстинктивно открываю рот: сбережь бы барабанные перепонки!

Сворачиваю в неприметный переулок. Стоп, здесь. Эти двери указал мне Максим. Эти вечно закрытые железные ворота.

Обычно перед ними усиленная охрана. Сейчас на посту тревожно переминаются двое. Ритмы, схлестнувшиеся на площади, долетают сюда обрывками, сводя с ума, как рев надвигающегося цунами. Стражи нервничают: один притоптывает, неосознанно повторяя ритм полицейской колонны, другой, сам того не замечая, сжимает и разжимает пальцы в перчатке и то и дело назойливо спрашивает товарища:

— Что там такое? Ты что-то можешь понять?

У обоих тяжелые разрядники через плечо. Не полицейские. Больше и тяжелее.

Подхожу не таясь. Один выпучивает глаза. Другой хватается за разрядник:

— Кто такая?

— Лана, — говорю я.

— Лана?!

Они оба — рабы маршевого ритма. Я двигаюсь в ритме вкрадчивого танца. Любой из них больше и тяжелее меня почти в два раза. Но моя цель — не драться с ними, а, подстраиваясь, использовать их силу...

Разрядник бьет ярко-белой дугой. Ныряю под нее, танцуя, увлекая за собой, пока не оказываюсь между полицейскими. Хозяин Завода сбил бы противников в прыжке, но у меня нету ни его силы, ни веса, поэтому подставляю одного под разрядник второго.

Они почти успевают среагировать. Почти. Один уворачивается, другой убирает палец со спускового крючка, но выстрел уже совершен, и заряд слишком сильный. Задев даже краешком, оглушает.

Второго бью по разряднику — снизу. Выстрел уходит в светлеющее небо. Продолжая свой танец, припадаю к земле и подсекаю его ноги в тяжелых ботинках.

Он ухитряется не упасть. Преследуя меня, будто атакующую осу, поворачивается всем телом. Продолжая его движение, резко дергаю в сторону ствол разрядника — и наконец-то добиваюсь своего. Противник падает.

Я прыгаю сверху. Ствол разрядника утыкается лежащему в подбородок.

— Мне не нужно, чтобы ты умер, — говорю я ему на ухо. — Покажи дорогу.

— Куда? — хрипит он. Я читаю, как Лешка, по губам: с площади несется исступленный грохот, заглушающий все на свете.

— К отгрузочной станции.  
— Не знаю, о чем ты, — говорит он.  
Врет.

У меня в руках два мощных разрядника, готовых к бою. Пленный охранник ведет меня глухими задворками СИНТа. Встречным полицейским велю бросать оружие и ложиться на пол. Странно, они слушаются: видно, рев и грохот на площади произвели сильное впечатление.

Натыкаюсь на испуганных музыкантов, тех самых, чьи мертвые мелодии развлекали гостей на сегодняшнем празднике. Музыканты забились в угол и не пытаются сопротивляться. Велю парню с барабаном идти со мной. Он страшно трусит, но под дулом разрядника не решается спорить.

Потом я вдруг узнаю это место. Здесь Стефан-Ловец провожал нас, оболваненных, в счастливую новую жизнь. На Завод. На стене сохранился рекламный плакат: «Агентство „Загорье“ — реальное счастье уже завтра. Хорошая работа за горами и десять энергопакетов в неделю». Здесь же яркая картинка: девушка с юношей, обнявшись, ступают на подножку вагона канатной дороги...

Перевожу рычажок разрядника на минимум и стреляю в спину пленному охраннику. Он теряет сознание и падает без единого звука. Парень с барабаном кричит, как заяц.

Отбираю у барабанщика инструмент и велю убираться подобру-поздорову. Парень исчезает, как роса.

Дальше иду очень тихо. Вслушиваюсь. Как я и думала, ритм-таран на площади оттянул на себя почти все полицейские силы. Может быть, отправку топлива задержали? Или, наоборот, решили отправить раньше?!

Я ускоряю шаг. Они же все здесь зависят от бесперебойной работы Завода. Не отправить вовремя топливо — значит потерять должность, а может, и голову...

Я слышу голоса. Прижимаюсь к стене. В дверном проеме — тени; один из голосов принадлежит Стефану-Ловцу.

— Они не проснутся до завтрашнего утра. Просто проследи, чтобы они не задохнулись собственными соплями... И перед разгрузкой выйди на связь с *ним*, объясни ситуацию.

— Вы мне гарантируете мои пакеты? — дребезжащим голосом спрашивает женщина. — Завтра мне надо пять...

— Гарантия бывает только на кладбище, — говорит Стефан, и я слышу, как он усмехается. — Это очень ценный груз, чрезвычайно ценный, повышенной энергоемкости. Если ты справишься, можешь рассчитывать и на шесть.

— Я справлюсь!

— Не думаю, — говорю я и останавливаюсь в дверном проеме.

Передо мной — посадочная станция. Я отлично ее помню. Здесь нам выдавали пайки на дорогу и матрасы, чтобы спать. В полной готовности стоит вагон канатки, тот самый, на котором ехала я. У двери в кабину — Стефан и щуплая женщина-погонщик в сером поношенном платье.

Расстояние между нами — всего несколько шагов. Рычажки обоих разрядников повернуты на максимум. Я не смогу промахнуться, даже если захочу. И Стефан это понимает.

— Здравствуй, Лана, — говорит он ровно, чуть прищурившись. — Я знал, что ты придешь.

И в этот момент я чувствую ледяное дыхание в затылок. Дыхание смерти.

Не мысль, не предчувствие, даже не интуиция — чутье дикого зверя заставляет метнуться в сторону, и страшный удар, который должен был раскроить мне череп, проходит вскользь. И все равно я падаю, почти теряя сознание.

— Пряткая стерва, — говорит Стефан. — Добей ее.

Я перекатываюсь, и приклад разрядника выбивает искры в том месте, где только что была моя голова. Перекатываюсь еще раз: мой противник не дает себе труда сменить ритм.

— Пуск машина! — кричит Стефан, и я слышу скрип каретки на крыше вагона. — Да пристрели ты ее наконец!

Снова холод в затылке. Я тянусь к одному разряднику — Стефан пытается наступить мне на руку, но я, обманув его, подхватываю с пола другой. Стреляю почти вслепую — с пола, вверх. И одновременно стреляет мой убийца. Наверное, прежде никому в голову не приходило выстрелить из двух разрядников — одновременно — друг другу в упор. Белые разряды сталкиваются. Гремит взрыв. Моего противника отшвыривает далеко назад и прикладывает о стену. Стефана взрывной волной сбивает с ног. Меня осыпает горячими искрами и волочит спиной по бетону, но сознания я не теряю и с ритма не сбиваюсь.

Вагон уже отходит от платформы; еще раз перекатившись, вскакиваю на ноги. Подхватываю упавший барабан и, прихватив разрядник, перепрыгиваю на подножку.

Женщина-погонщица смотрит на меня. Губы трясутся.

— Выходи, — говорю я. — Пристрелю.

Она выскакивает на платформу в последний момент. Мои враги тяжело ворочаются, приходя в себя. Вагон отъезжает, платформа затягивается туманом. Я стою, подняв разрядник, на случай, если кто-то захочет выстрелить мне вслед...

Вижу, как Стефан с трудом поднимается. Издевательски машет мне рукой.

Они все здесь. Лежат, завернутые в матрасы, как в коконы. Лица желтые. Мне становится страшно.

— Алекс, просыпайся!

Никакой реакции. Глаза закатились под лоб.

— Мавр! Маврикий-Стах!

Он спит. Спит Перепелка, спят мальчик и девочка. Спит Лешка, запрокинув большую круглую голову. Спит Лифтер.

Перебираюсь в кабину, но там, конечно, нет никаких рычагов, никакой возможности управлять вагоном. Через люк в потолке выбираюсь на крышу. Город ползет назад. Над крышами раскатывается грохот. Я почти вижу, как вооруженная ритмом колонна наконец-то налетает — лоб в лоб — на вооруженных щитами и дубинками полицейских...

Тянется железный трос. Вертятся колеса в каретке. Хоть бы никого не убили, думаю я, глядя на удаляющийся город. Хоть бы никого не оштрафовали сегодня ночью. «Пощади их», — сказал Хозяин Завода. Разве он, мотор и сердце колоссальной фабрики-бойни, имеет право говорить о пощаде?!

Мне надо верить в Римуса. Верить, что все будет хорошо.

Вагончик катит, облепленный туманом, как ватой. Катит на Завод. При мысли об этом меня начинает тошнить — от ужаса. Требуется огромное усилие воли, чтобы взять себя в руки. Я тяжело спрыгиваю в люк.

Все повторяется. Дежа вю, как сказал бы Алекс. Я в вагоне, несущем меня к Заводу, вокруг спящие люди, и я не знаю, не знаю, как спасти их — и себя!

Я сажусь, скрестив ноги, у изголовья Алекса. Кладу перед собой барабан. Он примитивный, новенький, совсем не похож на тот, с изображением волка... Но зачем-то я его захватила. Могла бы взять второй разрядник, а прихватила барабан!

Начинаю выстукивать. Ладонями. Не думая, только слушая.

Я подняла людей, бросила в прорыв ради того, чтобы спасти друзей. Но не спасла, а сама угодила в ту же западню... Что с Максимом, бывшим полицейским? Его оштрафуют, считай, убьют? А его отца? А десятки и сотни синтетиков, которых, может, и не поймают сегодня днем, но зато ночью жестоко накажут? Они ведь на веревочке — каждый. Достаточно просто не выдать пакет... Человек, как ни в чем не бывало, заходит в сеть, смотрит раздел статистики... А напротив его имени — сообщение о штрафе на неделю вперед!

Не отчаиваться, говорит барабан. Не терять мужества. Не отчаиваться!

Барабан говорит? Или я говорю с собой? Он вовсе не такой примитивный, этот барабан. Он глубоко и чисто звучит под моими ладонями. Я вспоминаю плес Молний, праздник весны. Я вспоминаю Ярого. Я вспоминаю весенний рассвет в горах, крик петуха и песню соловья...

И когда я вспоминаю праздник имяположения — Алекс, лежащий рядом, вдруг содрогается и открывает глаза.

Тяжелее всех просыпается Лешка. Он ведь не слышит. Приходится подносить барабан к самой его щеке — чтобы он кожей сильнее чувствовал вибрацию.

Наконец и Лешка приходит в себя. Целый час после этого мы сидим, ничего не делая и ни о чем не говоря, взявшись за руки. Странно, но мы счастливы.

Потом оцепенение спадает. В кабине погонщика находим паек на двое суток и, что важнее всего, бутыл с водой. Даем напиток прежде всего детям.

Внизу по-прежнему туман. Удобно расположившись на матрасах, мы беседуем — спокойно и с удовольствием, как когда-то в гнезде Перепелки.

— Нас взяли, как идиотов, — сетует Мавр. Видно, что эта мысль ранит его больше всего. — Как слепых, беспомощных...

— Брось, — мягко говорит Перепелка. — Когда-то это должно было разрешиться. Неужели ты собирався весь остаток жизни прожить под землей?

— Смотря какой он, этот остаток, — бурчит Лифтер. — День, год...

Лешка играет моим барабаном. Улыбается.

— Ну и что теперь? — резонно спрашивает Алекс. И сам себе отвечает: — А ничего. Вломим ему из разрядника. Мало не покажется.

Я качаю головой:

— Покажется. Вагон подходит к тоннелю, там транспортер... и некуда деваться. Слуги Завода умеют воевать с людьми. А их, автоматов, на Заводе сотни.

— А этот твой... Хозяин? Сердце Завода?

— Он никогда не смотрит на топливо, — тихо говорю я. — Для него это не люди. Ему так проще.

Мавр фыркает. Перепелка вздыхает. Вагон катит и катит по тросу, чуть покачивается на ветру. День в самом разгаре. До гор еще далеко. Дети Перепелки смотрят в окно — мутное, забранное решеткой. Кажется, дневной свет сам по себе доставляет им удовольствие.

— Если бы мы могли прыгнуть, — говорю я, — мы бы ушли к трем родам. Но мне просто повезло тогда, и ведь сейчас не зима... Что ты хочешь сказать, Лифтер?

Лифтер, лукаво усмехнувшись, распахивает куртку. Со внутренней стороны к ней пристегнут толстый моток прочнейшей дикой веревки.

Ночью мы сидим на крыше, свесив ноги, и любимся горами. Туман разошелся. Небо в звездах. Внизу проплывают едва различимые горные хребты, иногда в свете звезд вспыхивают блюдечками озера. Запах леса явственно долетает сюда, и его не в состоянии перебить даже вонь машинного масла, которым смазаны блоки.

— Я счастлива, — тихо говорит Перепелка.

Мавр обнимает ее за плечи.

Алекс неожиданно обнимает меня.

— Спасибо, Лана, — говорит мне на самое ухо.

— Да за что?! Ведь я...

— Молчи. Молчи. Там будет видно.

Уж не знаю как, но я ухитряюсь прозевать момент высадки. То ли канатка движется на этот раз быстрее, то ли разница между длинной зимней ночью и не очень длинной осенней сбита меня с толку. Когда вагон вдруг вздрагивает на знакомой опоре, я спохватываюсь, смотрю вперед... И понимаю, что огни, которые я принимала за низкие звезды, на самом деле — прожекторы Завода.

— Вниз! — кричу я. — Скорее!

Лифтер привязывает веревку к поручню. Я вытаскиваю из внутреннего кармана ночные очки, подарок кротов. Оба стекла треснули. Ну да мне не привыкать.

Под нами лес. Невысокий, ржавый, но все-таки лес, а не поле. Это сильно затрудняет спуск, но ровное пространство начинается слишком близко от Завода, в невозможной близости.

— Алекс, — говорю я, — давай, ты первый. Возьми разрядник.

Он не возражает. Кажется, он привык к тому, что я командую. Он повисает на тросе и соскальзывает в темноту. Я слежу за ним; Алекс теряется в бурой кроне, и веревка ослабевает.

— Пошли, — говорю сквозь зубы. — Один за другим.

Мавр берет на плечи дочь. Мальчик заявляет, что спустится сам. Я хочу одернуть его, заорать, что не время выламываться и демонстрировать самостоятельность, но встречаюсь с ним взглядом. И отступаю.

— Если мама разрешит, — говорю деревянным голосом.

— Разрешаю, — глухо говорит Перепелка. — Постарайся не удариться о ветку... Иди.

И мальчишка спускается, ловко, как настоящий дикий, пока не исчезает в кронах.

Перепелка спускается сразу за ним.

Потом Лешка.

— Я последний, — говорит Лифтер.

Молча мотаю головой. Огни Завода уже совсем близко.

— Лана, — говорит он укоризненно.

— Спускайся!

Он несколько секунд смотрит мне в глаза. Потом спускается по веревке. Я остаюсь в вагоне одна.

Уже виден приемный тоннель. Что скажет Хозяин, когда увидит, что вместо единиц энергии Заводу досталась на этот раз пустая оболочка?

Вспоминаю, как помахал мне рукой на прощание Стефан-Ловец. Криво усмехаюсь — и, ухватившись за веревку, ныряю в темноту.

Мы находим друг друга не сразу. Когда наконец собираемся вместе, солнце стоит уже довольно высоко. Все в царапинах, у Алекса подбит глаз, у Лешки ссадина на щеке, но серьезно никто не пострадал. Мальчишка, сын Перепелки, улыбается до ушей, его сестра смотрит вокруг широко открытыми глазами.

— А я думал, ты привираешь, — признается Мавр. — Когда ты рассказывала... про горы...

Ржавый лес заканчивается. Вокруг непередаваемая, нереальная красота: зелень сосен рядом с красно-желтыми деревьями и кустарниками, лимонно-оранжевый ковер на траве, кроваво-красные клены — и синее небо над головой. Такой синевы никогда не бывает в городе.

Но нам некогда вертеть головами. Завод близко. Я чувствую его, как ощущают тень на лице. Завод не получил своей добычи. Он опасен. Смертельно опасен.

Смутно узнаю знакомые места. Тороплюсь увести диких подальше от Завода.

— Почему ты все время оглядываешься? — спрашивает Мавр.

Мне слышится лязг железных слуг Завода, наступающих нам на пятки. Но в этом я Мавру не признаюсь.

Дикие не привыкли ходить по горам. Я сбиваюсь с пути и по ошибке делаю большой крюк. Дети, да и взрослые, выбились из сил — видать, снотворное полицейских врачей не прошло даром.

Приходится сделать привал.

Огонь разжечь нечем. Есть, в общем-то, тоже нечего — кроме остатков сухарей из пайка погонщицы и пачки бесплатной вермишели, обнаружившейся у кого-то в кармане. Есть вода — рядом бежит ручеек. Все молчат, до того устали.

Что мне делать? Я прекрасно понимаю, что единственное спасение для диких — в поселке трех родов... если он еще существует. Если нас примут. Скоро похолодает, выпадет снег, это не лето, когда в лесу можно жить просто так, в шалаше... Не говоря уже о том, что под боком у Завода никто не может быть в безопасности.

Прихватив разрядник, отправляюсь на разведку. Выбрав высокое дерево на краю леса, забираюсь на самую вершину. Смотрю на Завод: он скрыт желтым туманом. Бетонным панцирем темнеет саркофаг, торчат опаленные громоотводы, но что делается внутри, неизвестно.

Думаю о Хозяине. Почти вижу, как он сидит в рубке или бродит по темным коридорам, надев очки ночного видения. Чувствует ли он, что я совсем близко?

Ворота Завода закрыты. Каков запас энергии в аккумуляторах? Должен быть какой-то запас, на случай, если смена не придет или окажется негодной...

Я спускаюсь с дерева. Сажусь, привалившись спиной к стволу. Мне надо побыть одной. Мне надо подумать.

«Лана, пощади их...»

Что же это такое, выходит, я никого не щажу? И дикие в беде из-за меня, и друзья из трех родов погибли, да еще в городе неизвестно что делается? Бегу, как динамо-белка в колесе, но энергии во мне слишком много, поэтому подключенные к колесу лампочки взрываются, вместо того чтобы светить. Взрываются, взрываются...

Завод нельзя остановить, потому что погибнут люди. Заводу нельзя позволить работать, потому что люди гибнут уже сейчас. Нельзя, нельзя, нельзя!

Закрываю глаза. Мне представляется мембрана распадателя — в виде Огненного Кона, на котором я победила когда-то Царь-мать. Что-то очень важное, связанное с Заводом... Что-то, что я давно знаю, но о чем не думала, забыла за ненужностью... Какие-то слова Хозяина... Или Головача?!

«Мембрана вибрирует, ощутив прикосновение человека, его тяжесть, его тепло. Эта вибрация вступает в конфликт с ритмом человеческого тела и разрушает его, высвобождая энергию. Человек рассыпается прахом. Пепел уходит в вытяжку. Датчики фиксируют поступление энергии на сенсоры...»

Я невольно ежусь.

«...Но ты сильнее, чем даже я думал. Твоей энергии хватило бы Заводу на целую неделю. Или даже больше».

Спасибо, не надо. Я хотела вспомнить что-то другое. Разговор с Головачом? Стихии взбунтовались... Завод переродился... Громоотводы оплавилась...

Представляю бунт стихий. Как молнии лупят и лупят в громоотводы. Не щадя себя... Никого не щадя...

Простая мысль бьет в меня, как молния.

Я поднимаюсь, стараясь больше ни о чем не думать, закидываю разрядник на спину и, насвистывая с подчеркнутой беспечностью, иду к месту привала.

Дикие сидят, сдвинув головы, совещаются. Дети спят, укрытые чьими-то куртками.

— Ну что, готовы идти? — спрашиваю весело и небрежно.

— Ну ты и выносливая, — с уважением говорит Лифтер. — В тебе столько энергии — куда там Заводу!

Улыбка застывает у меня на щеках. Лифтер не знает, не может знать, о чем я думала. Он сам не понимает, что сказал.

Алекс замечает, что я изменилась в лице.

— Что с тобой?

— Зуб заболел, — говорю и сажусь рядом. — Шутки шутками, но надо идти. Скоро стемнеет.

— Мы тут говорили... — Мавр, видно, замерз, у него синие губы. — Как видно, в город нам дороги нет? А эти три рода... еще непонятно, как нас примут, верно?

— Оснуем четвертый род, — говорит Перепелка. — Только и всего.

Мельком вспоминаю пророчество Головача: «Оснуешь четвертый род...»

— А что с Заводом? — отрывисто спрашивает Алекс. — Они нас не достанут?

Перепелка быстро смотрит на детей. Я молчу.

— Да что с тобой? — Алекс подсаживается поближе. — Что ты видела? Что такое случилось?

— Я ничего... — Я запинаюсь. — Короче... я вижу путь, знаю, как... но я боюсь. Я не могу, я боюсь!

Они все смотрят на меня, будто я только что, у них на глазах, свалилась с ясного неба.

— Успокойся, — участливо говорит Перепелка.  
— Не смеши мои сандалии, — фыркает Лифтер. — *Ты* ничего не боишься. Я видел.  
— Ты ничего не боишься, — эхом отзывается Алекс. — Ты спасла нам жизнь. И не только нам. Ты прошла огонь и воду. Сильнее тебя я вообще никого не знаю! В тебе дикой энергии больше, чем во всем этом диком лесу!

Опять. Я берусь за голову.

— Лана? — тихо спрашивает Мавр.

Тогда я рассказываю им свой план. Пересказывая при этом слова Головача и Хозяина.

Они смотрят непонимающе. Девочка тихо стонет во сне, Перепелка кладет ей руку на лоб.

— В тот раз стихии взбунтовались, — говорю я. — Дали слишком много... энергии сразу. Так вот, бросить на распадатель сразу много энергии... очень много. Он, может быть, захлебнется. И Завод... не остановится, но переродится. Что-то изменится там, где ничего нельзя изменить. Но для этого, ребята, я должна идти на распадатель. Сама.

День клонится к вечеру. Над нашими головами сонно курлычет голубка. Мои друзья молчат. Смотрят на меня.

— Вот и все, — говорю очень тихо. — Выходит, нет другого пути. Ни для меня. Ни для кого.

— Что за синтепон! — очень громко говорит Лифтер, так что мальчик вздрагивает и просыпается.

— Это не синтепон, — глухо говорит Мавр. — Ты уверена, что это *сработает* ?

Я сглатываю комок в горле. Мотаю головой:

— Я не уверена. Но это... мне кажется... должно сработать.

— Тогда я пойду с тобой, — резко, даже зло говорит Мавр.

Перепелка содрогается, будто ее коснулись раскаленным железом.

Я закрываю глаза. И в наступившей для меня темноте слышу голос Алекса:

— Если это сработает, то я тоже пойду. Я дикий уже много лет, кто скажет, что во мне мало энергии, горло перегрызу.

— Послушайте, — слабо говорит Перепелка. — Это безумие... И как вы... как мы войдем на Завод?

— Ты не пойдешь. Ты будешь с детьми.

— Мы тоже пойдем, — говорит мальчик.

Я скручиваю фигу и сую ему под нос.

— Кто-то должен остаться, ты понял? Кто-нибудь дикий должен остаться!

— Как мы войдем на Завод? — нервно переспрашивает Лифтер. — Мы не войдем! Ты сама говорила...

— Я знаю, как войти, — говорю. Внутри у меня пусто, спокойно и удивительно легко. — Я знаю.

Темнеет, когда мы входим в поселок. Мои спутники растерянно вертят головами, я же иду прямо к центральной площади и бью в набат — по праву Царь-матери. В конце концов, это звание у меня никто не отбирал.

Хлопают двери и ставни. Громко перешептываются люди, мужчины и женщины. На сердце становится легче, когда вижу, что они уцелели: братья, сестры, родители и дети тех, кого я увела на погибель. Они сбегаются на звук набата, на зов бегущей по селу новости. Не решаются подойти — замирают поодаль, глядя на меня, как на привидение.

У меня за спиной тесная группка. Огромный мускулистый Алекс небрежно придерживает разрядник — дулом в землю. Перепелка, прищурившись, разглядывает людей-волков. Мавр стоит справа от меня, Лешка слева. Лифтер прикрывает тыл.

Почти совсем стемнело.

— Зажгите огонь, — говорю властно.

Приносят факелы. В свете их вижу Ярого, и у меня падает сердце. Он стоит в толпе, в самой глубине, и за руку его держится... Да, я не ошиблась. Это Безымянная, и она беременна.

Тем лучше, думаю я. Еще одна оборванная нить. Еще один шаг к свободе.

— Мы из города, — говорю глухо. — Завтра мы остановим Завод. То есть не остановим, а... — Я не знаю, как объяснить, и потому запинаюсь.

— Откуда ты взялась? — резко спрашивает Безымянная. — У тебя хватило совести прийти сюда с того света? Где наши братья, ты. Царь-мачеха?!

— Ваши братья мертвы, — говорю я. И опять запинаюсь.

Толпа гудит.

Мавр делает шаг вперед — поджарый, хищный, безжалостный.

— Нам не нужно ваше одобрение, — его голос разом обрывает все разговоры в толпе. — Нам нужны от вас... эти, как их. Трембиты. Барабаны. Бубны. Все, что призывает дождь и гром. Воцаряется тишина. Слышно, как шумит лес на далеких горах.

Перепелка крепче обнимает детей.

— И поесть, — тихо говорит девочка.

Разводим костер в стороне от поселка, рядом с брошенной норой Головача. Я не решаюсь туда войти.

— Ты должна остаться, — в сотый раз говорю Перепелке. Хотя она давно уже согласилась: мысль о том, чтобы бросить детей одних среди враждебных людей-волков, сводит ее с ума.

Из поселка прибегают, лопаясь от любопытства, подростки; я едва узнаю их, так они выросли. Приносят барабаны, бубны и пару трембит. Мало. С тех пор, как мастер Ясь не вернулся с завода, трембиты делает его старуха, но она почти слепая и не может много работать...

Несколько недель назад механические слуги Завода разорили пастбище в горах — захватили пастухов, троих парней из рода Рогача, и утащили с собой. Но в поселке чудищ не видели.

После неудачного похода на Завод три рода долго не могли опомниться. По всем горам летал плач невидимой трембиты. Царь-матери нет, и праотцовские законы пошатнулись. Безымянная, вопреки запрету, взяла себе мужа, да не из последних — Ярого. У них будет ребенок.

Лето было урожайным. Дичи полно. Кабы не это, неизвестно, что было бы с тремя родами. А так — живут помаленьку. В каждом роду — свой предводитель, а вместе сходятся разве что на свадьбах. Но свадеб мало в этом году — лучшие-то парни полегли...

— Неужели, Царь-мать, ты пойдешь опять на Завод? — с восторгом спрашивает чернявый парнишка с голубыми, как у Головача, глазами. — Не страшно?

Еле удерживаюсь, чтобы не вздрогнуть от того, как он меня назвал: Царь-мать... Царь-мачеха...

— Пойду. И на этот раз у нас получится, вот увидишь.

Он кивает. Ему, как и его приятелям, очень хочется расспросить пришельцев о жизни в городе, но они боятся подступиться.

Наконец подростки с неохотой уходят. Лифтер чуть ли не впервые в жизни греет руки у настоящего огня, на лице у него — недоверчивая полуулыбка. Мавр и Алекс спят. Перепелка сидит у изголовья мужа, мне неловко смотреть ей в глаза. Ложусь на спину и смотрю на звезды.

Пощади их, говорил Хозяин.

Но ведь если бы не они... я и сама бы не решилась. И, что бы там я не говорила мальчишке-волчонку, мне страшно. Я даже не знаю, чего боюсь сильнее: смерти или поражения.

Там, на мембране, всего лишь танец... Это ведь не больно?

Под утро земля берется инеем. Трава, еще вчера зеленая, разом жухнет. Желтые листья, вчера украшавшие лес, теперь лежат под ногами лимонно-бурым ковром. Небо ясное. Поздняя осень. Ждать грозы в такой день — по меньшей мере безумие.

— Может... потом? — тихо спрашивает Перепелка.

Не глядя на нее, мотаю головой. Алекс проверяет разрядник.



— Сколько осталось? — спрашиваю я.

Он пожимает плечами.

— Думаешь, я что-то понимаю в этих штуках? Что-то осталось... У них запас должен быть. Наверное.

Больше мы ничего не говорим.

Наспех завтракаем. Перепелка обнимает Маврикия-Стаха. Девочка не понимает, что происходит. Мальчик кажется каменным. Я вспоминаю, как он переносил боль, когда сломал ногу.

Кладу ему руки на плечи.

— Слушай... Ты понимаешь, да? — Показываю глазами на Перепелку.

— Да, — говорит он отстраненно. — Не беспокойся.

И мы выходим. У меня на плече барабан, Лифтер несет две трембиты, Алекс вооружен разрядником и большим плоским бубном. Мавр идет позади, не отрывая глаз от заиндеветой травы под ногами.

На окраине поселка нам преграждают дорогу.

Подросшие братья и сыновья тех, кого я погубила. Несколько молодых женщин. Всего человек двадцать. Много. Я быстро оглядываюсь на Алекса: хорошо бы обойтись без стрельбы.

Вперед выходит парень, вчерашний подросток, недюжинного роста. Он очень похож на Охотницу. Я просто поражаюсь этому сходству.

— Царь-мать, — говорит он хрипло, — если ты идешь на Завод, возьми и нас с собой. Мы танцуем Аркан лучше всех в поселке.

Мавр наконец-то отрывает глаза от земли. Алекс опускает разрядник.

— Ладно, — говорю после секундной паузы. — Надеюсь, вы догадались захватить... что-нибудь, что гремит?

Отойдя от поселка подальше, оборачиваюсь. Это место стало мне родным. Мой дом. Жаль, что все так вышло.

Успеваю увидеть человеческую фигуру на окраине: мужчина стоит, глядя нам вслед. Ярый?

Наверное, показалось.

Когда мы поднимаемся на пригорок перед Заводом, на небе нет ни одной тучки. Ветер срывает остатки листьев, делая лес прозрачным, открывая его солнечным лучам. От яркого света у диких слезятся глаза. И у меня тоже, хоть и не так сильно.

Волчатам, впервые увидевшим Завод, не по себе. Я смотрю на него спокойно и обреченно: бетонный саркофаг. Рыжий лес справа и слева. Клубящийся желтый туман (мои ноздри вздрагивают, я вспоминаю его запах). Громоотводы. Углы ржавых металлических конструкций.

Я пытаюсь увидеть будущее, хоть краешком. Но не могу. Кашляю, прочищая горло.

— Слушайте меня. Все вместе идем к Заводу и призываем грозу. Там, под стеной, нас накроет антиритмом. Мы перестанем слышать себя. Это — как в кошмаре, как в пустоте. Не сдавайтесь, стучите, кричите, нам надо греметь, чтобы заглушить эту тишину! А потом... двери откроются. Наверное, выйдут автоматы. Алекс... попробуй сбить их из разрядника, хорошо? Остальные... Нам надо прорваться внутрь. За мной — в дверь. Я выведу к мембране... к распадателю. Но если мы не доберемся, все впустую, опять все пропало, это ясно?!

— Не кричи, — говорит Алекс. Я только теперь осознаю, что ору во весь голос.

— Извини... — облизываю губы. — Ну...

Перехватываю поудобнее свой барабан. Вытаскиваю из-за пояса барабанные палочки. Заношу их над декой, на мгновение замираю...

Там-м. Там-м. Бум-м. Бу-бум-м.

Началось.

Мой ритм подхватывают барабаны. Гремят змеевики. Ухают, заливаясь, бубны. Ревут трембиты. Мы идем вниз по холму. Стараюсь не смотреть на поросшие травой холмики у стены. Смотрю на ворота. Только на них.

Створки плотно сомкнуты.

Он там, за этими створками. Сидит в рубке. Или бродит по коридорам. Или смазывает сочленения железных автоматов — слуг Завода, рабочих и убийц. Сердце Завода, сшитое из бронированных пластин. Я не должна о нем думать.

— Гр-ром! — гремит мой барабан. — Гр-ром, к нам!

Солнце сияет вовсю, вижу свою тень на пожухлой траве, но мне плевать. Я иду на Завод. Я вернулась, но не побежденной. Не на заклатие. Я вернулась!

И палочки в моих руках вдруг сами собой меняют ритм.

— Я иду! — ревет теперь барабан. — Я иду! Я пришла!

Завод приближается, нависает темной громадой, но я не смотрю на него. Я жду, ошестившись, когда наступит тишина...

И она наваливается.

Раньше мне казалось, что я к ней готова. Теперь понимаю — нет. К этому нельзя быть готовым. Это как смерть пришла. Я не слышу ни своего голоса, ни голосов друзей, ни ветра, ни дыхания. Знаю: каждое мое усилие, каждый звук возвращаются обратно, вывернутые наизнанку. Моя воля возвращается безволием тысяч синтетиков, и на выходе получается ничто, ноль. Моя любовь возвращается ненавистью Стефана-Ловца, ненавистью множества людей, которых я лишила спокойной удобной жизни. Будто иду навстречу своему зеркальному отражению, сейчас столкнусь с ним — и исчезну, словно меня и не было...

Я понимаю: все усилия напрасны. Как ни бултыхайся, как ни борись, навстречу пойдут реверсные волны, вывернут наизнанку дела и намерения, и будет тишина. Абсолютный ноль.

Последние силы трачу на то, чтобы обернуться. Если сейчас прогоню их — может быть, кто-то успеет спастись?!

Дикие лупят в барабаны, кричат и грохочут — в полном беззвучии. Молодые волки не отстают ни на шаг, гремят, бьют в колотушки, железом о железо, деревом о медь. А за их спинами, за спинами моей отчаянной маленькой армии...

Мне хочется протереть глаза.

Они выходят из леса. Поднимаются, как сгустки тумана, от реки. Их много. Я не понимаю, что происходит, пока не вижу Еву. Она машет мне рукой. Ее догоняет Головач. Встречаюсь взглядом с его спокойными голубыми глазами. Рядом идет Царь-Мать, в подпоясанной белой рубашке, с распущенными черными волосами. Смотрит угрюмо. В глазах — желтые звездочки. Идет сутулый, хмурый погонщик — тот, что приютил меня в вагоне канатной дороги. Не выдал Хозяину.

Я узнаю в толпе молодых Держися и Римуса, которым я дала имена. Вижу Яся, мастера трембит. Сыновей Смереки. Всех, кто погиб за Завод, и всех, кто стал его жертвой. Тысячи тысяч. Они идут ко мне, смотрят в глаза, кто хмуро, кто беспечно, кто с болью. Живые еще борются, еще пытаются прорвать ватную тишину — а мертвые смотрят из-за их спин, будто ждут, чтобы я вспомнила: зачем я здесь и ради кого.

Я не сумел, говорит каждый взгляд. Я боролся, как мог, в меру отпущенных мне сил, но я не смог; сможешь ты. Сможешь! Должна! Ради тех, кто мертв и кто жив, и ради тех, кто еще не родился, — не сдавайся!

И тогда я снова оборачиваюсь к воротам.

Барабанные палочки опускаются на деку одновременно. Звука нет. Повинуясь внутреннему ритму, подхваченная им, вскидываю руки к небу...

Между палочками, зажатыми в моих кулаках, бьет ослепительно-белая молния.

Бабах!

Звук, повелительный и резкий, прорывает ватную тишину. Я стою, обомлев, глядя в небо. В моих глазах — отпечаток молнии, а дальше, в небе, сплошное серо-лиловое марево, тучи сползаются с четырех сторон, закручиваются воронками, и мне в лицо льется дождь.

— Дождь!

Я слышу свой голос. Опускаю голову и вижу, как капли прыгают по барабанной деке. Каждая капля — круглая, на длинной ножке, в прозрачном венчике. Я слышу каждую каплю.

Бом! — бьют палочки, капли подпрыгивают стаей и снова стучат, выдавая синкопы: бом-бом-бом!

Бабах! — грохочет гром. Я вижу, как росчерки молний тянутся — и бьют в запрокинутые к небу трембиты.

Хочу кричать.

Волчата — два брата, племянники мастера Яся — живы. Трембиты в их руках дымятся. Одинаковым движением они снова поднимают их, и звук, по силе не уступающий грому, расстилается над холмами.

Я снова смотрю вверх. Дождь слепит. Закрываю глаза и все равно вижу небо — как если бы оно было крылом над моей головой. Или сенсорным экраном, с которым я прыгнула с верхушки громоотвода. Поднимаю руки...

И притягиваю небо к себе.

Я чувствую каждую молнию. Ветер — мое дыхание. Гром — голос моего барабана.

Я ловлю ветер. Чуть наклоняю небо... Чуть-чуть...

Глохну от страшного небесного грохота. Потянувшись, роняю молнию в покореженный оплавленный громоотвод, и еще одну, и еще, а потом одновременно в два громоотвода, и еще, и еще!

Антиритм мертв.

Вспышки молний сливаются в один длинный, яркий, бесконечный сполох. Грохочут небесные змеевики, пересыпая камни и сухой горох. И, вторя им, внутри Завода что-то взрывается. Высоко над крышей взлетают искры. Дрожат и трескаются бетонные стены. А дождь льет, заливая пожар, по склонам холма несутся не ручейки — потоки, подмывают корни, переворачивают камни...

Небо выскальзывает из моих рук — высвобождается. Оно не терпит долгой власти над собой — ничьей.

Пахнет свежестью. Легкий, острый запах. Приятно дышать. И слышно ветер.

Ворота Завода распахнуты настежь. Желтый дым унесло ветром, смыло дождем. Перед воротами лежат, нелепо раскорячившись, слуги Завода — железные автоматы. Мертвые, неподвижные. По ним, потрескивая, скачут остаточные разряды.

Только тогда я опускаю руки.

Я вымокла до нитки. Вода бежит по волосам. Лужа на деке барабана; я оборачиваюсь...

Плечом к плечу стоят мои дикие и молодые волки из трех родов. Смотрят на меня. Но сколько не вглядываюсь в склоны холма за их спинами, там пусто. Туман разошелся. Не знаю, чего во мне больше: радости или чувства потери?

Перевожу взгляд на лица живых. И сразу понимаю: они не видели. Все, что им открылось, — мое внезапное преображение, молнии в моих руках. Вспоминаю слова Головача: ты переломила судьбу. Побеждает тот, кто сделает невозможное.

— Царь-мать, — с суеверным ужасом бормочет парень, похожий на Охотницу, — ты повелеваешь громом.

Алекс облизывает и без того мокрые губы. Мавр переглядывается с Лифтером. Лешка смотрит, как ребенок, во все глаза. Я улыбаюсь.

— Это все? — тонко спрашивает девушка-подросток, совсем молоденькая, лет шестнадцати. — Завод... сломался? Сгорел?

Хотелось бы верить... Но я знаю, что это не так.

— Вперед, — говорю я. — Все только начинается.

Это круглый зал. Мне кажется, я уже была здесь. А может, видела это место во сне.

В зал ведут два тоннеля, один напротив другого. Первый — транспортер, оттуда прибывают жертвы на распадатель. Второй — узкий ход, заваленный хламом, я чудом отыскала его среди душных лабиринтов, затянутых желтым туманом. Но отыскала.

Почти весь зал занимает серебристая круглая мембрана — она немного возвышается над бетонным полом. Тонкая и на вид очень уязвимая, кажется вытканной из паутины. Совсем не

страшное место. Наверное, те, кого привозит сюда канатка, ступали на нее бесечно, разговаривая, может, смеясь...

Снизу, из-под сетки, пробивается матовый белый свет.

— Здравствуй, Лана.

Хозяин! Я не заметила его! Он стоит так неподвижно, что в полутьме похож на механическую деталь, бездушную часть Завода.

Боевой ритм, который привел меня к цели, на мгновение дает сбой. Алекс реагирует мгновенно: ствол разрядника уже направлен на Хозяина.

— Не стреляй, — говорю я.

Хозяин усмехается. Бронированные пластины его лица едва меняют очертания.

— Почему? Ты ведь не послушала меня... Добилась своего.

Нас разделяет мерцающий круг мембраны. Хозяин стоит спиной к пустому вагону в тоннеле. Так, как стояли до того тысячи его жертв. Он пришел сюда... зачем?

— Лучше пристрелить его, Лана, — говорит Алекс.

Я понимаю его правоту. Но мне нужно получить ответ на еще один, последний вопрос.

— Зачем ты пришел? — спрашиваю Хозяина. — Мне не надо твоей крови.

— Лучше пристрелить его! — торопит Алекс.

Хозяин смотрит на меня. Остальных будто не видит.

— Почему тебе не живется спокойно, Лана? Почему тебе не живется, как всем? Почему ты не осталась в городе, почему ты не осталась в горах? У тебя ведь было все: друзья... власть... любовь!

Надо торопиться, дорога каждая секунда, но я медлю. Сама не знаю почему. Мне страшно? Я колеблюсь? Оттягиваю момент?

— Почему ты не осталась со мной? — говорит он еле слышно. — Я дал бы тебе все, что ты могла бы пожелать. Все.

Мои спутники перешептываются. Уходит время... силы... слабеет решимость... скорее!

Но я не могу ему не ответить.

— Ты сам говорил: нет смысла говорить о справедливости. Чтобы кто-то выжил, кого-то нужно каждый день убивать. Ты говорил, мир так устроен. Так вот: я не хочу и не стану жить в таком мире. Я изменю его... или умру, попытаюсь изменить. Это все.

Что-то говорит Алекс. Я не слышу его слов. Я вижу только глаза Хозяина. И второй раз в жизни различаю их цвет: они зеленовато-карие.

— Ты очень похожа на свою мать, — говорит он глухо, и в этот момент я наконец решаюсь.

Паутинка распадателя мерцает передо мной. Как поверхность лесного озера лунной ночью. Я сбрасываю тяжелые мокрые ботинки — будто в самом деле собираюсь купаться.

Босые подошвы касаются бетона. Подхожу ближе.

Поверхность мембраны чуть подрагивает. Мерцают искры, как на заиндевелем стекле. Становится очень жаль себя. Я останавливаюсь на самой кромке распадателя.

— Не смей! — кричит Хозяин. В его голосе куда больший страх, чем минуту назад.

Я сглатываю. Моя задача — бросить на мембрану сразу много энергии. Чтобы распадатель подавился. Хозяин говорил, чем больше энергии в человеке, тем больше проходит времени до того момента, как он распадается окончательно...

— Лана!!

Я шагаю на паутинку.

Она оказывается очень жесткой. Почти не прогибается под ногами. От того места, где я стою, по белому мерцанию бегут ярко-зеленые волны — как летняя трава из-под густого снега. Через секунду мембрана полностью зеленая. Я хочу сделать еще шаг...

И не могу. Подошвы прилипли к паутинке. Я как муха на липкой ленте, а мембрана начинает подрагивать, и ее ритм пробирает меня до костей.

Вот что такое — чужой ритм.

Я дергаюсь, пытаюсь оторвать ступни и убежать. Мембрана не пускает. В панике, стараясь высвободиться, попадаю к ней в резонанс, дергаюсь, повинуюсь чужому ритму, это похоже на конвульсии. Так вот что чувствуют жертвы Завода...

Но я — не жертва.

— Не жер-тва! — выкрикиваю я, выстраивая свой, пусть примитивный, ритм. — Не жер-тва!

Мой ритм на секунду вырывает меня из-под власти мембраны.

— Ди-кая! Ди-кая! Ди-ка-я э-нер-ги-я!

Ухитряюсь оторвать одну ступню — по зеленой поверхности распадателя расходятся красные волны. Полуослепшая от боли и страха, пытаюсь нащупать свой ритм, который проломил бы страшный ритм мембраны, и ничего лучшего не приходит в голову, чем старый, давно забытый танец пикселя во время энергетического шоу.

— Кра-си-че-бел! Жел-кра-жел!

Мышечная память приходит на помощь. Память движений. Ритм пикселя сменяется пляской на барабанах, ритмом Оберега и Аркана, ритмом уличного шествия. Из-под моих ног расходятся кругами красные полосы, как волны от брошенного в озеро камня.

— Жить сво-им рит-мом!

Я ничего вокруг не вижу. Я не вижу Хозяина. Не вижу своих друзей. Перед глазами — зелень мембраны и красные волны, которые становятся с каждой секундой все ярче. Удержать ритм! Удержать!

Мембрана резко прогибается. Прямо передо мной приземляется Лешка. Оборачивается ко мне. Раскидывает руки; я не сразу понимаю, что он делает. А он играет на барабанной установке — воображаемой.

Он мечется, не отрывая подошв от мембраны, он колотит по воздуху воображаемыми барабанными палочками. Не раздастся ни звука, но ведь Лешка — глухонемой. Он сам — ритм.

Красные полосы становятся ярче. Кровавый отблеск лежит на лицах Мавра и Алекса, когда они вслед за Лешкой ступают на мембрану. За ними прыгает Лифтер. Мы вместе танцуем под неслышную Лешкину музыку.

Сломать чужой ритм! Удержать свой! Когда сытый зеленый свет окончательно сменится красным, мы победим!

Завод вибрирует.

Он живет — от последнего кирпичика в стене и до каждой ниточки распадателя. Дрожит каждой трубой, каждой пружиной, каждой жилкой толстого провода. Завод — тяжелая туша, угнездившаяся среди гор, фабрика жизни и смерти, трансформатор талантливого в посредственное, — тяжел и силен. Тысячи молний лупили в его громоотводы, но и покореженные и закопченные, железные шпильки все так же протыкают небо. Тысячи молодых и сильных людей боролись с распадателем, но он одолевал и пожирал их, превращая дикую энергию в синтетическую.

Так чем ты лучше, Лана?

Не знаю, откуда пришла мысль.

Красные волны на распадателе тают, их поглощает сытая, невозможно яркая зелень. Полная загрузка, поглотитель работает, генератор заряжается, процесс идет в штатном режиме...

Ноги влипли — не оторвать. Мембрана дрожит, волны этой дрожи прокатываются по моему телу, и я чувствую, как распадаюсь изнутри.

Много о себе возомнила?

Вокруг, будто в замедленной съемке, танцуют Алекс и Мавр, бьет в невидимые барабаны Лешка, но на лице у него отчаяние. «Пощади их...» А я не пощадила! Красноватые разводы на мембране растворяются, перегрузка спадает...

Из темного тоннеля все так же медленно, будто в толще воды, вылетают один за другим молодые волчата во главе с длинноногим сыном Охотницы. И кидаются — как в омут — на мембрану.

Из-под ног у них бегут красные разводы. Волчата молоды. В них энергии — на всю долгую жизнь.

Я хочу крикнуть: что вы делаете?! Но голоса нет. Молча смотрю, как борются волчата. Их подошвы липнут к мембране, решительность сменяется растерянностью, а потом страхом...

Чем ты лучше, Лана? — шепчут старые стены. Много о себе возомнила, подтверждает решетка на потолке. Там, за решеткой, мощная вытяжка — порывом ветра унесет пепел...

Она решила изменить мир, хихикает мембрана. Я готова упасть.

Лешка стоит на коленях, трясется, как желе, в такт распадателю. Кто-то из волчат уже лежит... Я же просила, приказывала им оставаться снаружи!

Ноги подкашиваются. Рас-па-дай-ся! Рас-па-дай-ся! Я валюсь на мембрану, касаюсь ее коленями, ладонями, бедром; сила чужого ритма проникает в меня, как вода через пробоины. Проблески красного на зеленом тают, сменяясь густой сочной зеленью...

— Вставай.

Я поднимаю голову. Хозяин Завода. Рядом. На мембране.

— Вставай!

Его рука захватывает мое запястье. Он рывком поднимает меня на ноги. Его тоже колотит чужим ритмом. Он тоже сопротивляется. Из-под ног у нас расходятся, расплываясь по мембране, красные волны. Красиво пересекаются, образуя решетку.

Он наклоняется ко мне. Его лицо перекашивается от усилий — и впервые, с тех пор как я его знаю, делается не железным. Живым.

— Ты на мембране! — кричу я.

— Да! — Теперь он почти улыбается. — Я ее ритм... придавлю, чтобы вы набрали обороты! Давай! Давай!!

Зеленое поле мембраны розовеет. Я могу двигаться почти свободно. Протягиваю руки Мавру и Алексу, те подхватывают Лифтера и мальчишек, через секунду мы стоим на распадателе кольцом, взявшись за руки... нет. Положив руки друг другу на плечи.

А в центре круга стоит Хозяин. Его глаза закрыты. Он не танцует — странно покачивается, но его ритм схлестывается с ритмом мембраны, зелень бледнеет, наливается розовым...

Наши ноги с трудом отрываются от паутины. Потом все легче. Легче. Легче. Наш ритм — многократно помноженный друг на друга — нарастает и нарастает, заглушает ритм распадателя. Ар-кан! Ар-кан! Отве-ди бе-ду! Отве-ди бе-ду!

Свет вдруг наливается красным.

Мы танцуем на темно-красной мембране, распадатель многократно перегружен, но и круг вот-вот распадется. Ритм мембраны не слабеет — нарастает; схлестываясь с иссякающим ритмом Аркана, он пронимает меня до самых глубоких глубин, расшатывает, разбивает, я рас-па-да-юсь!

До смерти остается мгновение. Сейчас я — и мы все — взметнемся пеплом.

Хозяин, замерший в центре круга, ловит мой взгляд. Вижу, как шевелятся его губы: «Жил-был парень, звали его Ветер, он девчонкам головы кружил. Раз-два-три, славно жить на свете...»

Знаю, что не могу его слышать. И все-таки слышу.

«Три-два-раз...»

Его фигура взрывается. Распадается на миллионы частиц.

Взывает насос над нашими головами, унося то, что секунду назад было человеком.

И одновременно лопается мембрана. Лопается и обмякает, из паутинки превращаясь в тусклую серую тряпку.

Наступает тишина.

В этой тишине я протягиваю руки. Беру Солнце, высвобождаю его из ветвей. И оно восходит, заливая меня теплом — изнутри.

Тысячи дней подряд я буду вспоминать этот день.

Тысячи раз он мне приснится.

Но всего... всего, что случилось потом, я так и не пойму.

— Счастливой дороги, — говорю я. — Смотрите внимательно, не пропустите стрелку: ее надо переключить направо. Иначе вернетесь обратно.

Сын Перепелки строит рожи своему отражению в стеклянном колесе. Его сестра уже сидит на дрезине, на коленях матери. Диким придется потесниться: на дрезине маловато места.

— Лана, — говорит Мавр и кладет мне руку на плечо, — не валяй дурака. Поедем с нами.

— Я тебе уже говорила. — Накрываю его ладонь своей. — Мне надо остаться. Необходимо.

— Почему ты не хочешь ехать? — спрашивает мальчик.

— Я обязательно приеду. Но позже.

Больше никто не решается меня уговаривать. Я объясняю Лифтеру, как обращаться с шариковыми слизнями. Лешка подсаживает самок к самцам, Алекс подливает тяжелую жидкость в стеклянное колесо, Лифтер опускает рычаг, дрезина трогается с места и через минуту исчезает в темноте тоннеля. Я остаюсь одна.

Журчит вода под рельсами. Чистый ручей, в котором я когда-то — поневоле — купалась.

Тяжелые двери. Темный коридор. Иду, слушая звук своих шагов. Поднимаюсь по лестнице. Умиротворенное гудение, ровная вибрация стен.

Завод работает. В рубке мерцают экраны. Идет отгрузка энергии. Чьей?

В темном тоннеле стоит пустой вагон канатной дороги. Железный трос обвис: канатка уже не работает. И никто не может объяснить, что все-таки случилось с Заваем и чем он стал теперь.

Никто, кроме одного человека.

Выхожу из рубки. Долго плутаю переходами, пока наконец не сворачиваю в тот единственный тоннель, что ведет из здания, — к мембране.

На месте распадателя — круглое серое пятно, будто куча пепла. В самом центре лежит кусок гранита — большой камень, когда-то бывший расплавленной лавой. Несколько недель назад, когда камень еще лежал на склоне холма, в него ударила молния. Расколола на две части.

Опускаюсь рядом.

— Что ты там говорил насчет сердца?

Молчание. Прикосновение гранита холодит щеку.

«Сердце — завод дикой энергии... Самой дикой на свете... Ты знаешь, что это такое — быть Сердцем Завода?»

— Теперь знаю, — говорю шепотом.

«Спасибо тебе, Лана».

— И тебе спасибо. Прости.

## ЭПИЛОГ

В моем сердце столько энергии, что хватает на всех. Каждую полночь я разливаюсь по проводам, по частичке прихожу в каждый дом, чтобы согреть и ободрить. Чтобы дать волю к жизни — еще на одни сутки.

Там, в городе, живут синтетики. Хорошо живут — без страха и без штрафов. С уверенностью в завтрашнем дне. Забыв о собственном ритме, полностью слившись со своими разъемами. Порой им даже кажется, что энергия в сети — их собственная.

Каждую полночь я счастлива. Ведь Завод переродился, канатная дорога остановилась навсегда, и теперь только меня, моей любви к жизни хватает на всех. Чем больше я отдаю, тем сильнее делаюсь, тем легче у меня на душе.

Я работаю Сердцем Завода. Но знаю, что главная битва еще впереди.

## ПОСЛЕСЛОВИЯ

## ОТ МАРИНЫ И СЕРГЕЯ

Руслана — удивительно талантливый человек. Не случайно наш роман посвящен ей как прообразу главной героини. Мы рады нашему общению, рады тому, что впервые в нашей жизни живем музыкой, песнями, будущей ритм-оперой. Наша десятилетняя Стаска от Русланы вообще без ума и теперь хочет быть музыкантом.

### ОТ РУСЛАНЫ

Ритм романа «Дикая энергия. Лана» пришел в резонанс с моим собственным ритмом. Это моя философия, мой стиль. В книге закодировано то, чем живу я и многие люди моего поколения.

Написанное Мариной и Сергеем — это роман-ритм. Они будто бы угадали то, к чему я долго готовилась. Данная книга — не столько история будущего, сколько философия настоящего. Это всего лишь догадка, предчувствие. Всегда существует развилка, раздорожье. Мы сами выбираем путь.

Изучая прошлое и думая о будущем, пропуская книгу сквозь себя, иногда представляю себя Ланой, героиней романа. И теперь хочу обратиться к читателю от своего и от ее имени. Это непросто, но я попробую.

### ОТ ЛАНЫ

Мы привыкли думать, что энергетический кризис — это когда не хватает нефти и газа, когда заканчивается уголь и исчерпываются ресурсы планеты. Мы говорим «энергетический кризис», когда нам темно и холодно.

Но если человеку незачем жить, если в нем совсем не осталось силы духа, а только безволие и тоска, если он ест синтетическую пищу и слушает синтетическую музыку, если чувства, которые он испытывает, отдают синтетикой, — кто он и что с ним будет дальше?

Если человек настолько слаб, что ему темно и холодно даже в солнечный день, если он никого не любит, кроме себя, да и любовь к себе у него рыхлая, как мартовский снег, — разве это не самый страшный энергетический кризис?

И, может быть, настанет тот день, когда изнемогающие от хандры, лишённые смысла жизни люди будут получать энергию жизни по проводам — как подачку?

И, может быть, останутся те, кто сохранит и преумножит волю к жизни — Дикую Энергию? Энергию солнца, ветра и гор, энергию настоящей любви... Да, они выживут. И звать их будут — Дикие.

Дикая Энергия — энергия созидания и творчества. Она не терпит искусственных стимуляторов, наркотиков, истерик. Она — не для слабых. Но если в твоей душе есть хоть капелька Дикой Энергии — ты сможешь стать настоящим Диким.

Чем больше ты отдаешь своей силы другим, тем сильнее становишься, потому что завод, производящий Дикую Энергию, в твоём сердце. Твое сердце не остановится никогда. Настанет день великой битвы за этот завод. Он уже настал.

Я выхожу на эту битву. И ты выходи.

*Твоя Лана*